
ЗЕМЛЯКИ

Нижегородский альманах

Выпуск пятнадцатый



«КНИГИ»
Нижегород
2013

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

353

Редактор-издатель *О. А. Рябов*

Составители *А. И. Иудин, О. А. Рябов*

Общественная редколлегия:

*Н. А. Бенедиктов, Е. Н. Крюкова, З. Прилепин, В. И. Седов,
А. М. Цирульников, М. П. Шкуркин, Г. В. Щеглов, Е. Р. Эрастов*

Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова,
24/2, издательство «Книги». Тел. 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

353 **Земляки.** Нижегородский альманах. Выпуск пятнадцатый. Сост. А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2013. – 408 с.

Очередной выпуск альманаха составлен из произведений писателей и поэтов – как наших земляков, так и проживающих в других городах России и за рубежом.

Наряду с текстами известными авторами, таких как Захар Прилепин, Евгений Семичев, Ирина Басова, Елена Крюкова, Олег Рябов, в сборнике представлено творчество авторов, еще только выходящих к своему читателю, а также размышления публицистов над актуальными проблемами современного общества, новые материалы по истории и культуре Нижегородского края и России.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

СОДЕРЖАНИЕ

Общество

Николай БЕНЕДИКТОВ	
Монархия: утопия или предвосхищение будущего?	7
Захар ПРИЛЕПИН	
Скептик, спрячь свою губу. Белые люди как исчезающий вид . . . 22	
Национальная идея? Мы уже придумали	28
Похвала ханжеству	33
Олег РЯБОВ	
Под «озоновым» слоем	37
От постмодернизма к хакенкройцу	41

Поэма

Юрий УВАРОВ, <i>Москва</i>	
Зеркало	44

Нижегородский почерк

Анна АНДРОНОВА	
Хирургический день	48
Олег РЯБОВ	
Ягодка, вишенка, сушёная груша	84
Леночка	96
Иван ЧУРКИН, <i>Саров</i>	
Федюнькина потаёнка	102

Стихи по кругу

Алёна БАЙКИНА, <i>Выкса</i>	113
Гурген БАРЕНЦ, <i>Ереван</i>	114
Галина БЕССАРАБ	116
Дмитрий БИРМАН	116
Сергей БУДАРИН, <i>Новокуйбышевск, Самарская область</i>	117
Николай ГРЯЗНОВ, <i>р. п. Дальнее Константиново</i>	119
София ИВАНОВА, <i>Кстово</i>	120
Диана КАН, <i>Новокуйбышевск, Самарская область</i>	122
Вячеслав КАРТАШОВ, <i>Балахна</i>	124
Татьяна КОРМИЛИЦЫНА	125
Дмитрий ЛАРИОНОВ	126
Денис ЛИПАТОВ	127
Вадим МАЛАФЕЕВ, <i>Дзержинск</i>	131
Денис МУРАТОВ, <i>Барселона</i>	131

Земляки-15

Михаил ПОТАЧЕВ	132
Алла ПРИЦ, <i>Кстово</i>	133
Владимир РЕШЕТНИКОВ, <i>Семенов</i>	133
Дмитрий СОРОКИН, <i>Москва</i>	135
Елена ХОЛОДОВА, <i>Магнитогорск</i>	136
Игорь ЧУРДАЛЕВ	137
Валерий ШАМШУРИН.	139
Алик ЯКУБОВИЧ.	141

Из свежей прозы

Евгений ТАТАРСКИЙ	
Момент истины, или Тайна одного врача	143
Пчела в шланге.	153
Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ, <i>Выкса</i>	
Британские острова	158
Когда умирают орлы	164
Андрей ЕВСЕЕНКО, <i>Орел</i>	
Честная сделка	167
Разговор о рыбалке	171
Тропинка надежды.	174
Георгий ТАРАСОВ, <i>С.-Петербург</i>	
Семиклассница.	177
Владимир СЕДОВ	
Взгляд женщины.	180
Я повезу тебя в Прованс.	182

Гость номера

Обрученная со словом. <i>М. Пешкова о поэте И. Басовой</i>	184
Ирина БАСОВА, <i>Париж. Стихи.</i>	189

Внутри эпохи

Алексей МЕЛЬНИКОВ, <i>г. Полевской, Свердловская область</i>	
В осенний вечер, проглотив стакан плохого алкоголя.	
<i>Воспоминания о Борисе Рыжем</i>	194
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ	
Виктор Коноваленко вне игры	208

Лирический портрет

Евгений СЕМИЧЕВ, <i>Новокуйбышевск, Самарская область</i>	
Прирастаю Россией... <i>Стихи</i>	219

Земляки-15

Из будущих книг

Андрей ИУДИН	
Инициация	225
Елена КРЮКОВА	
Беллона	255
Николай ПАВЛОВ	
Сумбур, или Фантазии на тему «Русский стиль»	290

Лирический портрет

Юрий ПОПОВ, <i>Миасс, Челябинская область</i>	
Записки из захолустья. <i>Стихи</i>	310

Далекое – близкое

Михаил ГРАЧЕВ	
Битва под Аустерлицем	315
Дмитрий ЛАРИОНОВ	
Дом поэта Анатолия Мариенгофа в Нижнем Новгороде	322
Ирина ФУФАЕВА	
Со светильником	327
Адриан ТОПОРОВ	
Мозаика	335
Владимир СЕДОВ	
Блиновский рынок	339
Сергей ЧУЯНОВ	
В Риме у дочери Шаляпина	342

Лирический портрет

Владимир ИЛЬИЧЁВ, <i>Красные Баки</i> . <i>Стихи</i>	351
--	-----

Возвращенные имена

Георгий ЯБЛОЧКОВ	
Старик Петухов	355
Смерть Мюллера	368

Поэтический конкурс «Я люблю...»

Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ	375
Наталья СТРУЧКОВА, <i>Кстово</i>	377

Земляки-15

Николай СИМОНОВ	379
Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ	380
Наталья ЯРОВА	382
Василий АГАФОНОВ, <i>Шатки</i>	383

Круг чтения

Ольга МАРКИЧЕВА

Тога для босяка. М. Горький и А. Дюма-отец: от мушкетеров – к люмпенам	386
---	-----

Русский смех

Николай СИМОНОВ	392
Александр БЫВШЕВ, <i>Кромы, Орловская область</i>	395
Анатолий БАРЧАН, <i>Харьков</i>	398
Любовь МАКСИМОВА.	398
Владимир ЛЕБЕДЕВ	399

Книжная полка

КОРОТКО О НОВИНКАХ	401
------------------------------	-----

Прощальное слово

О Владимире Половинкине. <i>Александр Фигарев</i>	405
---	-----

Общество

Николай БЕНЕДИКТОВ,
доктор философских наук

МОНАРХИЯ: ОТЖИВШАЯ УТОПИЯ ИЛИ ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО?

В прошлом, 2012 году мы отмечали 400-летие Нижегородского ополчения, в этом, 2013-м – 400-летие Дома Романовых. Хорошо известно, что эти события связаны между собой. Не случайно в 1613 году 300-летие императорской династии отмечали в Нижнем Новгороде.

Мне довелось побывать на конференции, посвященной 400-летию Дома Романовых. Собрались монархисты, представители различных православных организаций, начались споры-разговоры. Сразу же обнаружилось одно обстоятельство. Оказалось, даже среди собравшихся мало кто представляет себе, что такое монархия, какова ее суть и история, «что делать», «с чего начать» и «кто виноват». Что уж говорить о людях, менее подготовленных в этом вопросе?

Поэтому представляется весьма уместным развеять некоторые господствующие сегодня мифы, вспомнить историю и суть монархической идеи, отметив тем самым юбилей императорской фамилии.

Словари о монархии

Что же такое монархия? Открываются удивительные вещи.

Смотрим в энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона – наиболее популярную и весьма научную многотомную энциклопедию начала XX века – и обнаружим, что статья на эту тему в словаре совершенно беспомощна. В ней, кроме перевода самого

слова, все остальное составляют исторические примеры, но сути и смысла термина не дает ни текст, ни приведенный список литературы. В этом списке литературных источников едва ли не самым серьезным выглядит трактат XVI века Н. Макиавелли «Государь». Название книги переводят и как «Князь», однако о монархии там ни слова. В ней речь идет о том, как должен вести себя правитель, а кто он сам – монарх или тиран, вождь или президент, – об этом ни слова. Да автор об этом и не писал, не в этом состояла его задача.

До Макиавелли предыдущим теоретиком выступал Аристотель, а между ними никаких теоретиков монархии не выявлено. Выглядит странно, согласитесь, – получается, что приходится опираться на Аристотеля, но ведь его идеям уже больше двух тысяч лет. Аристотель написал большую работу о государстве, где объясняет, что существуют два типа управления. Правильные – это когда управители руководствуются общим благом – монархия, аристократия, полития (различие в том, сколько людей занято ответственным управлением – один, несколько или много). Неправильные – когда управляющие заняты собственным благом или личным стяжательством, – тирания, олигархия и демократия. Кстати, уместно сегодня вспомнить, что уже великий грек называл демократией искажение жизни, при котором правят частные людишки (по-гречески – антропос идиотикус).

О монархии говорится лишь одно – власть одного (моно – один, архе – власть). Однако можно ли удовлетворяться прямым переводом? Ведь тогда организованную преступную группировку мафию мы будем переводить как мою семью. Или наследника французского престола дофина будем переводить как дельфина. Прямой перевод не всегда передает смысл употребляемого термина. На самом деле происхождение, исходный смысл и действующий современный смысл могут различаться и весьма серьезно.

Новые имена и новые взгляды

Что же происходило с термином монархия? До двадцатого века мало что менялось в понимании сути и смысла монархии как единовластия. И это достаточно удивительно, поскольку о противоположности монархии, о республике было написано достаточно много серьезных книг. Писали англичане Гоббс, Локк, затем эстафету подхватили французы Монтескье, Руссо. Они описали суть республиканского или демократического способа управления, вывели необходимость

разделения властей. По этой схеме затем появляется без собственно-го феодального и исторического прошлого как бы на «чистом листе бумаги» написанная страна США, которая и распространяет принципы демократии по всему миру, не останавливаясь ни перед чем.

Лишь в первой половине XX века, появились, наконец, теоретические работы о монархии, объясняющие ее суть и смысл. Бросается в глаза то, что они принадлежат русским мыслителям – Л.Н. Тихомирову, И.Л. Солоневичу, И.А. Ильину, П. А. Флоренскому. Конечно, все они и их труды являются так или иначе реакцией на смену русской монархии иным типом управления. Другими словами, и смена монархии, и теоретические работы по монархии прямо связаны с русским типом духа. Первоначальный юбилейный толчок (400-летие Дома Романовых) приводит нас и к пониманию монархии, и к русскому типу духа. Ведь посудите сами: в XX веке погибли империи китайская, германская, австро-венгерская, русская, погибли монархии эфиопская, румынская, итальянская, греческая, сербская, болгарская, турецкая, иракская, сиамская, персидская и проч. Однако среди теоретиков монархии мы не видим ни азиатов, ни африканцев, ни европейцев. Мы встречаем только русские имена. Это очень показательно. Говоря о демократии, мы подразумеваем «западная» или даже «американская», а обращаясь к монархии – вынуждены тут же вспоминать русские имена.

Это не только мое наблюдение, это заметили и американские теоретики и политики. Бывший советский, а ныне американский сочинитель А.Л. Янов, подчеркивая правильность своего выбора в пользу США, сегодня пишет о различии демократии и монархии, прямо связывая это с влиянием протестантизма и православия, и видит основу этого различия в русском и американском менталитете. Получается два понятийных смысловых ряда: США, демократия, протестантизм – один ряд, и Россия, монархия, православие – другой ряд. Конечно, нас интересует собственный ряд, а второй – американский – используется лишь для сравнения и лучшего понимания первого. Несовместимость русского и американского выбора хорошо прописана А. Яновым, и это поможет нам разобраться в сюжете.

Спорные стороны и легенды

Сначала желательно снять с обсуждаемой темы покрывало легенд. Часто думают, что монархия предполагает управление государством одним человеком (слишком буквальный перевод – «монарх»

означает «единовластный»). На самом деле монархи-цари нередко бывают «неодиночками», а «нецари» – одиночками. Наш Петр I начинал править с братом – царем Иваном. В Римской империи были времена, когда правили четыре монарха – два цезаря и два августа. В Спарте правили два царя. В Византии часто было несколько соправителей, и на официальных документах, например, IX века мы можем встретить подписи сразу пяти царей – Романа, Диогена и их соправителей Михаила, Андроника и Константина. Но одиночные тираны, диктаторы (Сулла, Франко) не были монархами. Иными словами, монархия и немонархия не могут различаться по количеству главных правителей. Этот принцип ничего не дает.

Вторая легенда – будто бы царство-монархия передается по наследству. Ватикан – теократическая монархия, где папа не может иметь наследников (целибат – безбрачие в католичестве обязателен для монахов и священников). В Польше, Германской империи, королей, императоров выбирали, поэтому те не могли оставить государство наследникам. А в Византии, пожалуй, наиболее классической монархической стране, две трети монархов были убиты. В такой ситуации передать по наследству право на царство весьма затруднительно. Иными словами, признак передачи власти по наследству оказывается для монархии явно необязателен.

В то же время передача власти по наследству налицо в странах, которые монархиями не назовешь. Вспомните Северную Корею (Ким Ир Сен – Ким Чен Ир – Ким Чен Ын), Сирию (Хафез Асад – Башир Асад), Азербайджан (Гейдар Алиев – Ильхам Алиев). Нет, по принципу передачи власти по наследству выделить монархии будет трудно.

Полнота власти

Существует мнение, что монарх обладает большей полнотой власти, нежели другие правители. Это именно легенда, потому что представить, что Карл Дурак (прозвище короля) обладал полнотой власти во Франции, смешно. Или современный слабоумный король Швеции (с удивлением и сочувствием узнал об этом недомогании нынешнего шведского монарха в поездке к шведам). И дело здесь не в личных качествах. Конституционная монархия принципиально ограничивает полномочия монарха в Великобритании, Бельгии и т. п. И вспомним уж совсем классический случай: Япония во вре-

мена сёгуната. Монарх-микадо не обладал вообще никакими правами, зато реальный правитель сёгун (канцлер, визирь, премьер-министр) обладал всей полнотой власти. Понадобился политический переворот Мэйдзи, чтобы император Японии получил власть, а сёгун ее потерял. Но и в период сёгуната полномочный и полновластный сёгун не был монархом, а микадо был. И такая ситуация не особенность Японии. В период правления «ленивых королей» Мерovingов во Франкском королевстве реальной властью обладали мажордомы (будущие Каролинги), однако монархами были Мерovingи, а не мажордомы. С другой стороны, представьте масштаб реальной власти и полномочий Сталина, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена, Франко и т. п. правителей. У кого из монархов было власти больше?! Значит, объем властных полномочий верховного правителя также не может быть отличительным признаком монархии.

Мифы о свержении русского царя

Хотелось бы развеять еще одно, и совершенно детское, заблуждение, к удивлению, очень живучее. В России свергли монархию не большевики, а либералы-демократы. Был, как известно, верхушечный масонский заговор западников и с помощью западных посольств и спецслужб. Свергли монархию, обрушили страну в разуху и власть не удержали. В феврале 1917 года Ленин был в Швейцарии, Сталин в Красноярске, Троцкий в США. Никого из членов ЦК партии большевиков не было в Петрограде в феврале 1917 года, и для большевиков сам февральский переворот был неожиданностью. Царское правительство было арестовано по приказу Временного правительства, а из заключения царских министров выпустили большевики. Стоит почитать, как грубо и неприлично относились к бывшему императору и его семье державшие их под арестом А. Керенский и Л. Корнилов, чтобы понять их несовместимость. А заодно стоит вспомнить, что охранителя царской семьи Григория Распутина убивали ближайшие родственники императора и монархист В. Пуришкевич, а отречение у Николая II принимал монархист В. Шульгин. Ирония судьбы или закономерность?! И последнее про эту легенду: в Гражданской войне красные пели песню: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...». Эта песня сильно искажала реальность. Монархизм был запрещен в обоих враждующих лагерях, в белых армиях лозунгом было

непредрешенчество, т. е. – победим, а потом решим как жить, какие социальные структуры создавать. Другое дело, что самим фактом якобы восстановления права восстанавливали старую жизнь.

Монарх – божие изволение

Чем же отличен монарх от высшего управителя – немонарха? Монарх всегда понимается как божье изволение. Он всегда или бог сам, воплощение божие (сын Неба или бога, потомок бога или богини), или посланник Божий, помазанник Божий. Его правление не является творением людей, но божьим изволением. Китайский император – сын Неба, японский – потомок богини Аматерасу, египетский фараон – воплощение бога Гора и наследник бога Осириса, русский царь – помазанник Божий... Все это примеры божественного права монархов. В период наступления массового атеизма и надежд на естественную смерть религии подобные идеи казались предельно устаревшими, традиционно-сказочными и не привлекали особого внимания. Сегодня в России по всем внешним признакам наступил период религиозного возрождения. Это прямо связано с возросшим интересом к монархизму, а в России – к православию и монархии.

П.А. Флоренский писал: «Право это (монарха. – *Н.Б.*) одно только не человеческого происхождения, и потому заслуживает названия Божественного. И как бы ни назывался подобный творец культуры – диктатором, правителем, самодержцем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что перед нами чудо и живое явление творческой мощи человечества». Интересно, что Флоренский пишет это в Соловецком лагере будучи приговоренным к высшей мере наказания. Из сказанного получается, что как бы ни назывался... Сталин, мы будем считать его истинным самодержцем, если он и народ признают божественный источник его власти. Именно этого и не могли официально принять атеистические правящие власти. Однако как некоторое дополнение к размышлению добавим следующее: Николай II в анкете написал о себе «хозяин земли русской», а Сталина его приближенные между собой звали «хозяином». И граница между монархией и немонархией становится весьма зыбкая. Первый секретарь ЦК КПСС в Советском Союзе мог реально иметь власти не меньше, чем император в Риме периода принципата. У них даже внешне

сильное сходство: оба – первые среди равных, оба – вожди (у Августа – «высший авторитет», у Л. Брежнева – решение Политбюро «О повышении роли и авторитета Генерального секретаря»). Однако Август – монарх, ибо считается наместником Божьим и Богом на земле, а Л. Брежнев – не монарх, поскольку атеистическое сознание не позволяло связывать его имя с божественным рангом.

Монарх – художественное олицетворение власти

Монархическому сознанию свойственна потребность олицетворения власти, государства, народа в лице одного человека. Такое сознание требует очевидного, живого, единоличного носителя, персоны. Во французском политическом словаре демократ К. Лефор пишет: «Как только власть перестала олицетворяться с личностью правителя («князя» Макиавелли), она стала впервые означать пустое пространство». Для монархиста по-человечески непонятна власть пустого пространства или должности, кресла, формы, чина, для него нужна личность, вождь (не случайно вожди в человеческой истории легко превращались в царей – Наполеон во Франции, Карагеоргий и Обилич в Сербии, Хлодвиг во Франкском королевстве и т. д.). Если для монархиста нужно живое лицо как воплощение единства власти, государства, народа, то демократу достаточно символа, должности, чина, кресла, формы или пусть самой важной, но легко и через определенный срок заменяемой детали государственного механизма. Для демократа олицетворение власти кажется смешным: почему именно это лицо, а не другое, более умное и образованное? Почему вообще один, а не все (ум хорошо, а много умов – лучше)? Не достаточно ли для внешнего и формального фигурирования – президент или премьер, явно отождествляемые со страной?

Уже в употреблении слов виден и второй существенный момент: монархист склонен художественно-интуитивно отождествлять с монархом власть, государство, народ, а демократ в президенте склонен видеть лишь рассудочно деталь механизма, высший чин – но все же чиновника, и только. Монархизм – скорее интуитивное чувство человека, а у демократизма – больше рациональное сознание, и поэтому, даже зная о человеческой внешней и внутренней привлекательности монарха, республиканец считает его узурпатором, который в одиночку несправедливо пользуется тем, что принадлежит многим. Это чувство может быть внутренним обоснованием царевубийства, как это было у народовольцев в их

«охоте» за Александром II. Монархист же может повторить слова А.К. Толстого: «Я ненавижу деспотизм... но... я слишком художник, чтобы нападать на монархию».

Олицетворение власти и народа в верховной личности (монархе) для монархиста означает и высшую степень доверия. Демократ-республиканец не склонен доверять никому. Монархист верит в то, что монарх искренне и целостно желает добра своему государству и своему народу, что монарх справедлив и бескорыстен. Доверие вызывает активность и инициативу в содействии монарху, внушает подданным уверенность, что есть к кому обратиться и воззвать, что государство – не формальная организация и не слепой механизм, что существует единая, правая и справедливая верховная власть, воля которой есть и правда, и защита для всех. Сама монархическая идея доверия к главе государства кажется демократу глупой и опасной. И действительно, если убрать персонификацию, то как можно доверять «пустому месту»? Человек, уверяющий, что он прирожденный глава государства, что он прирос к этой должности, – по мнению демократа-республиканца, злонамеренный и корыстный властолюбец. Глава государства обставляется в республике формальными ограничениями его свободного разума и творчества (присяга конституции, ограничение законом его прав и привилегий, подконтрольность парламенту и т. п.). Будущий президент в период избрания ставится в положение угодника толпы и демагога – он пожимает всем руки, улыбается, показывает жену и детей, всем и все обещает – и может быть смещен под крики толпы.

Любовь и преданность

Монархизм требует не только доверия к монарху, но и любви, верности, преданности. Отношения внутри монархического государства – как бы семейные; подданный (точнее – верноподданный) относится к монарху как к отцу, а монарх к своим подданным – как к своим детям. Отсюда и «жизнь за царя», и самопожертвование Сусанина, и «верные мои слуги» (Савельич у Гринева), и лжемонархия как знамя во всех народных восстаниях Средневековья. Для демократа речь идет о личном интересе, о лояльности, законопослушности, о внешней порядочности как принципиальной достаточности гражданина. По правилу «не пойман – не вор» уважаемыми гражданами государства являются и ростовщики, и сутенеры, шулеры, гангстеры и т. п.

«Любить» президента и быть ему «верным» всю жизнь – достаточно комично с точки зрения демократа-республиканца, все эти чувства – лишь монархические предрассудки. Соответственно вырабатываются различные типы человека в его отношении к государству. Для монархиста главное – это служение монарху, отечеству, государству, народу, для демократа – это карьера, личный успех, служба родине (но не президенту, не парламенту, не государству). Для монархиста идеал – это честь, дисциплина, ответственность, для республиканца-демократа – равенство, свобода и индивидуальная карьера.

Различие ранга и равенства: общество и учреждение

В чем кардинальная разница важных сторон принципиально различных мировоззрений – ранга и равенства?

Для республиканца равенство имеет первостепенное значение. Гражданское общество состоит из равных друг другу атомарных индивидов – равных перед законом, государством, независимых и свободных друг от друга. Предприимчивый гражданин может стать президентом. Равенство возможностей развивает инициативу, требует у гражданина ответа на любой сложный вопрос политики. Референдумы и плебисциты собирают большинство по вопросам, в которых большинство может ничего не понимать, принимать безответственные решения, выбирать президента, ничего не зная о его программе. На такой выбор могут оказывать сильнейшее воздействие совершенно случайные с государственной точки зрения факторы, например фотогеничность претендента, улыбочивость, умение носить галстук, рост и вес. Напомним в связи с этим голосование во Франции в 1875 году, в котором республике было отдано предпочтение перед монархией в один голос. Можно вспомнить и попытки добиться полного равенства в Речи Посполитой – когда требовалось добиться полного единодушия, всегда находился шляхтич с его правом вето. Он говорил «не позволяю», в результате Речь Посполитая вообще погибла от невозможности принимать решения.

Для монархиста равенство является трехстепенной категорией. Гораздо важнее для него ранг и ответственность. Вот мнение монархиста П.А. Флоренского: «Политика есть специальность, столь же доступная массам, как медицина и математика, и поэтому столь

же опасная в руках невежд, как яд или взрывчатое вещество; отсюда следует и соответственный вывод о правительстве: как демократический принцип оно вредно, и не давая удовлетворения никому в частности, вместе с тем расслабляет целое. Ни одно правительство, если оно не желает краха, фактически не опирается на решения большинства в вопросах важнейших и вносит свои коррективы; а это значит, что по существу оно не признает представительства, но пользуется им как средством для прикрытия своих действий».

Монархист говорит о том, что люди – разные по своим способностям, воле, политическим качествам и не могут в равной степени влиять на жизнь. Каждый должен знать свой ранг, быть на этом месте «слуга царю, отец солдатам» и видеть свою задачу в честном исполнении долга как бы перед глазами монарха или Бога.

Конечно, равенство может приводить к уравниловке, как это часто бывало; но также и ранг может приводить к незаслуженным привилегиям. Умные республиканцы, как и умные монархисты, всегда стремились выправить в лучшую сторону избранные ими принципы. Равенство не должно приводить к уравнительности, иначе женщине придется переносить тяжести как и мужчине; а президенту по два часа добираться на электричке на работу. Ранг также не должен превращаться в касту с привилегиями, дворянскую или партийную номенклатуру. Определяющим моментом должна быть ответственность на своем месте, соответствующим образом обеспеченная и льготами, и возможностями. Представление о равенстве и ранге зависят от исходной позиции. Ведь можно согласиться и с тем, что для камердинера нет героя, ибо он видит его без штанов. А можно согласиться и с тем, что герой остается героем, просто смотрят на него глазами холуя.

Принцип ранга или качественного различия людей обязательно связан с органическим целостным восприятием общества; подразумевает иерархию и центростремительные тенденции. Монарх олицетворяет собой единство, целостность общества, что связано и с интуитивно-художественным восприятием жизни. Монархическое восприятие целостности, ранга, иерархии напоминает собой школу или рабочее учреждение, больницу, где отнюдь не все имеют равные возможности влиять на правила жизни и где действует дисциплина и субординация

Республиканское же восприятие равенства и общества напоминает собой общежитие, где все живут своей жизнью, соприкасаются внешними сторонами как равные и лишь координируют свои

поступки. В школе ответственность и связь людей больше: директор ответствен за всю школу, учитель за весь класс и т. д. В общежитии этого нет – там могут сложиться человеческие отношения, а могут и не сложиться, люди останутся чужими друг другу, их заботы и помыслы останутся их личным делом. Однако принципов сожительства общежития это не нарушает.

Свобода и ответственность

Монархизм и парламентаризм опираются на противоположные понятия в паре «свобода и ответственность». Для республики (демократии) первостепенное значение имеет свобода. Для монархии – ответственность. Демократы нередко смешивают понятия и объявляют монархистов рабами и противниками свободы. Подобная традиция живуча и сегодня. Однако стоит вспомнить, что монархист М. Ломоносов говорил: «Не токмо для царя, для Господа Бога хлопом не был и не буду!». Согласитесь – сильные слова сильной и свободной личности! И это не особенность Ломоносова, но общая черта русского народа. Николай Лосский оставил нам замечательную книгу «Характер Русского народа». В ней он писал о свободолюбии как характерной черте русского народа. Он справедливо указывал на то, что Россия – классическая страна анархических движений, гипертрофированно возвышавших свободу. Не случайно самые знаменитые вожди и мыслители анархизма – М. Бакунин и П. Кропоткин – русские.

И еще одно обстоятельство, которое справедливо отмечал Н. Лосский: русский народ всегда и во все века готов был драться за свободу против всех иноземных захватчиков – и в 1612, и в 1812, и в 1914, и в 1941 годах. Партизанское движение в России возникало всегда при иноземном нашествии, и это, пожалуй, самый яркий показатель стремления к свободе, ибо отстаивается оно своей жизнью. А якобы свободолюбивые европейцы-демократы почти никогда не имели партизанского движения в схожих условиях. Непокорность русского народа – более доказуемая черта, нежели рабская сущность.

Другое дело – для русского не сама по себе важна свобода. Как писал наш земляк и великий философ В. Розанов, для русского человека свобода сама по себе – пустое место: «Извозчик свободен? Ну и кричи: Да здравствует свобода. А ему ведь нужен седок». Свобода для русского человека сама по себе кажется своеволием и хулиганством, отсутствием смысла. Для русского важна не сама по себе свобода, а то,

чем ее наполняют – справедливостью, совестью, любовью или хулиганством и бестолковщиной. Русский предпочтет сладкую ответственность перед любящими и любимыми – семьей, родиной, друзьями.

В принципах общежития-республики заключена и свобода инициативы «выкручивайся сам», а в таком случае вроде бы республиканское сознание подразумевает большую инициативу и новаторство. И действительно, как пишет Клод Лефор, «демократия – это область беспрецедентных экспериментов, где исчезают последние вехи уверенности». Завораживающие республиканца слова «прогресс», «гуманность», «свобода» как бы обрекают на новаторство, реформу. Сегодня ясно, что инициатива не всегда хороша, ибо она может разрушить нормальную жизнь людей, привести к образованию суверенной республики в любом уезде, например, Ветлужском, как это было в 1918 году – последний ли раз?

Консерватизм и радикализм

Монархическому сознанию свойствен консервативный уклон и культ традиций. С одной стороны, это может вести к застою, а с другой – лучше сохраняет реальный сложившийся уклад жизни. Стоит напомнить, что одно из главных возражений против идеологий и теорий состоит в том, что под видом создания и воплощения идей и теорий, вполне возможно призрачных, обманных, нежизнеспособных, приходится крушить уже отлаженное. Важно отметить, что консерватизм есть сохранение, а не реакция (движение вспять). Нельзя считать, что республика – это движение вперед, инициатива, а монархия – наоборот, застой, кладбищенский порядок и мертвая тишина. Республиканский радикализм может приводить к анархии, а дисциплина и ответственность монархического строя – к весьма деятельной инициативе и монарха, и его подданных, как это было у Александра II, у А. Суворова.

Два типа общества: Россия и США

Итак, мы видим два типа общества и два типа государственного устройства, основанные на принципиально различных типах восприятия человека.

Один тип – это демократия и республика, основанные на восприятии человека как сосуда зла, на представлении о злой сущности человека, порочной, преступной. Прямо по Т. Гоббсу, философия

которого легла в основу Конституции США: человек человеку – волк, да и большего зверя, чем человек, нет. Общество – это попытка прекратить преступный беспредел, ограничить его зверскую натуру, не доверяя никому, придумать механическую систему сдержек, противовесов и взаимной слежки. Другой тип – это монархия, основанная на христианском учении о человеке как образе Божьем, добром существе, проникнутом любовью к другим людям. У И. Солоневича есть интересная мысль о том, что человек пачкается в реальном мире и душа его искажается. Однако есть две ситуации, когда человек может проявлять только свою божественную сущность доброго и любвеобильного существа. Это монах и монарх. Монаху запрещены все страсти этого мира, а монарху доступны все страсти и возможности этого мира. Это крайние ситуации для человека. И в них ему некуда деваться, кроме как проявлять свой главный смысл – любить человека и быть к нему милостивым.

Мне кажется, что русский народ сохраняет свое представление о человеке как образе Божьем, явно сохраняет фантастическую доверчивость, считает труд основой жизни, а социальную справедливость – единственно возможной схемой жизни.

Написал эти слова и встретил жесткую критику первого же читателя за то, что слишком хорошо я думаю о русском народе. Мне кажется, что я реально оцениваю факты и потому, что я указываю далее на вину русского народа в отступлении от правильного пути. И второе. Посмотрите сами. Сегодня при капитализме русскому человеку опять пришлось выбирать между трудом и капиталом. И он выбрал труд! Сходите на рынок. Кто стоит за прилавком? Русских мужиков там не найдете. А ведь нынешнее надтреснутое время уже привело к появлению практически невозможных в советское время мужчин-кондукторов в общественном транспорте. Но на рынке русских мужиков вы можете увидеть или подсобными рабочими, или рубщиками мяса, или помощниками жены. И для них эта торговля только приработок, и не самый главный. А вот нерусских сколько угодно! Сосед на участке вырастил огурцов море, девать некуда, но на рынок ему нести неудобно. Неудобно! А ведь он не перекупщик, как большинство нерусских мужчин на рынке. Это нормальная русская реакция! И мои наблюдения полностью совпадают с социологическими данными. Французы проанализировали положение в России и вывели итог: среди пяти национальных групп основных владельцев капитала в современной России русской группы нет! Всегда ли так будет? Конечно, все течет, все

изменяется. Однако еще в шальные 90-е Гусинский в интервью израильским средствам массовой информации озвучил идею «семи-банкирщины» (семи евреев-банкиров – Гусинский, Березовский, Ходорковский, Смоленский и проч.), правящей в России. Кто-то уже сидит, кто-то уже далече, появляются и русские богачи (Прохоров), однако и сегодня евреи и кавказские национальные группы владеют основными капиталами России. 2% населения владеют 98% богатствами России, а 98% владеют как раз 2% российских капиталов. Вряд ли для кого бы то ни было это большая новость, но стоит помнить, что среди населения России 88% – русские. Это значит, что именно они и есть главная масса ограбленных и – что для нашего разговора важно – добывающих себе на жизнь средства своим трудом, а не рентой с капитала.

Вспоминаю свои таджикские впечатления. В советское время школьников в Таджикистане вывозили собирать хлопок так же, как в России собирать картошку. И все поле было покрыто красными платками таджичек. Мужчины – это раис (председатель), завкладом и т. п., или сидит в чайхане. На восточном базаре восточных мужчин-продавцов было море. Сравните с нашими базарами и тогда, и сегодня! Нет, русское ощущение самоуважения прямо связано с трудом производительным, а не паразитическим. В национальной сетке ценностей это обозначено и не поменялось, может быть, чуть затушеввалось. Ведь это очень христианское: «в поте лица своего будете добывать вы хлеб свой»!

Обратите внимание еще на один момент. И. Солоневич – монархист и ярый антисоветчик, воспевае монархию и пишет о русском способе жизни, основанном на принципе социальной справедливости... Интересно: монархист – о социальной справедливости, и коммунисты о том же самом! Монархизм вовсе не является воспеванием эксплуатации и богатства. Монарх выступает в монархических теориях своеобразным гарантом социального мира, арбитром в социальных столкновениях. Он вовсе не ангажирован ни одной социальной группой или сословием. В монархическом идеале царь ни от кого из людей не зависит и никому из людей не обязан, даже народу в целом. Обязан одному только Богу! В этом гарантия от дрязг, человеческих интриг и смуты. Царь в идеале думает об истине, правде, справедливости, милости, красоте, добре и других вечных, а значит, божественных, ценностях. Мелкие людишки всегда думают о суетном и временном. Царь и Бог кажутся русскому человеку естественной связкой.

Воспоминания о будущем

Что такое идея монархии сегодня – отжившая утопия или некоторое предвосхищение будущего? Теоретики отметили: сначала появится теория, а потом следует воплощение. Так, возникли достаточно детальные теории парламентаризма Т. Гоббса, Д. Локка, Ж. Руссо, Ш. Монтескье, а потом появились Соединенные Штаты Америки и Французская революция вывела к жизни республику. Если это так, то не является ли показателем тот факт, что появились монархические теории? Могут ли они воплотиться в реальности?

Сами монархисты уверены: могут и должны. Социологические замеры показывают мощный рост монархических, правда, довольно аморфных настроений. Россия наелась демократии в достаточной степени. Идет восстановление национального сознания. Сам тип национального сознания явно не исключает, а предполагает схему монархического, православного и социалистического мира. Напомню не столь давние времена, когда была известна песня «кишкой последнего попа последнего царя удавим», когда господствовала теория естественной смерти религии... Где смерть религии? Где последний поп? Руководители государства стоят в церкви и крестятся, а спорить с патриаршеством и церковью вряд ли осмелится любой выбирающийся во власть. Чудны дела твои, Господи и чудна и удивительна русская история и реальность! Сказочность, древность и даже дряхлость монархии могут обернуться неожиданной русской реальностью.

Это отзывается в теориях. Русские выступили теоретиками монархии потому, что они достаточно философски и богословски одарены, крайне страстно переживали обрушение империи в 1917 и в 1991 годах. Во всех случаях исходной точкой развала и смутного времени было одно: «народишко соблазнился и исподличался», возгордился и слишком многого хотел для себя любимого. За это Бог или историческая необходимость его бьет и наставляет на путь истинный. А путь истины – это восстановление главного в человеке, его доброго, любовного, справедливого отношения к миру и человеку, восстановления совести. Когда это произойдет, тогда возможно восстановление народной монархии, самодержавия, основанного на социальной справедливости, основанной на принципе «от каждого по способности и каждому по труду».

Захар ПРИЛЕПИН

СКЕПТИК, СПРЯЧЬ СВОЮ ГУБУ

Белые люди как исчезающий вид

Российские власти уверенно отчитались о том, что демографический кризис преодолён, смертность у нас впервые с 1991 года сравнялась с рождаемостью.

Всё это на поверку оказалось блефом. На одну женщину у нас по-прежнему приходится 1,6 ребёнка. Сиюминутного эффекта мы достигли в силу двух причин: предоставления гражданства ровно такому количеству мигрантов, которое необходимо для сведения дебита и кредита, и некоторого всплеска рождаемости, обусловленного запоздалым появлением вторых детей в семьях «советского призыва» 70-х годов рождения.

В запасе остались рождённые примерно до середины 80-х.

В 1985 году рождаемость в СССР составляла 2,2 ребёнка на женщину. Ровно с наступлением перестройки рост сменился депопуляцией, в 1995 году мы имели 1,4 ребёнка на женщину, а в 2003 году этот показатель составил 1,3 – и стал одним из самых низких в мире.

Нынешний и так мизерный показатель в 1,6 скоро снова поползет вниз – советский призыв закончится, и пойдут в дело дети 90-х и «нулевых»: тогда мало того что почти не рожали, но ещё и исхитрились наделить обескураживающее количество чад целым букетом всевозможных болезней, включая врождённое бесплодие.

В России есть очень серьёзная прослойка интеллектуалов, которая склонна, слыша такой расклад, ухмыляться и произносить в ответ усталые речи о том, что это «естественные процессы» и «Европа тоже вымирает».

С одной стороны, это так: в Европе тоже наблюдается падение рождаемости, впрочем, далеко не везде такими темпами.

С другой стороны, хочется этот, черт побери, скепсис взять да обратить против самих скептиков.

Представим ситуацию, что было нашему скептику, скажем, 35 лет, а на следующий год ему – ррраз! – и вдруг стукнуло 55. Он

говорит: как же так, откуда, вчера же было 35? А ему в ответ: а вот естественный процесс, все стареют. Скептик не соглашается: все стареют, но почему я быстрее всех? А мы ему в ответ его же словами: не надо тут кликушество устраивать, посмотрите на Европу, и на весь просвещённый мир, мы же говорим вам: ес-те-ствен-ный процесс! Закономерность! Ясно? И поздравляем вас с 80-летием.

...то, что белый мир вырождается – очевидно всем. Но с чего бы нам быть первыми в этих рядах? Пусть скептики объяснят. А то любую проблему можно заговорить до полного абсурда.

Что они, собственно, и делают.

Крестьянская цивилизация превращается в городскую, говорят нам, в городах рожать некогда и места мало. (Как будто в 1985 году места было гораздо больше.)

В обществе изменились ценности – теперь они сугубо индивидуальные, человек живёт не во имя детей, а во имя продолжения собственной жизни. Сакральные смыслы оставили его. (Как будто тут есть чем хвалиться.)

Женщины обрели равные права с мужчинами и отказываются тратить жизнь на воспитание потомства. (А потом, как подсказывает опыт, сплошь и рядом спохватываются, но бывает уже поздно.)

«В итоге остается только человек, который живет сегодня, который не хочет планировать жизнь за пределом своей жизни. И вернуться назад человек не может», как написал тут один блоггер.

Всю эту мыслительную жвачку можно тянуть и тянуть, однако результат всё равно остаётся один: согласно прогнозу ООН, к середине текущего столетия численность населения России уменьшится до 101 млн человек. По другим печальным замерам: даже 98 млн, а по самым оптимистичным – 116.

Да, предсказывают, что к 2050 году с лица земли исчезнут 16 миллионов итальянцев и 23 миллиона немцев. Но русских-то – исчезнет больше 30 миллионов! Куда мы так торопимся? Почему европейские закономерности для нас ещё закономерней? Ни одно – слышите, ни одно западноевропейское государство не находится в таком катастрофическом положении, как мы.

Да хоть бы Европа вымирала быстрее нас – что это за такой закон, согласно которому нужно в гроб ложиться вместе с европейцами? Пусть сами туда лезут, это их индивидуальный выбор, он нас не касается.

К тому же надо понимать, что Германия из Германии никуда не денется, а России при таком раскладе придётся уйти из Азии

и с Кавказа, а, возможно, и из Сибири тоже – там будут жить другие люди. И говорить на других языках. А как вы хотели? – за Уралом живёт 8 миллионов человек, а территория там – ого-го какая, всем на зависть.

В английской прессе пишут про нас: «...острее всего недостаток населения проявляется на окраинах России; именно там он наиболее заметен. Пожалуй, самый ужасающий пример – Чукотка, массив размерами с три Великобритании, где население сократилось со 180 000 в 1990 году до 65 000 сегодня. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет эта цифра уменьшится до 20 000 человек, вследствие чего инфраструктуру региона уже невозможно будет поддерживать в надлежащем состоянии» .

Кто-то отдаёт себе отчёт, что совсем скоро мы не сможем поддерживать инфраструктуру не только Чукотки, но и всей остальной страны?

А у России ведь в наличии 42% мировых богатств – вы думаете, они никому больше не нужны?

Зато Индия к 2050 году обгонит Китай и займет первое место с населением, превышающим 1,6 миллиарда человек. Египет умножится с 83 миллионов человек до 133 миллионов. Китай тоже подрастёт – с 1,3 миллиарда до 1,4.

Вы скажете, что эти страны нам не указ: там почти дикие люди живут. Ну, мы бы поспорили, где люди более дикие – в нынешней Европе или в Китае, имеющем половину мировых запасов и лидирующем едва ли во всех сферах промышленности, где только можно лидировать...

Но хорошо, другой пример. Население, к примеру, США повысится к 2050 году с нынешних 315 до 404 млн человек и сохранит своё третье по численности место в мире.

Вы скажете, что там во многом мигранты обеспечивают рост. А чего ж они у нас его не обеспечивают? Ответ: в нынешней России даже мигранты плодиться не хотят!

К 2050 году вырастет население Израиля. Вырастет население Исландии. Хуже, чем в России, будут рожать в Японии и на Украине – но с каких пор именно эти страны стали для нас образцом для подражания?

В России надо срочно менять саму матрицу социального поведения.

Во-первых, надо спросить с государства.

Тут один из наших президентов пообещал, что многодетным семьям будут бесплатно предоставлять земельные участки за горо-

дом. Вы знаете, что по всей стране губернаторы саботируют этот указ? Ещё бы – провести газ и воду на новые территории, а потом всё это взять и отдать? Как бы не так. У губернаторов всегда есть в запасе более удачные способы освоения этой земли.

Что делать, спросите? Надо принудить государство, чтоб всем этим губернаторам предоставили участки в тюрьме, пусть они там осваивают пространство камер.

Идём дальше.

Знаете, что обусловило очередной рост рождаемости в СССР, когда европейские страны уже изготавились вымирать?

В 80-е года нашим женщинам дали возможность быть три года в отпуске по уходу за ребенком с сохранением ста процентов зарплаты. Результат был налицо.

Можно представить подобные вещи в нынешней России?

Вы скажете: нет, но у нас сейчас строй другой и мы уже сделали свой выбор. Ну и к чертям этот строй, давайте его подкорректируем: с чего мы взяли, что такое положение вещей – незыблемо? Ещё как зыблемо.

Можно ещё придумать множество законов в поддержку детства и материнства – мы ж вывозим из страны 10 млрд долларов ежемесячно – давайте попросим дорогое государство позволять вывозить хотя бы на миллиард долларов в месяц меньше. В конце концов, они торгуют 42% мировых ресурсов, которые всем нам принадлежат, а не только им.

На оставшиеся в стране деньги можно нанять «профессиональных матерей» – которые будут получать зарплату – и очень большую – только потому, что они рожают.

Вы в курсе, сколько мы с моей женой получаем за четверых детей? Я даже говорить не буду, это смешно. Всё хочу найти того человека, который придумал эти выплаты, и обидеть его навсегда, причём изо всех сил.

Знаю, что сейчас сбегутся очередные скептики с отвислой губой и начнут рассказывать про алкоголиков и тунеядцев, которые расплодятся больше всех.

Знаете что? Езжайте на Чукотку с вашим подходом.

К тому же а на что нам государственный аппарат – пусть этот аппарат присматривает за реализацией этого закона и отбирает мамаш поприличнее.

Ну и, наконец, надо бы отдавать себе отчёт, что натуральные тунеядцы – это не те, кто «наплодят нищету», а как раз те, кто выбрал «жить для себя».

Потому что время пройдёт, и на всех, кто жил для себя, будут работать дети тех самых тунейдцев – а кто же ещё?

Понятно, что мы в своё время платили налоги (хо-хо!) и даже, быть может, завели одно чадо. Но одно чадо будет вынуждено работать на себя, на маму и на папу, дай им бог всем здоровья, а налоги наши, к сожалению, не смогут вместо людей горбатиться в офисах, пахать землю и готовить пончики с вареньем. Без новых людей никуда не денешься! Плодящимся тунейдцам надо платить сегодня, заранее, – мы потом ещё вспомним их добрым словом.

Во-вторых, начав с государства, неизбежно придётся перейти к себе.

В России, между прочим, делают 1 миллион 200 тысяч абортотворений в год. Понятно, что часть их делается по медицинским показателям – но далеко не большая часть. Это ж какой-то кошмар если не с религиозной (у нас скептики церковное мракобесие последнее время активно не любят), то просто с этической точки зрения. Других методов контрацепции, что ли, нет, что мы за абортотворцы тут развели?

Между тем запрет абортотворения в просвещённой среде россиян странным образом считают чуть ли не варварством – и сразу отсылают к Сталину, который действительно запретил в 1937 году абортотворения – вследствие чего, вопреки всем репрессиям и ужасам, народ прирастал отличными темпами. Именно тогда, удивительным образом, в течение 37-го и 38-го подряд родились Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Геннадий Шпаликов, Александр Проханов, Андрей Битов, Владимир Маканин, Эдуард Успенский, Александр Дольский, Евгений Маркин, Лев Лосев, Юнна Мориц и ещё множество людей, определивших потом смысл, звучание и культурную высоту всего XX века. Тоже, поди, иные из перечисленных были не самыми желанными детьми: в 1937 году да забеременеть! Но в результате этого мы имеем «Каникулы в Простоквашино», «Коней привередливых», «Государство синих глаз» и «Пушкинский дом».

К тому же Сталин тут вовсе не обязателен. В таких странах, как Мальта и Ватикан, не разрешают прерывание беременности ни при каких обстоятельствах. Ирландия, Андорра, Сан-Марино и Монако допускают аборт только в случае угрозы жизни беременной женщины, в остальных случаях аборт запрещён. В Польше, Испании, Лихтенштейне производство аборта разрешено с целью защиты не только жизни, но и физического и психического здоровья беременной женщины, а также в случае изнасилования, инцеста или аномального развития плода – но в остальных случа-

ях делать эту операцию нельзя. В Великобритании, Финляндии, Исландии и Люксембурге аборты также запрещены, но, помимо вышеперечисленных условий, аборт законодательно разрешен по социально-экономическим основаниям, если таковые имеются.

Если мы, чуть что, ссылаемся на просвещённую, но вымирающую Европу – чего же мы не желаем воспользоваться их передовым опытом?

Никто, кроме Церкви, не может требовать слишком многого от пар, живущих в натуральной бедности, от матерей-одиночек и от больных женщин – но у нас и вполне обеспеченные и жильём, и достатком люди склонны разрешать любые помехи своему благосостоянию радикальным образом.

Опять скажете, что нежеланные дети не нужны родителям? А так ли вы про себя уверены, что были желанными? Может, и вас тоже надо было не рожать?

...и только после того, как мы сделаем всё из вышеперечисленного и ещё больше, тогда можно ссылаться на «закономерности» и «естественный процесс».

А пока не сделали ничего, пусть скептики втянут свою отвисшую губу и, как они это называют, «начнут с себя». Именно! А лучше – с жены или подруги.

Тут недавно наши законодатели запретили нецензурную брань. Ерунда это всё. В России надо штрафовать за выражение «Я ничего никому не должен» и ему подобные.

Потому что – должен.

Ибо если ты сегодня никому не должен – почему послезавтра будут должны тебе?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ? МЫ УЖЕ ПРИДУМАЛИ

Одни уже молчат об этом, вторые ещё говорят, но никто уже не способен всерьёз сказать, какой быть национальной идее России.

Вопрос ведь, в конце концов, не в идее как таковой, а в том, зачем мы вообще живём здесь?

Есть ещё третьи, которым достаточно самих себя для того, чтоб иметь полноценные ответы на любые вопросы: национальная идея – это я сам, мир создан для того, чтоб радовать меня, пусть всё идёт к чёрту, а мне чаю пить. Но о них мы сегодня умолчим, и так слишком много времени стали уделять всяким насекомым.

Главная ошибка в поиске идеи кроется, как нам кажется, в одном: мы хотим, чтоб она возникла немедленно и честно послужила нам для нашего самоуважения. Ведь сколько бы мы ни хорохорились, а внутренне прекрасно осознаём, что выплаченных кредитов для самоуважения мало. Должно прийти что-то, что больше, чем каждый из нас со своими бесконечными человеческими желаниями.

Но идея не может нам послужить немедленно, потому что все мы разобщены так, как мало когда ранее.

В идее свободы мы разочаровались: с этой свободой настал такой разврат, что туши свет. Идея накопительства тоже как-то приелась. Идея равенства увлекает, но до определённого предела: пока тебя самого не решают подравнять с другими. Первоначальное значение выражения «Москва – третий Рим» уже мало кто помнит, и многие готовы понимать это буквально – что тоже радости не приносит: в Риме полно проблем, в Стамбуле не меньше, мы на третьем месте в этом печальном ряду. В итоге третий Рим скорей уже антиидея, чем идея.

Всё, что нам до сих пор могли предложить, – это идея врага. Сплотимся и купно кого-нибудь победим, кто нечаянно подвернулся.

Враги попадались не соответствующие то нашему размаху, то реальному положению дел: то есть врагами, по сути, не являлись.

Сейчас многие государства живут по принципу «другие – это ад». Для бывших республик СССР и ряда европейских стран «другие» – это Россия. Для многих азиатских и ряда европейских стран «другие» – это США.

Выбравшие идею «другие – это ад» в качестве национальной всерьёз думают, что раз они сбежали от «других», то, значит, они сбежали из ада. На самом деле свой ад они унесли в себе – и чем больше они думают о «других» и клянут их – тем их личный ад жарче.

В России это удивительным образом иногда стали понимать, поэтому периодически наблюдаются всплески то «грузинофилии», то «белоруссофилии», то «украинофилии», то «американофилии» в тот момент, когда нам предлагают всех перечисленных в качестве врагов.

Все враги внутри нас.

Но тогда есть смысл предположить, что и друзья тоже где-то поблизости?

Что бы мы ни говорили, но мы все понимаем, как должен выглядеть нормальный человек и нормальная страна. Себе мы многое можем простить, хотя бы временно, но про человеческий идеал догадываемся.

То же самое со страной. Мы можем сколько угодно повторять все эти благоглупости и пошлости на тему «...а из кого выбирать?», «...а где лучше?», «...а когда было хорошо?» – но, если всерьёз, мы понимаем, что происходящее вокруг нас по области нормального уже не проходит – это давно за гранью.

Осталось осознать, как нам предполагаемый идеал применить к своей давно некондиционной фигуре.

Не может же быть нормальной национальной идеи у такого беспутного сброда, как мы – погрязшего в разврате, распаде, распиле и «Фейсбуке»? Не может.

У спартанцев – она могла быть, спартанцы были парни те ещё. У викингов – могла быть, они садились в лодку и верхом на идее плыли через океан. У французов в Средние века могла быть – они не только всех научили одеваться и раскланиваться, но и понятие чести поставили так высоко, что треть своей элиты перебили на дуэлях. У британцев могла быть – они, невзирая ни на какую толерантность, владели третью мира. А посмотрите фотографии наших лётчиков и поляриков годов 30-х или 60-х, посмотрите на лица людей, которые слушают Окуджаву и Вознесенского в «Олимпийском». Давно вы видели такие лица? Где? На концерте этого, как его... нет, я даже имён этих не буду называть, меня мутит.

Вас, я верю, тоже слегка мутит, но вы, превозмогая тошноту и омерзение, всё равно слушаете то, что вам подают, смеётесь над

тем, чем вас смешат, читаете то, к чему вас принудили, работаете там, где выпало подлататься, выбираете тех, кого уже выбирали много раз, хотя результат заранее известен.

Нам уже не вырваться из этого круга, мы отупевшие и тусклые рабы на своих жерновах.

Зато мы имеем прекрасный шанс посмотреть на тех, кто сможет иначе, чем мы.

У нас не может быть никакой национальной идеи, кроме наших детей.

Эва! – скажете вы, – а то мы не догадывались.

Нет, не догадывались.

То, о чём мы догадывались, нужно довести до абсолюта.

Ближайшие десятилетия – а Россия в нынешнем её положении на большее чем десятилетия и не может рассчитывать, – так вот, ближайшие даже годы мы должны поставить на то, что вырастим поколение новых людей. Тех, о ком мы читали (или не читали – тогда: рекомендую) в книгах ранних Стругацких.

Все силы наших бюджетов, все средства, бросаемые на бесконечные празднества, юбилеи, коронации, дни городов – туда, в детский бюджет.

Сверхналоги на богатство, на самые прибыльные телеканалы – раз уж их нельзя закрыть вовсе, все золотые запасы и бочки с серебром – тоже туда.

Капиталы, вытекающие за рубеж, хотя бы частично развернуть – и тоже направить в указанном направлении.

Законодательно определить, что дети государственных чиновников получают среднее и высшее образование только в России – тогда власть вложит все средства в то, чтоб их отпрыски получали достойные знания здесь.

Школы и университеты, детская медицина, детский спорт, кружки и секции, детские научные журналы, детские телеканалы, детские радиостанции – это должно быть сделано лучшими умами страны и обладать всеми необходимыми качествами: отсутствием государственного догматизма, сверхинтересностью, высоким интеллектуальным уровнем.

Каждый ребёнок должен быть – в самом лучшем смысле – поставлен на учёт.

Каждого ребёнка мы должны воспринимать как национальное достояние.

Путин и вся его рать, все Михалковы и каждый Кара-Мурза, Лимонов и Навальный, Гребенщиков и Шевчук, «синие ведёрки» и экологи, «Эхо Москвы» и лично Эрнст, либералы и националисты, Перельман и Канделаки, Ходорковский и его прокуроры, Волочкова и Валуев, Церковь и «Фейсбук», Собчак и Виторган, экстремисты и центр «Э», Калининград и Владивосток – все должны понять, что всякая тема по отношению к теме детей является вторичной, потому что национальное спасение – только здесь.

Через шестнадцать лет после своего рождения ребёнок должен получить то, чего никогда не получали дети ни одной нации мира.

Он должен говорить как минимум на трёх языках. Владеть как минимум одним ремеслом. Играть как минимум на одном музыкальном инструменте. Быть профи как минимум в одном виде спорта. Знать алгебру и физику, анатомию и астрономию. Увидеть и покорить географию всей страны, от края до края. Ориентироваться в тайге и в экономических школах. Подшивать воротнички и вязать носки. Помнить наизусть как минимум одну поэму и по одному стихотворению ста поэтов и уметь разыграть как минимум сто самых известных партий в шахматы. Представления его о чести и совести должны быть определённы, а не бесконечно расплывчаты, как у нас. Образцами его поведения должны стать святые и подвижники, образцами его речи – поэты и пророки. Он должен уметь стрелять, петь, танцевать сорок разных танцев, молиться, управлять любым видом транспорта, включая летательные аппараты, плавать под водой, создавать и взламывать компьютерные системы, оказывать первую медицинскую и последнюю психологическую помощь, принимать роды и знать поминальные притчи.

Всякая строка бюджета, связанная с детьми, должна быть самой жирной строкой бюджета, она должна отекает от переизбытка, как сочинская Олимпиада, не меньше.

Интеллигенция должна пойти к детям, как народники уходили в народ. К детям надо плыть, как Колумб поплыл в Америку. В отличие от Колумба, у нас есть шанс найти сразу и Америку, и Индию, и даже Россию.

Представляете, прошло двадцать лет – а у нас 20 миллионов новой, с иголки, элиты?

То, что мы через двадцать лет не узнаем своей страны, едва такие дети войдут в жизнь, – это полдела.

То, что мы сами захотим стать хотя бы слабым подобием своих детей, – другие полдела.

Самое важное, что никаких других шансов у нас просто нет. Мы отработанный материал, надо честно себе в этом признаться. Каждый из нас, может быть, и хорош, в целом мы – годимся только на то, чтоб уступить дорогу тем, кто даст нам право добраться до своего предела и не завывать от ужаса, оглянувшись назад.

Национальная идея есть, осталось заставить работать на неё всё это государство и всю нацию целиком – на все его и наши оставшиеся мощности.

ПОХВАЛА ХАНЖЕСТВУ

Вижу этих родителей – и на душе тоскливо.

Как они вообще смеют что-то говорить своим детям?

Вот эти люди – не прочитавшие ни одной книги за всю сознательную жизнь; законченные пошляки и восхитительные идиотки; потребители сериалов, поклонницы Малахова и слушательницы Стаса Михайлова; мужские экземпляры, вся сила интеллекта которых сосредоточена на рыбалке; верные мужья, разыскивающие в «Одноклассниках» своих случайных и податливых подруг, а также верные жены, откапывающие «ВКонтакте» своих, как они это называют, друзей; люди, чей главный жизненный принцип – «Я ничего никому не должен», зато им, если им что-то надо – а им всегда что-то надо – от человеческого участия до земельного участка, – вот им-то должны все, и это даже не обсуждается; представители, так сказать, человечества, прощающие себе любую подлость, вульгарные и тупые, и гордящиеся своей тупостью и своей вульгарностью, и несущие всё это с вызовом; вырастившие в душе плотоядную пустоту, погрязшие в непрестанных непотребствах, живущие в тёплом и привычном скотстве, как в утробе...

Вижу эти лица, эти немигающие кроличьи глаза – и вдруг не верю своим ушам!

– Почему на тебя жалуются учителя? – восклицает отец. Да на него самого впору жаловаться федеральному прокурору, в отдел по борьбе с экономическими махинациями, в земское собрание и в ООН тоже.

– Почему ты так оделась? – восклицает мать. А сама она приходит в общественное заведение накрашенная, как вампир, к тому же в кожаных штанах с заклёпками, на два размера меньше рекомендуемого. И если она сделает неловкое движение, к примеру резко присядет, то штаны взорвутся со страшным грохотом и заклёпками может поранить случайно пробегающих мимо детей.

«Почему ты не выучил урок? Почему не дочитал "Капитанские дети"? Почему ты не трам-парам-пам-пам-парам-пам?»

«Не гуляй с этим парнем!», «Что за проститутка рядом с тобой?» «Ты что, куришь?» «Твой отец впервые попробовал спиртное в девятнадцать лет!»

«Как ты разговариваешь с матерью? Мать так никогда не говорила с твоим дедом!»

«Выключи телевизор, ты скоро ослепнешь от него!» «Куда собрался на ночь глядя? Включи телевизор, посиди дома!»

«Чего ты там накачал в свой мобильный, идиот?»

У ребёнка взрывается голова. Даже не в четырнадцать и тем более не в шестнадцать, а уже в десять лет он отлично знает, что все эти нотации – полное враньё.

Отец попробовал спиртное, как только он вырос чуть выше стола и дождался момента, когда родители оставили его одного на кухне. Мать выглядит на юношеских фотографиях так, словно её сфотографировали во время полицейского рейда по самым значным местам, а деда она посылает прямым текстом донине. Оба родителя не читали никаких «Капитанских детей» и не отличают Чайковского от Чуковского, зато телевизионное пространство ценят и чувствуют себя в нём уютно, как жуки в навозе.

А в мобильные к ним вообще лучше не заглядывать.

Впрочем, ребёнок может и не знать, кого там и от кого не отличают его родители и какие тайны хранятся в их телефонах, но он уже чувствует ещё не огрубевшей своей кожей, что ценности, которые ему навязывают, отдают какой-то прокисшей тоской.

Можно набрать воздуха в лёгкие и ещё раз обрушиться на этих родителей.

...но порой задумаешься и вдруг понимаешь, что их поведение куда больше продиктовано голосом нормальной человеческой природы, чем какой-то там подлостью.

Иной раз дети, наверное, вправе жёстко осадить родителей и поймать их на вопиющем несоответствии произносимым вслух сентенциям.

Но чаще всего родители ведут себя подобным образом по одной простой причине: они ещё помнят, что такое хорошо – но сами так уже не умеют.

Душа подрастрочена, тело в некоторых местах разрушено чрезмерным употреблением тех или иных подсудных средств, биография таит чёрные дыры, куда лучше не оступаться, а то такие демоны вылетят – можно сон потерять, если увидеть их в глаза. Но при этом не до конца, к счастью, уничтоженный родительский

инстинкт требует, требует, требует произносить всё то, что приходится произносить при виде детей.

За каждым лживым словом очень часто стоит тихое моление: сын (дочь), не будь таким (такой), как я (как я)!

Пусть взрослые люди произносят всё это, пусть.

Больше ханжества, больше!

Куда страшней и отвратительней обратная сторона.

...Помню, был у меня один знакомец.

Он с очевидным и восторженным удовольствием рассказывал мне, какой у него разбитной батя был – и, собственно, таким и остался.

«Прогуливаю школу, – смеялся мой знакомец, – гляжу, батя прёт с какой-то бабой, мнет ей сиську. Батя меня хватя за шкибот, сует четвертной: "Матери чтоб не слова!" Я каждую неделю с него получал по четвертному!»

Батя учил моего знакомца: «Увидел хорошую бабу – хватай её за...» И называл все вещи своими именами.

Потом сын вырос.

Я ничего тут не буду рассказывать про этого парня, где и когда, и при каких обстоятельствах мне довелось его встречать, – у меня ни малейших оснований выступать в качестве моралиста.

Но, право слово, мой знакомец всё-таки был законченный урод. Всякий раз, когда я его видел, он предоставлял всё новые и разнообразные доказательства этого.

Надо сказать, впервые я его увидел двадцатидвухлетним: только что женившимся, ждущим первенца, несколько мудаковатым, но задорным, очень смазливый типом. А последний раз он мне встретился спустя лет пять, и это был гнусный боров с глазами, в каждом из которых хотелось немедленно и с шипом забычковать сигарету.

И никто не поколеблет моей уверенности, что моему знакомцу стоило за свою стремительную деградацию благодарить именно родного папу. «Папа, на тебе четвертной, иди купи себе цианистый калий, ублюдок».

Тысячу раз можно ловить самого себя на лжи, когда советуешь ребёнку не курить (не слушать, не смотреть, не нюхать, не пробовать, ни целовать) эту дрянь. Но во сто крат лучше и выше эта ложь, чем похабная родительская ухмылка и грязный родительский рот, из которого изливаются на ребёнка самые ничтожные речи.

«К чёрту эти книги – батя вырос и без этой х...ни». «Все учителя в твоей школе придурки, и у меня были такие же – а я ничего,

стал человеком». «Дочка, хорошего мужика хватай за хобот и тащи к себе, а то ухватят другие». «Своего Гайдна пусть они сами слушают, а ты мне поищи-ка, сынок, радио про шансон». «Плюй на людей сверху, они этого заслуживают!» «Пороюсь в твоём гардеробе, дочка, я тоже хочу задницей повертеть перед нормальными кобелями, а не перед этим чмо в лице твоего папы». «Не переключай эту программу, смотри, какие курицы пляшут». «Если плохо лежит – надо брать и перепрятывать». «В этой стране ты ничего никому не должен – появится возможность, немедленно вали».

Не переживайте, жизнь быстро предоставит ребёнку шансы стать такой же сволочью, как и вы.

Не торопите события.

У него будут все возможности научиться пахнуть тем же смрадом. Разводить тех же червей в ушах. Кормить свою душу из тех же помоек.

И не надо врать себе, что так ребёнок становится сильнее. Сами сидите сильные, как бесы, в своём аду, не тащите за собой потомство.

Если ребёнок ни в пятнадцать, ни в десять, ни даже в пять лет так и не узнает, что есть хоть какая-то светлая человеческая правда и хоть какой-то другой, пусть и ханжеский, но всё-таки возможный мир – ему будет некуда вернуться.

А он должен иметь хоть один шанс сбежать из нашей грязи и пожить человеком. Сквозь муть и мерзость нашей жизни надо прокричать ему, что если не для нас самих, то для него этот путь – есть.

Дочь, послушай, ты должна знать, что такое быть женщиной и что такое быть законченной тварью. И не смотри на меня, просто слушай.

Сын, послушай, я тебе расскажу, что такое быть подонком и что такое быть настоящим мужчиной. Лучше, если бы я тебе показал это, но я сегодня плохо выгляжу.

Это ничего, что со мной такие проблемы, дитя моё, это поправимо: поэтому слушай меня, любимое чадо, и поправляй на себе.

Чтоб ребёнок, когда ему станет совсем не по себе – знал, куда можно вернуться.

Олег РЯБОВ

ПОД «ОЗОНОВЫМ» СЛОЕМ

Обрадовался, услышав, что планируется вновь одеть ребяташек-школьников в форму. Форма, а ещё значок – это символ принадлежности к сообществу, гордость за это сообщество, ответственность, а ещё сознание, что рядом твой друг или собрат. Какая строгая и аристократическая форма у студентов Оксфордского университета, а как гордятся своими значками выпускники Гарварда или Принстона, и они узнают «своих» в любом уголке мира по этим значкам.

Иногда начинает посещать ощущение, что навстречу разрушительной волне реформ начала 90-х, как далекое эхо, отразившись от пустоты, возвращается легкая зыбь сознания, что что-то мы перестарались тогда, перелишили, уничтожая то, что создавалось усилиями наших отцов и дедов. Уничтожали лишь по одной причине: что у «них» там, на Западе, такого не было. А не было лишь по одной причине: не было у них таких ресурсов и государственной воли. И с недоумением (а не кажется ли мне?) наблюдаю, как не законодательным путём, а волевым решением пытается кто-то восстановить утраченное в 90-е. Но что-то уже не восстановишь при всём желании. Например: систему облкниготоргов и бибколлекторов.

Ах, как, с какой яростью и энтузиазмом, на первых аукционах по продаже госсобственности бросились чиновники от госимущества продавать книжные магазины. Так ведь была команда от ребят-советников, которые без права финансовой подписи, но с правами куда большими сидели в кабинетах за спинами губернаторов-реформаторов. Я помню тот первый аукцион в Нижнем Новгороде, этот город был назван «полигоном реформ». Радостные, аплодировали, видя взлёт цен, Гайдар и Чубайс, сидя в глубине зала и окруженные журналистами.

Худенькая, тоненькая, двадцатилетняя Машенька, директор книжного магазинчика площадью в 70 метров выиграла торги с

результатом 2 500 000 рублей, превысив стартовую цену в 25 раз. В то время как магазин «Электроника», площадью в 2000 метров и стоящий напротив фасада Главного ярмарочного дома, был тут же продан за 2 000 000! Конечно, ни у Машеньки, ни у коллектива магазина, состоящего из 4-х человек, таких денег не было. Было желание отстоять свой книжный магазин. Когда администрация аукциона заинтересовалась: когда и как будет оплачена покупка, Машенька очень спокойно и резонно ответила: «Вы бы ещё здесь Эйфелеву башню продали и деньги бы попытались за это получить! Это помещение вам никогда не принадлежало, и вы даже не потрудились зайти в районное БТИ, чтобы выяснить это. Это помещение принадлежит заводу "Орбита", и, когда они захотят его продавать, мы с заводом будем договариваться. А сейчас мы расскажем о ваших торгах журналистам. Они очень хотят взять у меня интервью. Вон видите: Нина Зверева берет интервью у Чубайса. Ему тоже будет любопытно узнать, как проводился первый аукцион по продаже недвижимости и что вы на нём продаёте».

Машеньке удалось отстоять свой магазин: он был отдан коллективу в собственность, и до сих пор в нём работают люди, когда-то работавшие в облкниготорге. Но книготорг развалился очень быстро. Уже через год на его складах вместо книг размещались товары из зарубежных секонд-хендов, китайские детские игрушки и тысячи коробок пепси-колы. Система обмена знаниями между интеллектуальными центрами страны была потеряна.

Ведь мы все помним, как книги, выходявшие в Минске или Новосибирске, продавались в Горьком или Киеве. Писателям и учёным из провинции не надо было толкаться в столичных издательствах, чтобы поделиться со всей страной своими творческими удачами и открытиями. И, заходя в книжные магазины по всей стране, можно было увидеть, что в Риге живёт и работает поэт Борис Куняев, а в Ленинграде активно печатается Виктор Соснора.

Мне могут возразить, что сейчас в коммерческом плане нерентабельно печатать таких авторов и они не будут востребованы современным читателем и покупателем. Но я не об этом. Я о том, что если есть идея создания новой государственной идеологии, то она создается народом, а народ живёт на всём пространстве нашей страны.

В столице, которая фактически монополизировала книготорговое пространство страны, живет 10 процентов населения, и допускаю, что 20 процентов интеллектуальной элиты. Это не только

писатели и учёные, но и артисты, министры, менеджеры высшего звена, которые пишут и делятся своими соображениями с остальными жителями. Но ведь остальные 80 процентов живут в условиях, которые не позволяют им это сделать. И не потому, что им негде напечататься – в каждом крупном областном городе существуют, и неплохо по несколько коммерчески успешных издательств, которые издают в основном краеведческую, местно значимую литературу. Но об этих книгах остальная страна только слышит. Даже в «Озоне» она появляется очень редко, не говоря о том, чтобы её полистать.

А теперь самое противное. Мне известно одно провинциальное издательство с прекрасными редакторами, художниками, корректорами, верстальщиками (и таких издательств, по стране, я думаю, десятки), которое делает макеты книг и продает их крупным московским издательствам, имеющим свою книготорговую сеть. Там внаглую меняют фамилии авторов, составителей, редакторов, переводчиков, ставят своих, печатают и отправляют на полки магазинов. Такой макет вместе с обложкой стоит до 50 тысяч рублей.

Мой хороший друг и известный писатель некоторое время писал под псевдонимом романы на заданную тему для известного центрального издательства. Но когда он понял, что положенные «роялти» ему не платят, он разорвал договор. Эти «роялти» вычислить невозможно: на складе издательства автору всегда покажут стеллаж с его книгами и скажут: «продажи идут очень плохо». Каково было моё удивление после прочтения этого договора: издательство оставляло за собой псевдоним, и теперь, возможно, им подписывается другой автор.

Тысячи прекрасных и серьёзных рукописей и исследований лежат по всей стране невостребованными, ненапечатанными, не дошедшими до читателя. Главный редактор одного из провинциальных издательств показывал мне список из двух десятков наименований таких не вышедших книг. Я запомнил монографию одного исследователя «История детской игрушки всех времён и народов» на 40 печатных листов (600 страниц) с 700 иллюстрациями, справочным аппаратом и библиографией на 12 языках. Автор-энтузиаст работал над этой книгой пятнадцать лет. Или собрание надгробных эпитафий, их было в рукописи книги собрано более 2,5 тысячи. Это огромный подвижнический труд, который нелегко повторить.

Печатать такие книги в Нижнем Новгороде или в Иркутске – их там купят от силы 100 штук, а выйти на всероссийский рынок эти

издательства не смогут. Можно получить грант от Роскомпечати, но и это не поможет: книга окажется в библиотеках в лучшем случае, и читатель всё равно её не сможет купить в магазине. Сети книжных магазинов принадлежат столичным книгоиздательским монстрам. Да, есть интернет-магазины, которые набирают силу. Но и в «Озон» не каждое провинциальное издательство может пробиться, да и читатель часто хочет поддержать книгу в руках, прежде чем её купить.

Ежедневно у нас в стране выпускается почти 1000 новых книг, и никакое «Книжное обозрение» не в состоянии отследить их все. И на книжные ярмарки большинство провинциальных издательств не ездят! А зачем? Никто с ними заключать договора там не будет. Но если бы какое-то государственное подразделение, ответственное за книгоиздательскую деятельность, задумалось: а что вы там делаете, провинциальные издатели, в наших замечательных русских провинциях?

Может, задумается?

ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К ХАКЕНКРОЙЦУ

Долго не мог понять: что такое постмодернизм? То есть ощущать-то я его ощущал, но не понимал, почему он так расцветает в странах, имеющих хорошие, плотные культурные традиции, преемственность, нравственность, школу. И вот: увидел чью-то старую школьную тетрадку, на обложке которой Ленину были пририсованы очки, и всё у меня в голове выстроилось и выкристаллизовалось.

Когда почти сто лет назад Дюшан, украсив Мону Лизу усами, выставил своё произведение на всеобщее обозрение, он ещё не знал, что даёт толчок развитию нового направления в искусстве. Он стал отцом паразитического искусства, основанного на разрушении сакральных ценностей, на опошлении самого святого и дорогого, что есть у человечества.

Можно говорить о раскрашенных унитазах или о том, что Дюшан не был первым. Это не имеет отношения к существу вопроса. Стало понятно, что чем выше табуированность или духовное значение предмета, теории, личности, взятого за основу, тем заметнее результат сотворённой акции. Понятно, что десятки дрянных и скабрёзных стишков, приписываемых Пушкину, слушаются в определённых компаниях лишь потому, что это замечательное авторство было придумано. Если бы их истинный автор (Бубликов или Шапиро) оставил их за собой, они бы никого не заинтересовали. На это классическое направление развития постмодернизма указал уже Даниил Хармс, записав несколько довольно сомнительных анекдотов о Пушкине.

У постмодернизма было много теоретиков, и в своём начале это течение брало за основу комическое и юмористическое отношение к великим и классическим произведениям искусства. Но уже после войны Сэмюэль Беккет, желая оттолкнуться от своего учителя Джеймса Джойса, провозгласил основой литературного мастерства не богатство языка, которое превозносил Джойс, а его бедность. На этом заканчивался и век гуманизма, по мнению Беккета: отныне человек – не вершина творения природы, а недоразумение. Наступал век разрушения: но не уничтожения, а паразитизма.

И чем крупнее и значительнее объект, тем больше паразитов могут кормиться от него и дольше. И это не геростратизм, когда уничтожение гениального и великого произведения не уменьшает его значения, а лишь заставляет сожалеть об его утрате. Паразит медленно убивает изнутри, постепенно превращая величественную красоту во что-то болезненное и жалкое. И это страшно.

Так модифицируются в нечто пошленькое классические музыкальные произведения и величественные народные песни, приспособляемые к употреблению на корпоративках. Так для «современного прочтения» опошляются театральные постановки, и «Три сестры» – это уже три проститутки. Зачем? Все эти сожжения Корана и Библии, сомнительные фильмы о жизни Спасителя и Мохаммеда. Зачем?

И конечно, перфомансы и хеппенинги, расцветшие махрово в современной молодёжной субкультуре. Все эти флешмобы, пикеты в защиту чего-либо или против: молодёжь ищет новые формы самовыражения. Но я думаю, что режиссёры и модераторы акции, проведённой в храме Христа Спасителя, даже не ожидали, что им удастся вовлечь в свою игру и сделать её участниками первых лиц государства (Путина и Патриарха Кирилла) и мировых звёзд (Мадонну и сэра Пола Маккартни). Тут результат превзошёл все ожидания.

Вначале всё это напомнило мне детскую игру, когда пятилетний мальчик при папе тихонько-тихонько произносит: «Мама – дура!» Потом громче. И это продолжается, пока папа не замечает ему, что так говорить нельзя! Или так же пятнадцатилетний юноша дотрагивается до коленки интересной ему девушки и продвигается по ней вверх, пока не получит затрещину. И тот и другой как бы проверяют: а до каких пор можно?

Так вот, организаторы поняли, что где-то существует «нельзя»! И сейчас оправдания, что это не то, о чём вы подумали, мы хотели совсем другое, уже не принимаются. Курочка назад не скачет.

Конечно, есть одно любопытное замечание, сделанное моим другом, профессором, искусствоведом и человеком, хотя и русским, но очень далёким от православия. Точнее – голимым атеистом. Он заметил, что здание храма Христа Спасителя – «новодел» и поэтому не является произведением искусства, но вот если бы эти «девки» станцевали в храме Покрова на Нерли, то он тоже бы выступил за то, чтобы их наказать. Он даже не заметил, что оскорблены чувства верующих. Он как бы признаёт право за постмодер-

низмом что-то творить, но только то, что не оскорбляет его духовных ценностей и тех шедевров, которые для него святы.

Вспомнился рассказ одного моего приятеля, который, приехав в незнакомую деревню в конце зимы, сбил из озорства сосульки с карниза избы, в которой остановился. Хозяйева очень расстроились и долго-долго причитали, но объяснить, почему это делать нельзя, не могли. Мой друг был дотошным человеком и в конце концов выяснил у стариков, живших в деревне, что когда-то давным-давно по длине сосулек, выросших с северной и южной стороны, наши предки определяли, когда надо сеять хлеб, чтобы был урожай. Поэтому сбивать их нельзя, иначе – всё перепутается. Давно уже в деревне никто не сеет хлеб, а традиция жива, и никто её не нарушает, кроме приезжих несмышлёнышей.

Я замечал, и не раз, как пожилые люди делали внушение молодым, слыша от них анекдоты про первых лиц государства. Нет, они не боялись, что, как при Сталине, тех посадят. Они просто знают, что про первых лиц государства, как и про Родину – нельзя! Я тоже иногда не знаю, почему что-то нельзя. Но культура – это привычка! Поэтому про Родину и маму, Пушкина и храм Христа Спасителя – нельзя! А если можно, то только с благоговением, которое уже начинает пропадать на глазах у всех.

Культурный путник, пришелец на незнакомую новую землю, если он не хочет войны, в первую очередь выясняет, какие символы, предметы или животные являются тотемными для этой страны и подлежат негласному и обязательному замалчиванию, какие идеи табуированы и не подлежат обсуждению. Но если человек с чуждой нам культурой позволяет себе шутить и издеваться над тем, что нам свято, то это – Враг! Он пришёл с войной. И с ним надо поступать как с врагом.

А нашему доморощенному лидеру постмодернизма Марату Гельману и тем, кто за ним в фарватере, хочется намекнуть, что фашистские свастики, которые время от времени появляются на еврейских надгробьях (а это – фашистские, а не древний славянский символ солнцеворота), – дело рук не антисемитов, а очень опосредованно, очень глубоко опосредованно, дело рук носителей этого «нового вида искусства». Это – постмодернизм!

Юрий УВАРОВ, *Москва*

ЗЕРКАЛО

Если мир твой вагон да вокзал,
то пора автостопом
Из Москвы к Петербургу,
к чухонско-карельским Европам.
Где, как штык винтаря,
гранный шпиль Петропавловский стынет,
По болотным краям к соловецким камням и святыням.
Где расстрельную справу так часто вершили в овраги,
Что полями к полям приростали в границах Гулаги.
Насыпные поля от Москвы и до самых окраин,
С южных гор и до северных зыбей,
а пелось – морей,
Чтобы знал гражданин, кто страны этой ровной хозяин...
Насыпные поля, полигоны, полынь да пырей.
Родина зарастает.
И уже на просторах чудесной
Скоро некому будет ни в битвах, ни в мирном труде
Закаляться и петь под ударно-дебильные песни,
Но в объятьях у власти или на короткой узде.
Из Москвы к Петербургу...
За МКАДом темно и тревожно...
Тормози на удачу КамАЗ – цеппелин бездорожья
И, как в омут, – в безвременье,
в мир обескровленных россов,
Под ревшую прыть табуна на метровых колесах.
Эй! Провинция!
Фря плечевая,
сестренка,
путана!

Никнет с севера к югу.
 И как ты ее ни читай,
 По валдайским ли весям,
 поселкам или городищам,
 Также чудище обло,
 озорно, огромно, стозёво
 и, также лаяй.
 За века – суть по-прежнему всё, мой печальный Радищев.
 Никаких перемен.
 Будь то из Петербурга в Москву.
 Иль, как я, из Москвы
 к потерявшему власть Петербургу.
 Прикажи – пусть отмерят овса и сенца твоему скакуну.
 Подожду – пусть по горло заправят все баки железному другу.
 Посидим, помолчим.
 Ты давно уже все описал.
 Я ещё, может быть, напишу.
 Да что толку стучаться
 В стену мира глухого и тщетно срывать голоса:
 «Не бывает чудес» – утверждали Фома и Горацио.
 Сколько войн пережили.
 Немерено – смутных времен.
 Но сегодня заехали в мутное время, похоже.
 Смена власти,
 тасовка законов,
 тусовка знамен...
 Вроде ветер свободы,
 но запах у ветра острожный –
 Веет, воеет, гудит и хрипит в столбовых проводах.
 Верстовые столбы ослепляя
 то пылью,
 то грязью,
 то снегом.
 Зги не видно.
 Но дней часовых, мутных дней череда
 Все еще называется жизнью и времени бегом.
 В насекомом ночлеге рожденный,
 несправедный век
 Только встал с четверенек,
 но взгляд уже целит и рыщет.

И нетрудно пропасть –
от рождения слаб человек.
Слаб и страшен,
к несчастью,
мой грустный сиделец Радишев.
Колёй параллельного мира
ехай милай,
следи
Шубной моли вертлявые лёты,
покусывай кончик косицы.
Петербург обогнули в тумане.
Соловки всё ещё впереди.
Ничего не меняется,
как ни меняйте столицы.
Только дизеля рёв.
Только крупная дрожь рычагов.
Сон блудницы заплечной.
Запах топлива и перегара.
Дым от саун...
И к новому списку народных врагов
Надзирающей дланью заносится – Ю.В. Уваров.

Нижегородский почерк

Анна АНДРОНОВА

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Терапевт первой категории Соня Груздева полгода назад развелась с мужем по причине обнаружения у него полноценной второй семьи и с тех пор пребывала в некоторой прострации. При разделе имущества бывшему досталась новая машина «Жигули», а Соне – сыновья-погодки и двухкомнатная хрущёвка в центре. Такой великодушный со стороны Игоря раздел, как подозревала Сониная мама, был далеко не окончательным. Во второй семье назревало пополнение.

Прошла зима, посвящённая слезам и разговорам. Пролетела весна, не замеченная за делёжкой вещей. Все веточки, пёрышки и былинки, кропотливо вплетённые в стенки гнезда, были выдраны с корнем. На книжной полке сбоку темнела прореха от изъятых Стругацких. Линолеум на полу у батареи хранил вмятины четырёх ножек убывшего кресла, стена за его воображаемой спинкой была гола до неприличия. В платяном шкафу освободилась значительное пространство. Раньше Соню страшно раздражал этот старый шкаф-гардероб. Вечно в нем не хватало места и всё из него лезло. Кофточки и свитера. Простыни и колготки. Детское и взрослое. Теперь обе полки Игоря оставались пустыми. Десять лет жизни крутились в Сониной голове, что бы она ни делала. Утро начиналось с созерцания мыльного кружочка на полочке в ванной, оставшегося от Его электробритвы. Вешалка в коридоре имела нежилой вид – не хватало Его куртки и пиджака. В стойке для обуви числились только гостевые тапки и Сонины «дачные» кеды. Как будто не один, а все обитатели покинули дом. В спальню Соня не ходила. Затянутая гладким покрывалом семейная кровать напоминала могильную плиту. Над пустым компьютерным столиком зияли неприкрытые розетки. Даже игрушечные звери на полке в детской сидели ссу-

тулившись и отворачивали унылые морды. Холодильник был пуст, плита вычищена, шторы опущены. Форточки никто не закрывал, капающий кран на кухне никто не закручивал. Телевизор виновато молчал. В квартире было пусто, гулко и ветрено, из прорех и пустот задувало сквозняком.

Мальчики кое-как окончили свои первый и третий класс. Свекровь, баба Валя, забрала их на дачу. Сыграла моноспектакль в двух действиях. Часть первая – я им всё-таки бабушка. Часть вторая, заключительная – нечего им в городе делать в жаре и пыли. Так Соня с удивлением обнаружила, что уже прошёл июнь. То есть уже лето. Родители собрались и отчалили в давно запланированный дом отдыха. Соня приходила с работы и в тоске слонялась по комнатам, не в силах занять себя чем-либо, хотя давно надо было всё переложить и переставить по-новому. Руки не желали ни к чему прикладываться, а хаос в голове как-то автоматически приводил дом в состояние кавардака. Если и удавалось заставить себя что-нибудь мыть или раскладывать, незанятый мозг тут же начинал перекачивать неправильные мысли, как шарики в ладони. После кратковременной борьбы с собой Соня всё бросала и садилась к телевизору, бесцельно переключая каналы, которых было не перечить. Как раз за неделю до основного скандала Игорь подключил-таки сложную антенну. Сиди, Соня, смотри. Утром не было сил вставать, а вечером ложиться. Хотелось, чтобы за окном всё время шел дождь, а там вот уже месяц полыхало солнце, кажется, и ночью не снижая накала. Соня часами лежала без сна на диване в большой комнате, иногда не раздеваясь, и с нарастающим раздражением наблюдала, как на горизонте чуть поднимается неплотное летнее покрывало мрака и из этой щелки выливается первая лужица раскалённого блеска. Как раз к этому рассветному времени Соня обычно была готова чуть-чуть вздремнуть, и так необходим был ещё хотя бы час темноты или пасмурных сумерек. Однако лето абсолютно не хотело входить в Сонино положение и отработывало по полной программе. Это, наверное, и называлось: белый свет не мил.

Боевые подружки Маша и Вика разлетелись по югам, а Соню в этом году не позвали. Всё разрушилось, даже их традиционный «дикий» отпуск в Крыму. Соня сначала обиделась, а потом расстроилась, потому что поняла, как они от неё устали, бедные. От бесконечных вопросов «почему он...» и «как же теперь я...». А о чём ещё ей было говорить? Хорошо получались саркастические замечания

и злые шутки. Отлично выходило – просто молча плакать. С такой собеседницей далеко не уедешь. Пусть уж одни отдыхают.

На работе в ординаторской тоже была обычная летняя скукота. Остались одни пенсионеры. «Баушки» Вера Сергеевна и Тамара Тимофеевна в короткие перерывы между обходами обсуждали огород. Клубника «отошла», вишня старая, мелкая. Лук посох. Свеклу пожрал карбыш. Малина выродилась. Тоска и депрессия. Муж «баушки» Веры всё кашляет, у внука «баушки» Тамары – «наказанья божьего», пересдача на осень. И главный пенсионер – заведующий отделением Андрей Всеволодович, получивший когда-то от одного из пациентов меткое прозвище Велосипедыч, тоже на работу приходит бояться и тосковать. С самого утра он устраивается за угловым столом в ординаторской, обложенный различными журналами и циркулярами, поминутно охая, ужасаясь и качая головой. Особую его печаль и опасения внушали мифические эпидемии кишечных инфекций и желтухи, нераспознанные больные туберкулёзом и малярией. Возможно, даже холерой, и как знать, бубонной чумой. Непосредственно терапия касалась его очень мало. Баушки сразу после утреннего чая бросались утешать в два голоса. А Соня злилась, больных у неё было больше всех.

Рабочие собеседницы и соратницы, две Наташи, тоже отдыхали. Первая – с семьёй в Турции, а вторая – с детьми в деревне. Перед отъездом взяли с Сони обещание «держаться». Да за кого? Хотя ухватиться за что-то очень хотелось, может быть, даже встать на костыли. С зимы Соню не покидало ощущение выдранного позвоночника, какого-то чувства хронической усталости спины. Всё время хотелось лечь, или хотя бы сесть в мягкое кресло, чтобы не держаться вертикально. Только у больных в палатах она как-то собиралась, концентрировалась. Всё-таки тут они болеют, а не врач. Хуже всего было вечером, Соня дожидаться не могла, когда мальчишки лягут. А они медлили, ковырялись, никак не шли в ванную, канючили, что хотят ещё телик посмотреть, каникулы же. Единственный способ их утихомирить – «мам, почитай». Раньше она с книгой устраивалась у письменного стола под ночником, теперь же в связи с утратой стержня – просто ложилась на пол. Настольная лампа тоже переселилась под стол – сумасшедший дом! А Ванюшке и Кольке – смешно, мама на полу, как маленькая! Уже засыпая, Ванюшка на всякий случай переспрашивал, не придёт ли папа просто пожелать спокойной ночи? Каждый день. Такое облегчение, что дети уехали! Наташа Вторая после отпуска обещала

отвести Сою на йогу. Это должно было помочь, с её точки зрения. Наташа Первая строго вопрошала из Турции: «Ты как»? «Я похожа на кальмара», – отчиталась смской Соня. Лишённый своих прозрачных, почти невидимых, пластинок, морепродукт становился ни на что не годен, кроме кипятка и последующего салата.

Остальных участников лечебного процесса Сонины разводы и раздраи не касались. Велосипедыч, конечно, знал её ситуацию, но ничего не говорил. Боялся, наверное. Когда она от отпуска отказалась сначала в июне, а потом и в июле, только порадовался. Конечно-конечно, Сонечка, работайте. Мы график согласуем. Дел на работе полно, к вечеру Соня, как загнанная лошадь, но дома от этого не легче. Летняя одинокая жизнь оказалась совершенно невыносимой, и Соня уступила уговорам баушки Веры – забрала у неё полставки консультантских в хирургии. Да ещё несколько дополнительных дежурств. Как говорит медбрат Гена – чтоб не скучно было. «Ты зачем, Гена, через день дежуришь? Так и околеть не долго». – «А чтоб не затосковать от безделья, Софь Михална».

Дежурить Соня любила. Несмотря на брошенный дом, особенно по выходным. С удовольствием ехала ранним воскресным утром по пустынному городу. Это было только её личное время – на мысли, на чувства, на разговоры с самой собой. На работе всегда, кроме собственно «дежурных» больных и текущей писанины, было полно мелких, но нужных дел. То разобрать в столе, то разморозить холодильник в ординаторской, то цветок пересадить. Если дежурство оказывалось спокойным, можно было и подругам позвонить-поболтать, и книжку почитать, дома-то не присядешь! Но всё равно каждую минуту Соня на этот дом, с некоторым облегчением временно оставленный, оглядывалась и про себя улыбалась. Сейчас ещё спят. Вот Ванька, младший, встал. Вот уже все, наверное, переползли из кроватей к телевизору. Заранее приготовленную овсянку, как пить дать, не стали. Игорь пожарил яичницу. Теперь гулять, теперь мультики. Уроки со старшим, Колькой. Неторопливый «мужской» день. Без маминых увещаний, разных там: «геркулес полезен» или «убери носки из батареи». И вот – там теперь никого... Игорь тоже дежурил. Часто. Если они совпадали, детей оставляли с бабушками, но всегда много раз созванивались: «а у тебя, а у тебя». Смски, смайлики. А ты детям звонил? А ты? Получается, что как раз в это время у него появилась эта девушка Лена. Конечно, последнее время он «дежурил» каждую неделю и не по одному разу. И так же звонил, беспокоился, перезванивал.

Ни разу Соня ничего не заподозрила, и ни разу не пришло в голову набрать его рабочий номер – всегда сотовый. Что толку, если человек вечно в бегах? То в отделении, то в приёмном, то вообще в операционной. Трубку он брал. Странно было думать, что он мог так запросто разговаривать с ней и выдумывать несуществующую работу – операции, ситуации и травмы, находясь в квартире Лены.

Вообще, Соня и с самого начала не думала ревновать. Познакомились они в приёмном покое городской «травмы». Игорь там работал, а Соня там сидела в очереди со сломанной рукой. Студенческий случай. Бывает. Лучевая кость, девушка, в типичном месте, это типично. Аккуратнее надо ходить. Сам отвел её на рентген. Ах, вы тоже доктор? А какой специальности? Сам наложил гипс. Спросил телефон и адрес, чтобы в карту занести, но демонстративно записал себе в сотовый. Изображал клоуна и мачо в одном лице, распустил павлиний хвост. Смотрел прямо в глаза, вообще рассматривал не стесняясь, засыпал комплиментами. «Всё у вас, кроме левой руки, оч-чень хорошо выглядит». Непрерывно шутил. Дежурная медсестра почему-то на эти упражнения в остроумии обиделась. Это было заметно. Может, это и была та самая? Вряд ли. Больше десяти лет прошло. Соне было смешно от такой нарочитости, все эти уловки она успела изучить, и распушенный для неё «хвост» явно видела. Но было приятно, конечно. Она не рассчитывала вовсе, что он позвонит. Так, эпизод, не более. Он в очередной раз потренировался – она пококетничала. Один-один. Этот мужской тип ей был хорошо и печально известен. «Делать стойку» на каждую девушку в радиусе километра. Ха! Плавали, знаем. К тому же Игорь был красавчик. Ну не был, конечно, он и сейчас ничуть не хуже. Ресницы, плечи, глаза зелёные.. Ванечка с Колькой – вылитый папа. Будущая девичья погибель.

А Игорь позвонил и стал ухаживать, как положено. С цветами, конфетами и даже билетами в театр, чем наповал сразил Сонину маму. Он такой. Они ездили на пароходике по Волге, ходили в кино на ночной сеанс, а потом возвращались пешком до Сониного дома. Вообще много гуляли. Он не торопился оставить её ночевать. Или остаться у неё. Так медлил, что Соня стала беспокоиться. Это такой хитрый ход? Он не хочет? Не может? «Я боялся всё испортить», – это была его честная версия, когда Первый Раз наконец состоялся. Наверное, всё-таки это был хитрый ход, на который Соня попала как следует. Кальмар клюнул, затрепыхался и глубоко заглотал наживку. Она обнаружила, что всё время о нём думает. И на работе, и

дома, и в автобусе, и в ванной, и в палате у больных. Раньше с ней не было такого. И так, чтобы всё в человеке нравилось – тоже случилось в первый раз. Нет, конечно, у Сони были, скажем, романы. Или не романы – отношения. Одна несчастная любовь на первом курсе. Но никто не заполнял её всю целиком – и мысли, и чувства. Сердце и голову. Хотелось всё время быть рядом. Слышать, видеть, держать за руку. Они так и гуляли, взявшись за руки, как школьники. А Соне, между прочим, было уже тридцать, и Игорь на два года старше. Удивительно, что он не был до этого женат. «Что же это ты?» – кокетливо упрекнула Соня, ожидая, однако, какое-нибудь романтическое объяснение в свою пользу. Вроде: тебя ждал или – никогда не встречал женщины лучше тебя. «Я гулял», – честно признался Игорь. «А теперь что же?» – растерялась она. «А теперь нагулялся».

Тогда Соня тоже была уверена, что ждала «своего» мужчину. Поэтому так долго выбирала и не могла ни на ком остановиться. Не задумываясь, сказала маме – я его люблю. Что тут объяснять? В загсе, чуть помедлив, чтобы продлить удовольствие, ответила – согласна. Она, как собака, чувствовала, когда он подходит к двери. За секунду до звонка знала – он здесь. Брала в руки телефон, пока он на том конце ещё набирал номер. Угадывала, что он скажет. Вот сейчас возьмет чашку и отхлебнёт, теперь посмотрит в окно, повернётся к ней. Сначала Соня с удивлением обнаружила у себя способность к подобной телепатии, но потом успокоилась – это любовь. А что иначе? Первый год их совместной жизни Соня провела с блаженной улыбкой на лице. Всё радовало. Черда счастливых случайностей в предсвадебных хлопотах – последнее платье её размера, удобное время регистрации, шикарные кольца со скидкой. Всё одно к одному. Размен бабушкиной квартиры и организация распотрошенного теперь гнезда. Соня помнила, как стояла в очередном строительном супермаркете перед ворохом обоевых рулонов и мечтательно улыбалась, представляя, как в этот же момент Игорь выбирает плитку. Подруги были слегка заброшены и обижены Сониным невниманием. «Ну, первый год будете притираться», – по-старушечьи ворчала Вика. А они оказались будто уже «притёртыми» заранее. Соне всё нравилось, Игоря всё устраивало. Потом появился Колька и сразу Ваня. Такие красивые дети (тьфу-тьфу!) могли быть только от любви. «Наш самый симпатичный», – шептал Игорь в очереди в поликлинике. «А наш уже ходит», – гордилась Соня в песочнице. И потом, если не любовь, то

почему сейчас так плохо, когда всё закончилось? А у него тогда что? Может быть, он искренне заблуждался, обещая и в горе, и в радости? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Оказалось, что не нагулялся. Ошибся? От этого не легче.

Десять лет не давал повода. Хотя получается, что четыре последних года повод уже был. А Соня из этих десяти почти пять просидела в декретах. Ходила нечесаная, расхристанная, в халате, молоко текло по животу. В раковине лежала немытая посуда, в холодильнике – пельмени. Оба раза после родов Соня поправлялась на двадцать килограмм. И всё равно он каждый день приходил к ней, несмотря ни на что. Мыл посуду, укачивал мальчишек. Она не знала, как может быть иначе. Теперь узнала. Такое странное благородство. Мог сто раз загулять, пока она сидела дома толстая и лохматая, погружённая в пеленки, бутылочки и подгузники. Тогда он был с ней. А теперь, когда она уже вновь похудела, причесалась и нарядилась – почему-то ушёл. Хотя нет, не он, это Соня сама ему сказала – катись. А перед этим сто раз спросила, где он хочет? И он сто раз поспешил униженно ответить, не давая себе времени подумать, – здесь, здесь, с вами. Может быть, ей хотелось услышать другое – только ты. Только с тобой... Соня была готова к кратковременным походам налево, кто ж не ходит, правда? Тем более хирург – им положено по специальности. Но к тому, что у него будет семья параллельно, – нет, не готова.

Кроме сослуживцев Игоря, бывавших у них дома, Соня в «травме» ни с кем знакома не была. Считала, что это и хорошо. Если он с кем-то там на дежурстве... ну, вдруг? Никто не сообщит подружески. А не знает – как будто ничего и не было. Это она так готовилась на всякий случай. Но появились знакомые. Позвонила старшая медсестра отделения, где Игорь к тому времени дослужился до заведующего, прямо на домашний телефон: «Что вы там себе думаете, разве это семья? А девочка только вышла из декрета и опять беременная». От Игоря, получается. А старшей дочери сколько – три года. «Так вы не в курсе?» И трубку бросила. Добрая женщина.

Четверг – спокойный день. Обычный. Дежурство прошло как по маслу. Пару раз всего вызвали по больнице, а в отделении – тишина и покой. Ночь Соня проспала как младенец, чего давненько с ней не случалось. Невроз, понятное дело. А тут невроз куда-то делся, и Соня вскочила почти в восемь с бешено колотящимся сер-

дцем – проспала, пропустила, звонка не слышала! Уже за стеной в процедурном кабинете сестры грохали биксами, брали утренние анализы, Велосипедыч нервно ковырялся ключом в соседней двери своего кабинета. Обошлось. Всё как-то сегодня складывалось хорошо. Дали горячую воду, и Соня с удовольствием сходила в душ. После конференции купила в буфете круассан и маленький пакетик сливок к кофе. Французский завтрак. На вечер намечилось мероприятие – сто лет хирургической кафедре. Банкет в ресторане. Их отделение приглашено в полном составе. И правильно, где ещё бессменные консультанты-терапевты? Хотя сейчас как раз и нет никого – баушки не пойдут. Остается Велосипедыч – он слинять не посмеет, испугается, и Соня. Она как раз вчера перед уходом на работу случайно надела белую кофточку с вышивкой. Сойдёт для сельской местности. Можно домой не заезжать. Хоть и вообще туда не ходить...

Пятница – хирургический день. С утра стали дёргать, как «скорая» повезла, а надо было и в своих палатах глянуть, хоть одним глазком. Кузнецов В.В. и Кузнецов В.С. – просто, как близнецы. И диагноз один на двоих – гипертонический криз. Пыхтят вместе в туалет, в столовую, к телевизору. Один кашляет по Сониной команде, пока она выслушивает трубкой, а другой переживает. В.С. встречается с дурацкими вопросами. Перебивает. В.В. волнуется, как обычно, что она ему недосказывает. Рентген грудной клетки нужен. Зачем? Вы что, у меня подозреваете?.. Один испугался, другой. Говорят хором. Анализы в историях все перепутаны. Медсестрам что в лоб, что по лбу. Не объяснить, что инициалы надо писать на бланках! Хорошее (относительно) настроение кончилось. Всё уже раздражает. Следующий больной просто бесит, особенно жена его. Явилась с раннего утра, улыбается. Грибков этот к ним в город приехал в командировку, аж из Новосибирска. Крутой какой-то инженер по газу или нефти. И тут инфаркт ему прямо в гостинице, как гром среди ясного неба. Сорок восемь лет. Такой же красавчик-ходок с виду, как Игорь. Пижонская прическа на прямой пробор, на мизинце перстень с синим камнем, гляцевый заграничный загар. Он хорохорился сначала, мол, ерунда. Кроме насморка и аппендицита тридцать лет ничем не болел. Ходил везде, на лифте катался в «Союзпечать», постельный режим не соблюдал. Соня его ругала, но, видимо, слишком мягко, очень уж он шутил смешно. Заигрывал. Compliments отпуская. Соня на себя сердилась (на те же грабли!), но в палату ходила с удовольствием. Дня

через три он упал в туалете и практически умер. Откачали. Там не развернуться было, узко, Соня до крови разбила коленку об косяк, до сих пор болит. Реаниматолог Денис Воронов сломал больному два ребра. Пять дней в реанимации – и весь лоск с Грибкова смыло. В одночасье из крутого плейбоя он превратился в пожилого инвалида. Жenu вызвал, которая тотчас прилетела из Новосибирска. На крыльях любви. Раньше Соня ехидничала, что он один лежит, без родственников, теперь же жена эта утомляла своим кудахтаньем.

В первый же день принесла цветы, дорогую колбасу, кофе. Конверт ещё сунула. Доктор, мол, помогите. Что ж вы раньше-то не следили? Как помирать стал, так и примчались? Соня воспитывала, себя ненавидя, ожидала сопротивления, качания прав и растопыривания пальцев. Жалоб во все инстанции. Но ошиблась. Жена, сразу согласившись со всеми обвинениями, расплакалась. Тут бы и пожалеть её снисходительно, больной же тяжёлый, контакт с родственниками обязателен, как анализ крови. Но, как говорит Маша, доброта – это у нас не профессиональное. Это личное. Личное у Сони закончилось с уходом мужа. Грибкова приходила каждый день и до вечера сидела. Ухоженная, даже слишком. Маникюр, загар, укладка, интеллигентное умеренное золото в ушах и на пальцах. Хотелось почему-то вместо «контакта» пнуть её побольнее, обругать, унижить. Соня еле сдерживалась, особенно когда Грибкова принималась плакать, не жалея макияжа. «Мы ведь, Софья Михайловна, ровесники с ним, однокурсники. Всегда вместе... Одни друг у друга. Родители умерли, детей не завели. Как-то не сложилось, оба делали карьеру, диссертации защищали. Потом диссертации эти никому стали не нужны, надо было деньги зарабатывать, не на рынке же торговать. Вот и остались вдвоём теперь... Если с ним что-то...» А с ним вполне могло. Он теперь ждал операцию, слушался, с койки не слезал, так испугался. Без операции – не жилец. Жалко, что нет детей. Останется эта пожилая кукла, как перст. А может, подберёт какой-нибудь мужичок, без детей это проще.

А у Сони двое, с таким «паровозом» вряд ли понадобится кому-нибудь. Сколько их ещё растить одной! И как вырастить, чтобы не упустить? Вот старик Ермолаев – последний в мужской палате, у самой двери. В истории болезни при оформлении всех положенных бланков велел написать, что сведения о его заболевании можно сообщать только внуку. Ждали внука навещать, а пришла жена – бабушка Ермолаева. Что вы, говорит, какой внук! Он к нам

годами носа не жает. Ждет только, когда околеет, на него квартира записана. Вы уж будьте добры, мне сведения сообщите. Вот так. Как сделать, чтобы дети не ждали, когда помрешь, а навешали? Весь этот год несчастный они заброшены. Мама плачет или на работе, детей утешают лучшие друзья – телевизор и компьютер. В крайнем случае – бабушки с дедушками. Мальчики сами делают уроки, ели-пили. Колька научился пельмени варить. Посадит Ваню на высокую табуретку – следить, чтоб не выкипели, а сам за стрелялку. «Папа ушёл, будет жить отдельно». Как объяснить, почему? Что врать, если они сами слышали её «катись» и «убирайся»? Получается, что перед ними виновата. «Лишила мальчиков отца», – это свекровь. Ага, такого замечательного! А Ванюшка всё спрашивал, когда папа придёт да когда папа вернётся? А Соня объясняла, что сейчас они поживут отдельно, так у взрослых бывает, а папа в воскресенье заберёт к бабушке и в кино. А сквозь простые слова сочилась болезненная обида, почти ненависть. Так хотелось крикнуть, что еле сдерживалась: он нас предал! Наплевал на нас! На вас! У него новый ребёнок теперь, лучше! Соня даже не знала, как зовут ту девочку. Маленькая совсем, в садик ходит. Утром Лена собирает её, завязывает хвостики, запасные колготки кладёт в розовый рюкзачок с нарисованной на клапане лошадкой. И это тоже представлять было больно и жалко, но Соня специально себя растревляла, изгоняя жалость, а злость на её место пускала с удовольствием. «Сволочь, бросил, предал...»

Неизвестно ещё, что он им выдаёт. От этого зависит, наверное, кого они будут ненавидеть в будущем. Кого винить. «А нельзя как-то без ненависти, цивилизованным путём? Сказать, что не сошлись характерами? Вырастут – поймут», – уговаривала Маша. Конечно, у неё сыну почти двадцать лет, у Леры дочь оканчивает школу на следующий год. Что угодно можно объяснить, взрослые люди. И можно уже пожить в своё удовольствие. Хоть в Крым, хоть в Рим. Хочешь – ходи на танцы, хочешь – гуляй, с кем нравится. А Соне ещё лет десять не отлучиться никуда. Вторник, четверг – английский, понедельник и среда – бассейн. Пятница – поза трупа. В субботу стирка, готовка, уборка. В воскресенье – Игорь. Получается, что папа – праздник (лыжи, парк, кино и пицца), а мама – русский, математика, чтение. «Убери игрушки», «выключи компьютер», «выруби, в конце концов, эти мультики!» «Не сутулься»... «вычисти зубы»... И перспективы устроить личную жизнь – нулевые. Работа и дом. Разве могла она предположить ещё несколько месяцев

назад, что в её голове могут зародиться такие мысли! И что она будет такой? В зеркале над раковиной в палате отражалась хмурая бледная женщина. Не молодая. Не красивая. Складки у рта, синие тени под глазами, морщина на переносице – «вдовый мост». Пробор в «Блонде золотистом» не русский, а какой-то серый. Школьный хвостик на затылке. А выглядит не моложе Грибковой, которой под пятьдесят. Оба сейчас смотрят ей в спину. «Вы, Софья Михайловна, и после дежурства выглядите отлично!»

Вот уж чьё-чьё, а их мнение Соню точно не интересовало! Грибков теперь вид имеет жалкий какой-то, взгляд заискивающий, взволнованный. Теперь заметно, что волосы на макушке заметно жиже, чем спереди. Скоро будет плешь. У крыла носа прыщ с белой головкой, выдавил бы, что ли? Кожа на лбу и щеках лоснится, желтовато-землистая. Желтизна – это нехорошо. Анализы надо повторить, а то всякое может. Какие анализы? Боится. Хочет жить со своей женой без детей ещё триста лет. Почему-то хочется добыть: был ли стул? Запор – очень вредно в его нынешнем состоянии, нельзя тужиться. Если надо – у сестры есть мягкое слабительное. Две недели назад, когда он тут хохмил, подмигивал и раздавал шоколадки, вряд ли Соне пришло бы в голову такие подробности обсуждать. А теперь – пожалуйста! И они оба оживились, попугайчики-неразлучники, подхватились. Есть, есть стул! Всё в этом плане хорошо. Ходим. Ну и здорово. Никакого интереса у Сони к Грибкову уже не осталось. Ей тут и как врачу делать нечего – пусть хирурги возьмётся.

Да. Две недели назад Соня готова была Грибкова в одноместную палату переложить, а теперь – фигушки. В воспитательных целях здесь останется, в большой. И ширму даже не будет ставить. Тут в углу умирает восьмидесятилетний лётчик Кудряшов без обеих ног. Ноги он, конечно, не в войну потерял. Просто-напросто прокурил, и ампутировали их лет двадцать назад в госпитале из-за сосудистой гангрены. Сначала одну. Потом другую. Сейчас всё, ресурсов в организме больше не осталось – почки встали, сердечная недостаточность. Лежит в забытьи, весь отёчный, с синими губами. Соня ещё раз посмотрела в историю – восемьдесят два. Можно и помереть. Кудряшов на осмотр открыл глаза, слабо повернулся. Рядом жена засуетилась. И тоже – доктор, доктор, мы шестьдесят лет вместе, дети разъехались, внуки разлетелись. Только вдвоем, помогите...

И сосед Кудряшова – глухой алкоголик Карпов, тоже с женой. Просто дамский клуб какой-то! «Пятьдесят лет свадьбы было не-

давно, вы не смотрите, что он ругается, он у меня такой...» – и смотрит с умилением. Инфаркт, инсульт, частичный паралич. Интересно, сколько из этих пятидесяти он пил? Руки в татуировках, может, сидел даже. А она ждала, убегала, когда напивался и дебоширил, терпела, когда зарплату пропивал, одна тянула детей. Смогла – теперь вот из-под него с чувством выполненного долга горшки выносит. Дотянула до «золотой свадьбы»! Значит, любила.

Соня представила себе старого седого Игоря на койке и себя в платочке. Или в голубенькой пакле на темени, как Кудряшова. И судно в руке. Ну как ты, дорогой? Ага, а с другой стороны эту Лену. И тоже с судном. У нас, мол, пятьдесят лет СОВМЕСТНОЙ жизни. В этом была Сонина ярость и мука. Она сразу поняла, что даже если как-то простит и поймёт, всё равно дальше вместе с ним жить не сможет. Она не сможет каждую минуту знать, что есть ещё Лена с детьми, думать – куда теперь он пошел? Соврал или нет? Нет выхода. Если бы Соня не знала! Если бы не целая семья с перспективой, а просто девица. Он бы прекратил, перестал с ней. Он бы пообещал. Ну, пусть обманул бы, а Соня поверила. Она бы поверила с удовольствием! А так... «Значит, не любила», – злорадствовала свекровь, хотя и переживала. Они с Соней десять лет обходились без ссор и выяснения отношений, а новоиспечённую внучку и беременную новую сноху баба Валя на дачу к себе приглашать не торопилась. Только бы не передумала, как они там встретятся, с мальчишками?

Соня сомневалась – может, действительно, не любила, раз так быстро отдала? А как же прощать, терпеть, принимать любим? Получается, что не приняла, не дотянула. «Перебесишься!» – обнадежила Маша. «Ты, Сонька, счастья своего не поняла, такими мужиками разбрасываться! Их у тебя вагон, что ли?» И Вика: «Да они все такие! С кем не бывает. Поссорились – помиритесь. Да, тяжело, но не смертельно же. Ты о детях подумай!» Она и думала, но мириться не умела, потому что они никогда с Леней не ругались. Просто не было повода. Это для Вики просто. У неё такой вариант ведения семейной жизни – в крике рождают истину, выгодную только ей. А её Андрей время от времени, как может, борется за свои права. У него три способа – алкоголь, дайвинг и армейские друзья. Последний и первый пункт обычно идут в паре. Дайвинг возникает спонтанно в течение года. Раз – и уехал посреди зимы один. «На нырки», как говорит Вика. Может себе позволить, в их компании он единственный не врач, занимается поставками

стройматериалов из Европы и Китая. Или из Африки и Антарктиды. Ламинат, паркет, пробка. Вся квартира у них в этой пробке, включая, кажется, потолок. Как палата для буйных. Проорались в звукоизоляции и дальше живут. Дочь – отличница. Вика работает с Соней в одной больнице, только этажом ниже, в неврологическом отделении. Она в их компании штатный психолог (диплом имеется) и психиатр: «Пройдёт время, и ты это переживёшь. А куда ты денешься? Сможешь...»

Последний клиент – старичок Симишин с аритмией. Отеки сегодня гораздо больше. Наелся, небось, вечером огурцов солёных. Бабулька Симишина приходит после шести, уследи за ней! С правнуками сидит – два и три года. Героиня. Из Симишина все сведения клещами надо вытаскивать, что про бабушку, что про самочувствие. Молчит всегда, как будто Соня его обидела. Или жизнь не удалась. Трое детей, внуков куча, правнуки вон малыши. Жена ещё старушка хоть куда, с обоими управляется. Пирогі домашние на тумбочке, огурцы, опять же домашнего консервирования. Салфеточка. Ручка и тетрадь – записать, что врач на обходе сказал. Можно жить, сколько ещё отмеряно, и радоваться, а он к стене отворачивается. Говорят, кто правнуков дождался, после смерти сразу в рай попадает. Это свекровь как-то выдала. Симишину актуально, он двадцать третьего года рождения. Так хоть улыбнулся бы! Буркнет и отвернется.

Если бы Соня могла тоже так вот буркнуть и отвернуться. Замолчать и не комментировать, не отвечать на любопытные вопросы посторонних. И даже на вопросы детей. Вика «включала психолога», уговаривала. Машка поддакивала. Родители страдали. Последние остатки любви, или как там это называется, корчились и погибали у Сони внутри. Всё, осталась выжженная пустыня без перспективы. «Ты приспособишься». Нет. «Тебе просто некуда деваться!» Нет. «Мальчики не смогут без мужской руки дома, отобьются», Нет, нет и нет. Хорошо девчонкам рассуждать. Они по парам. Замуж вышли в девятнадцать лет, на первом курсе. Двадцать лет совместной жизни как одна копейка. У Андрея «нырки», у Вики второе высшее по психологии. Машкин муж Саша, правда, совершил внутри своей длинной карьеры головокружительный «финт ушами». Саша вообще человек-загадка. Всё время молчит, хотя молчание это у него по-разному окрашено – то угрюмое, то весёлое, то спокойное. Это не когда сказать нечего, а когда неохота растрачиваться. Он отличный хирург. Несколько лет назад Саша

вдруг решил эмигрировать в Америку. С дуба рухнул. Вспомнил, что по матери он вообще Гринбаум, и рванул. Там где-то проживала, как в раю, его молодая тётка с мужем-преподавателем. Саша три года что-то там мыл или чистил и одновременно сдавал экзамены. Самое удивительное для Сони было то, что единственный сданный им экзамен был языковой. Может быть, письменный? Первый же медицинский тест он недотянул по баллам. Пересдача была через год. Видимо, тогда он понял, что реальную возможность стать здесь врачом и удачно перевезти семью он сможет годам к пятидесяти, не раньше, и это его не устроило. Взял и вернулся. Это и был «финт». Маша три года сидела на чемоданах. Получала автомобильные права и учила английский – коту под хвост. Первое время после возвращения мужа рвала и метала. «Я уже агенту заплатила, квартиру показывала! Люди каждый день ходили! Мне начмедом предлагали быть – я отказывалась! Это же надо...» Сын вообще некоторое время с папой не разговаривал. А Саша невозмутимо вернулся на место своей прежней работы, где по сей день молча и спокойно ампутирует конечности. Заком главврача Машка всё-таки стала. И права пригодились, и английский, и ремонт сделали, вместо продажи квартиры. Помирились. Помолчали и дальше стали жить. У Маши, правда, опасения есть, что Саша ещё в Израиле не пытался по специальности работать. Узнала на всякий случай, где у них в городе можно учить идиш. Ждёт пока.

Симишин смотрит сердито, видно, совсем плохо ему сегодня. Попробуй – угадай, болело сердце или нет? И Кудряшов – ни слова за весь осмотр. Дремлет. Последние анализы у него очень плохие, утка под кроватью сухая, мочи за сутки миллилитров сто. Анурия. Как раз пришла медсестра с очередным уколом. Давай, дед, просыпайся. Жена что-то там поправляет, суетится, откидывает одеяло. Катетер в вене надо менять... или не надо? Что ещё надо сделать, чтобы подстегнуть почки в последний раз? Надо писать, Кудряшов, как-нибудь. Берите утку! Жена опять бросается подавать. Помогает. Нет, ничего не помогает. «Я офицер, а помочиться не могу...»

Раньше бы Соня заплакала, теперь – нет. Нечем плакать. А у Кудряшовой ещё есть. «Доктор, миленькая, что? Всё да? Это всё?» Они уже в коридоре, сели на топчан. Соня плотно прикрыла дверь в палату, приготовилась разговаривать. Ну, что вы так, мы ещё руки не опускаем. Надо пробовать, ещё не все дозы использованы, можно вводить гораздо больше, рисковать. Риск в данном случае, вы сами понимаете, более чем оправдан. Соня сама с собой рассуждает

о лечении, слышит ли её Кудряшова? Бегают на коленях морщинистые, искореженные артритом пальцы, теребят мокрый и мятый носовой платок. «Может, это, доктор... вам денег дать»? Соне уже надо в женские палаты, разговор окончен: «Деду вон своему дайте денег! Может, он тогда попишет!»

У женщин всё проще. Никаких мужей. Дочери, племянницы и сестры. Иногда соседки. Половина вообще одинокие. У самой тяжёлой лежачей бабки Баландиной – соцработница Настя. Она тоже одинокая. Иногда приходит сюда в больницу на весь день. Всем поможет, принесёт, вынесет. Сбегает в универсам. Ей около пятидесяти лет, в платочке и длинной юбке. Набожная. В монастырь, что ли, уйти? Или «финт ушами»? Уехать в Австралию. Или в ту же Америку. С английским у неё вроде ничего. Там всё начать заново. Мальчики станут американцами. Хоть что-то новое. Иначе к своим пятидесяти годам она им будет совершенно не нужна. Придётся, наверное, в больнице жить. Здравствуй, пенсия, баба Соня, одинокая старость. Взрослые сыновья выходные будут по-прежнему проводить с папой-праздником... И она сама всегда теперь будет обеспечивать ему этот праздник. Ради детей.

После бабской палаты хоть вешайся. Тоска и смерть на пороге. Запах старости. Унылые дряблые груди под мятыми ночными рубашками, жидкие животы, сутулые спины. Ни одного живого взгляда. Самая молодая пациентка шестидесяти лет, вроде бы активная семейная женщина, и та сегодня захандрила. Муж не приходил, сын не звонил. Все они такие. Да. И Соня тоже будет сидеть в гулкой квартире перед телевизором, а мальчики её забудут.

«Смени сценарий». У Вики на всё есть готовая психологическая фишка. И это всё Соня слышала от подруг много раз, что мужиков не переделаешь, что с кем не бывает. Вот у меня Андрей, знаешь? В тихом омуте. А Машкин, что? Там в Штатах три года на бантик себе завязывал, только учебники читал? Надо найти силы. Не хочешь быть одна – прими как есть и прости. Как? Господи, если бы она знала, как это делают! Он же в душу плюнул. Огорошил. Особенно жутко было именно то, что никакого намёка Соня не чувствовала – раз, и телефонный звонок. Шок. Параллельная семья. А Лена-то хороша, тихушница! С ней только в разведку, опытный, видимо, боец. Ни разу себя ничем не выдала – эсэмэсок не слала, домой не звонила, в выходные не беспокоила. Получила теперь заслуженный приз. Вначале, первые недели после шока, Соня пыталась себя накрутить, раздуть ненависть, а она не раздувалась. Вспомни-

налось только хорошее – их первые прогулки, гроздь разноцветных шариков перед окошком роддома, руки, губы, плечи. До безумия, до физической боли. И мама говорила с надеждой: «Так, может, и не было ничего плохого, а? Может, ладно, забудется...» Как же не было, когда было! Теперь уже ничему хорошему шансов не было, приползи Игорь даже на брюхе. Лену ж не похоронишь...

В приёмное отделение к хирургам Соня добралась в половине третьего. Надо было поторапливаться, чтобы успеть на кафедральный банкет. На лестнице ей повстречался Валерий Василич из экстренного отделения. Румяный и потный, как из бани, распространяющий крепкий запах валидола. Где-то принял уже, причём как следует. Тоже кадр! Его жена – Марина Дмитриевна заведует экстренной хирургией. На дежурства его одного не пускает. Всегда вместе и дома, и в больнице. Иначе – все. Отстранение от работы, пенсия, цирроз, психушка, смерть. Жалко. Тридцать лет за соседними столами в операционной. Детей нет. Только он и она. До сих пор Василича не уволили только стараниями жены. Видимо, сценарий «увольнение-цирроз-смерть» ей не подходит. Он, конечно, на полную ставку уже не оперирует, свои же не пускают, из заведующих его попросили, но Марина ещё борется. Наверное, есть за что, хотя со стороны кажется, что уже всё. Пьянущий. Марина сегодня должна на банкете присутствовать, отпустила поводок. Зато Василич под парами весёлый, как Дед Мороз. Облапил Сою в дверях, не вырвешься. «Не торопись, красавица, мимо кавалера, не к кому! Одного вывезли вперед ногами, второй на подходе...» И тому подобное. Плоские шутки с кавказским акцентом. Какие дэвушки у нас консультируют, вай-вай-вай! Такие красавицы только в терапии водятся! Запах от него – закачаешься. Спирт с валидолом, конкурирующие ароматы. Второй был призван заглушить первый, но вместо этого создавал у Сони стойкую ассоциацию какой-то гадливой жалости. Пьяный старик. А по коридору, как МЧС, уже спешила Марина. Высоко взбитую причёску венчал чёрный шёлковый бант (тоже мне, гимназистка), в ушах колыхались крупные тяжёлые серьги. На вестительном бюсте подпрыгивало многорядное цыганское ожерелье. Одета она была довольно странно: мятая хирургическая рубаша навывпуск, парадная бархатная юбка с кружевом по необъятному подолу и синие сланцы на босу ногу. Сверху наброшен халат. Видимо, она уже переодевалась для ресторана, когда разведка донесла. Ой-ой. Во-первых, Соня бы давно удавилась, если бы так выглядела, несмотря на то что руки

у Марины золотые. Во-вторых, Василич страшно испугался! Довела мужика. Он побледнел и буквально весь задрожал, отскочив от Сони, как будто в этом и был его основной прокол. Вот люди живут! И это семья?

Или, может быть, надо было тоже – скалкой, сковородкой. Кричать-ругаться, чтоб боялся. Или хотя бы опасался. Шантажировать, лишиться общения с мальчишками. Не поднялась рука. После того как Колька две тысячи раз спросил, где папа, а Ванька просто смотрел глазами, она не смогла. Будет вам папа, когда захотите. Разборки старалась не при них устраивать. Бабушки получили за этот год по полной программе. Наобщались с внуками. И Соню с Игорем тоже порядочно навоспитывали. Мама всё талдычила про нервы и что надо беречь друг друга. Преодолевать препятствия, учиться прощать. Она-то откуда знает? Сорок лет стажа с отцом. Ты устал, Мишенька? Поцелуй в макушку. Нет, Нинуль, сиди, я сам разогрею. А свекор со свекровью после десятого класса поженились, она его ещё из армии ждала. Дождалась.

Все подружки по парам. Родители не советчики. Получалось, что и Сонин дозамужний опыт не пригождался. А она так гордилась! Выступала перед Викой и Машей. Они, можно сказать, прямо из школы в роддом загремели. А Соня не торопилась. Относилась к ним (сейчас стыдно, конечно) со снисходительной жалостью. Они без продыха и срока, а настоящая жизнь с Соней в главной роли, протекает мимо них. Сразу после школы на первой «картошке» она серьезно влюбилась в однокурсника Женю. Девочки ходили за ним вереницей. Соня – замыкающей. У Жени были карие, как у Бемби, глаза, томный взгляд и открытая детская улыбка. Он играл на гитаре и пел довольно приятным голосом «Кино», Гребенщикова и прочую тяжёлую артиллерию, типа бардовской лирики. Девушки от него приходили в такое состояние, что квакай он, как лягушка, слушали бы часами. Это было так банально, что даже обидно. Неужели, она может быть такой же дурой? Это было ужасно! Весь первый курс Соня болела этим менестрелем без грамма надежды на взаимность. К середине второго курса потихоньку стала выздоравливать, очень серьезная тогда была зимняя сессия. Сдала и очнулась, оглянулась по сторонам и пустилась на поиски более приятного лечения.

Сначала появился один ухажер, несерьезный. Потом, прямо на фоне первого – очень серьезный, можно сказать, жених. Он водил её на закрытый корт играть в теннис. Летом после первого курса

Соня уехала с родителями отдыхать в Карелию и за неделю забыла жениха напрочь. Следующий кадр был фанатом восточных единоборств. Они расстались, поскольку Соня, к сожалению, не была Брюсом Ли. Ещё был Йог, Качок и даже Богатенький Буратино, который свозил в автобусный тур по столицам Европы. На него Соня возлагала большие надежды, но после учебы в Питере как-то отвыкла и отвлеклась.

Потом был ещё кто-то, и ещё. Всё не то. Соня окончила институт, интернатура-ординатура, специализация и выцарапанное в жёсткой конкурентной борьбе место в больнице. Перспектива роста и заведования. Работа, работа. В шесть домой, пока доехать и в магазин – семь. Аэробика. В пятницу – поза трупа. В один из выходных обязательное дежурство. В воскресенье, если не надо в больницу, – сон до двенадцати дня. Мать с отцом ходят на цыпочках. Завтрак-обед за телевизором, после него дело к вечеру и никуда уже не хочется. И вдруг оказалось, что Машкин сын уже идёт в первый класс, а настоящая жизнь – это как раз та, которая у девчонок, а у Сони – фикция. Срочно явился очередной кадр – Викин коллега из неврологии, Юрий. Только что устроился к ним в больницу, год прожил в Германии. Жуткое выступло. Через месяц Соня знала всё о стране мечты. Сколько комнат было в съемной квартире, какая раковина и ванна, кондиционер – вау. Какой автобус ходил до клиники, как звали ассистентку профессора, какие достопримечательности города Эссена надо посетить любому здравомыслящему человеку. Немцы – вот люди! Соня фрицев не любила ещё с советских фильмов о войне, к тому же она окончила английскую спецшколу. К концу второго месяца она дошла до такого состояния, что заговори при ней кто-нибудь по-немецки – забилась бы в судорогах. Слава богу, Юра уволился, не вынес российской больничной жизни. Они расстались. Через год Соня сломала руку и познакомилась с Игорем. Характерно, кстати, что все ее кавалеры кому-нибудь в их компании да не нравились. Не Вике, так Маше, не Маше, так мужикам. Игорь безоговорочно и сразу понравился всем. Обаял. Даже Андрей выбирал место за столом к Игорю поближе и молчал рядом с ним радостно. Уже одно такое редкостное единодушие наводило на мысли. И где, скажите, теперь эти мысли? Где были её глаза, и уши, и ощущения? Не может быть, чтобы ты ничего не почувствовала! А вот и может...

В приёмном покое хирургии было удивительно тихо и уютно. Смотровые закрыты, процедурный кабинет заперт на замок.

За одной из дверей монотонно бубнил тихий голос, не разобрать. Над операционной, правда, горела предупредительная лампа. Работают. Тут было прохладно, толстые старые стены здания не пропускали жару. Соня всегда больше любила этот корпус, трёхэтажный, приземистый и основательный, почти двести лет назад построенный именно как городская больница. Терапия же – типичный многоэтажный проект последних лет советской власти, близнец чулочно-носочной фабрики. Канализация хуже организована, чем при царизме.

Посидеть бы здесь немножко, в тишине, дозвониться свекрови на дачу (целый день где-то ходит без телефона!), поговорить с мальчишками. В форточку древнего законопаченного окна за медицинским постом навсегда вмонтирован вентилятор. Слабеньких его сил хватало только на то, чтобы шевелить пыль на корявых ветвях алоэ. Опять никто не отвечал – длинные гудки. С ума сойти можно, куда подевались? Соня в сердцах кинула телефон на топчан, он соскользнул и грохнул об пол, но ординатор на посту даже не шелхнулся. Сидит, развалив здоровенные ножищи, румяный, щекастый, гладкий, руки – во. Пахать на нем надо, а он тут расселся. Оператор. Мозг, как положено, заткнут наушниками. Этот тип Соне прекрасно знаком: гонора больше, чем опыта. Ещё не только скальпель, крючки держать не научились, а выступить горазды. Недавно в автобусе такой же кадр соловьём разливался перед двумя девицами: ох мы и дежурили, вы не поверите! Три трепанации, пять животов, из них три трупа. Ага, шесть. И сто трепанаций! Они так говорят, даже если на работе только подклеили анализы и проводили больного на клизму. «Кушать подано» от медицины, но все – великие хирурги! Этот ничего так, на лицо, вполне. Книжка у него, кстати, на английском языке. Ещё год назад Соня обязательно бы глазки построила, просто для настроения, конечно. А сейчас что – старая злая тётка. Ну, встрепенётся он на старшего по званию, и что...

Аллё, гараж, просыпаемся, терапия пришла. Во всём отделении, действительно, единственный больной. Его готовят к экстренной, перспективы очень сомнительные. «Скорая» привезла с кишечной непроходимостью, но по всему – в животе рачище с метастазами в печень. Аж на УЗИ видно. Сейчас разрежут и зашьют. Вот история болезни, пожалуйста, анализы уже готовы, кардиограмма.

Да, хороший мальчик. Даже не сказал «разрежем и зашьём», понимает, что он максимум зрителем будет. Вежливый. Ну, ладно, где у вас тут страдалец с метастазами. Он в первой смотровой и с

женой, конечно, как все сегодня. По документам шестьдесят, а по виду так все восемьдесят. Худой до истощения жёлтый старикан с запавшими щеками. Его уже раздели перед операцией, но для приличия нарядили пока в больничное. Старый белый халат порван на боку, едва целы две пуговицы, дед непривычным стыдливым движением пытается натянуть расходящиеся полы на костлявые колени. Да. Его даже обследовать не надо, чтобы увидеть диагноз. Опухоль уже перекрыла пути оттока желчи, отсюда желтуха. Сколько ж он болеет? Жена ничего не знает – был здоров. Ага. Эта мадам – полная противоположность своему несчастному мужу. И раз в пять толще, как будто ела его. Сливовые кудри, очёчки в псевдозолотой оправе, турецко-китайские рюши и воланы. Да он ничего вроде был, не жаловался особо. В саду копался. Ну, пиво да, любил. Уже в прошедшем времени. Сам дед ничего не говорит, его хоть и укололи наверняка, но часть этой тянущей, грызущей боли осталась. И он их ловит эти ощущения, молча прислушивается к животу. Возможно, это последнее, что ему дано до конца. До наркоза, до вечной темноты... Ну а запоры не замечали? Что он в туалет по неделе не ходит, что пожелтел? «Так он в саду ж, доктор, загорел на воздухе-то!» Всё с ними ясно. Он в огороде, она дома, на пенсии, но работает, зарабатывает. Дети отдельно живут. Сын пьёт – проблема. А дед – не проблема. Накопал грядок в мае, картошку окучил, и всё, никому не нужен. Жена на выходные приехала, приняла работу, привезла продуктов, денег на пиво оставила, а в следующий раз за это же и отругала, что в ларек ходил. Он вяло огрызнулся. Пожаловаться на здоровье этой чужой почти женщине – не пришло в голову. К осмотру дед отнесся равнодушно. Поворачивался, руки поднимал, дышал. Прилёг с трудом, и глаза его наполнились ужасом, когда Соня поднесла руку к животу. Три дня уже так болит? Со вчерашнего дня нестерпимо? А почему только сегодня днем приехал? Косится на жену. Понятно, она работала. Как же вы тянули до последнего? Тут и угробить недолго человека! Соня рассердилась, и мадам уже тоже почти рассердилась, но тут деда вырвало прямо на пол. Видно, устал терпеть. Ох-ах, где у вас санитарка! «А у нас нет санитарки, она в операционной занята», – отомстила Соня. Сама пусть вытрет, не сахарная.

А Соня, почему не разглядела другую женщину так близко? Целую семью! Знакомство, развитие отношений, беременность, рождение девочки. Лена сидела дома в декрете. Кто ей помогал? Кажется, Игорь всё время был где-то здесь, в зоне доступа. Дома

или на работе. Работал много, это да. Заведование ему дали года три назад. Или уже четыре? Не может быть, чтобы он успевал приезжать к Лене купать, гулять. Покупал памперсы, бегал на молочную кухню в субботу утром. Он был дома! А потом ещё ребенок, теперь кто? Ведь это получается надо практически жить вместе. Лена только вышла на работу, и опять. Предохраняться, что ли, медсёстры не умеют? Или специально такая тактика с женатыми докторами? Была даже в начале скандалов мысль съездить и посмотреть на эту Лену, разузнать, как зовут дочь, как живёт. Может быть, даже поговорить. И адрес узнать было легко. Но передумала, оставила себе ма-аленькую отступную лазейку – не видела своими глазами, так вроде и нет ничего. Определённо Соня про Лену никаких подробностей знать не хотела, и издалека даже в чём-то жалела, бедную. Всё сама. Одна крутилась с малышкой, и коляски-ванночки, и садик. Что-то там дочери плела – папа на работе...

Ничего Соня не замечала. Дети, работа, дома уроки и кухня. Спокойной ночи, дорогой. А он в этот момент уже далеко, думает о другой. Та нежнее, внимательнее, заботливее. Всё сама, ни вздохом, ни стоном себя не выдаст. Что Игорек ни сделает – всё замечательно. Да вроде и Соня его почти не ругала, ну бывало, конечно, не вынес ведро помойное, телеантенну два месяца не мог установить, в коробке стояла. Глупости какие! Разве это ругань? Может быть, она казалась равнодушной? Не интересовалась его делами? Соня вдруг стала лихорадочно вспоминать, остановилась в коридоре с историей болезни под мышкой. Так, вечер-вечер, последние нормальные вечера были осенью. Спокойные. Она обычно домой приходила чуть раньше Игоря. Продлёнка в школе до пяти, магазин, транспорт – в начале седьмого они с мальчишками дома. А у него во второй половине дня приём в консультативной поликлинике. С двух. Стоп. Может, и не было никакого приема? А если бы она пришла и посмотрела расписание? Ах, если бы она пришла! Ну ладно, проехали. Вот они дома, мальчишки сразу к себе в комнату, Соня на кухню. Звонок в дверь – папа! Колька с Ваней несутся, спотыкаясь и отталкивая друг друга. А она? А она делает шаг назад от плиты, чтобы её было видно с порога. Привет. У неё руки всегда в чем-нибудь, ну в фарше или в муке. И что-нибудь уже обязательно подгорает, иначе бы она подошла! И каждый день бы подходила. Целовала бы, обнимала. Устал? Садись ужинать. Нет, так она не говорила, это в кино так спрашивают. Она говорила: сейчас будем есть. Или нет... как же?

Соня плакала. Это такой лабиринт. Выхода нет. И нет надежды на то, что его удастся отыскать. Соня вздохнула судорожно, кажется, слышно на всё отделение, что там этот подумает, хирург новоиспеченный? Вытерла нос рукавом, ещё раз вдохнула и выдохнула. Остается надеяться сейчас... остается надеяться, что тушь не потекла. Ещё раз вдох – выдох. Соня села на стул у клизменной, положила историю на колени. Хорошо, что здесь хотя бы всё привычно и понятно: на кардиограмме особых изменений нет. Оперировать можно. Впрочем, даже если бы тут был инфаркт, на стол-то по жизненным показаниям. Соня щелкнула ручкой и застрочила убористо в полупустой истории. Подробный осмотр и соответствующая ему запись по всем пунктам – основа основ, с раннего больничного «детства» вбитая в голову ветхозаветным паникером-Велосипедычем. То, что она знает точно. Не выход, но отдушина. «Осмотр терапевта Груздевой С.М.» И никакая она уже не Груздева, а вовсе даже Боброва. «Поступил с клиникой острой кишечной непроходимости, болен 3–4 сутки. На момент осмотра состояние очень тяжёлое. Кахексия. Кожа сухая, бледная с желтушным оттенком...»

Ой, доктор, вы что здесь-то сидите? Вас с поста молодёжь, что ли, вытеснила? Санитарка поволокла в смотровую ведро и швабру. Видимо, мадам её всё-таки разыскала. Ну нигде покоя нет! Соня покорно побрела на пост, а там события разворачивались драматически, как в театре. Первая часть марлезонского балета. Вьюноша с английской книжкой и плеером оставался в центре. Читал вслух и сам же переводил. Рядом на вертящейся табуретке теперь сидела девица в голубой хирургической пижаме. Тоже врач-интерн или ординатор – стетоскоп на шее. Довольно симпатичная – ни грамма косметики, густые русые волосы зачесаны и собраны с плотный хвост на затылке. Ноги толстоваты. Лицо очаровательно детское, бесхитростное какое-то до жалости. Она слушает. Вся внимание. И ещё одна слушает, облокотившись о высокую столешницу поста – медсестра из операционной. Она ещё в бахилах и перчатках, на вытянутых руках держит ворох испачканных кровью простыней. Шапочка прикрывает волосы, маска сдвинута на подбородок. Такая красавица, каких Соня, кажется, никогда не видала. Дух захватывает! Матовая смуглая кожа. Тонкий нос, крупные светло-розовые губы, синие глаза в обрамлении длиннющих ресниц. Эльфийская легкая и длинноногая фигурка. Всё искусно и гармонично собрано. Она тоже слушает, но по-другому. Слишком

заинтересованно. И видно, что она постарше, под тридцать, пожалуй. Да. Расклад понятен. Сейчас, дайте срок, вьюноша здесь освоится, обтешется. Сделает пару аппендицитов и расправит плечи. Уложит это эфемерное с виду существо на топчан в ординаторской, да или хоть в бельевой, в промежутке между операциями. И она, бедняжка, опытная, с волками жить, знала, куда работать идет, всё это прекрасно представляет себе. Нового ничего, просто смешно звучит его голос на английском языке. А девушка интерн – другой разговор. На ней он, может быть, женится. Вместо ординатуры она будет сидеть дома, склонившись чистым высоким лбом к новорожденному наследнику. Будет ждать с работы, лепить котлеты и сырники. Как прошло дежурство? Хорошо, дорогая. А дорогая-то совсем другая.

«Ну-ка, молодые люди, место уступите. Немножко ещё осталось дописать. Здоровый деда ваш, кроме рака...» И не выдержала, прокомментировала: «Бабы маются, девки замуж собираются!» Старая, да, она старая и злая. Медсестра фыркнула и пошла дальше со своими простынями – успеется. Девушка-интерн вспыхнула, а парень и не понял ничего. А? «Бэ! Растворов ему покапайте каких-нибудь, хоть глюкозу, что ли, хлорид калия. И обезболить надо ещё. Давай лист назначений, сейчас всё подпишу и пойду».

Рабочий день у Сони уже закончился, пусть дежурных зовут, если что. Жара. По пути из приёмника Соня остановилась на лестнице. Толстые стены, не прогретые насквозь, так и звали отдохнуть, прислониться к прохладной краске. Всё-таки она устала, не двужильная. Телефон заверещал в кармане, как припадочный, так что на мгновение, кажется, остановилось сердце и, подпрыгнув к горлу, перекрыло дыхание. Фу. Самой бы в судорогах не забиться! Это свекровь, наконец, перезвонила. Затараторила, задыхаясь и глотая концы слов. Какая сегодня жара, они ездили на озеро, она забыла телефон в комнате, такая смородина в этом году, с вишню размером, соседи завели собаку, в поселок возят деревенское молоко. И тому подобная чепуха без запятых и точек. Эта бабы Валина манера Соне хорошо известна, значит, случилось что-то. «Ванька заболел»? – перебила Соня. Нет, слава богу. Колька? А сама уже догадалась. Игорь собрался приехать на выходные с Леной и дочкой. Вводить родителей в курс дела. У свекрови ещё одна особенность присутствует, которая иногда Соню просто бесит. Она сначала всегда соглашается, а потом уж борется за противоположный исход событий. Главное, окружающим очень трудно понять –

это уже окончательное решение или прикидочное? Сейчас Соня, как наяву, представила разговор матери с сыном. Она ему про молоко, а он ей – приехать хотим в выходные. С Леной. Не возражаешь? А она – да ты что, сынок, конечно. Ждём в любое время. Надо знакомиться, налаживать жизнь. Вот и мальчики этот год такие грустные... И тэ дэ. Трубку положила, а минут через пять уже поняла, что поторопилась налаживать-то. «Я думаю, Сонь, надо тебе мальчиков в город забрать. Побудете вместе. А он – что? Всё равно приедет, раньше или позже. Не миновать». Соня обещала в субботу утром приехать пораньше. Только у неё в воскресенье дежурство, куда же их? А у бабы Вали и на этот случай готов вариант: «Так дед поедет за продуктами. Он и посидит, а вечером заберёт обратно. Не оставит же мне Игорь здесь её... их...» Свёкор, конечно, не в магазин в воскресенье рано утром подорвется. Это у них уже план оговорен, домашняя заготовка. Всё предусмотрено. Ну и чёрт с ними. «Мальчишки-то где?»

Пока баба Валя звала Кольку с Ваней, Соня рассматривала стену на лестничной площадке. Тут на повороте, место оживленное. Сальные следы ладоней, застарелая грязь. Полустёртые цифры чьего-то телефона, записанные карандашом. Кто-то так же стоял, разговаривая, и записал. Рядом ещё один номер крупно процарапан острым, от нолика вниз синяя краска отвалилась круглым лепестком. Под ней более старый слой – желтоватый, а в центре ямка штукатурки. Соня машинально ковырнула её пальцем, и тоненькая струйка теплой серой пыли просыпалась на ногу. Соня представила себе нагретую солнцем тропинку к дачному крыльцу и другую дорожку, прохладную, к задней двери кухни. Там с северной стороны за разросшимся жасминовым кустом всегда тень. В трубке шуршало. Издалека раздавался невнятный крик и треск. Бегут, наверное, с площадки. На пустыре через два участка поставили турник, качели и футбольные ворота. Там они и пропадают целыми днями, футболисты. Две недели не виделись...

Соня закрыла глаза и, наконец, прислонилась к стене, как давно хотела, случайно опять угодив пальцем в отколупанную ямку. И сразу, как от кнопки на пульте, память выдала всю картинку целиком с запахами и звуками. Русые головы с выгоревшими соломенными макушками. Облупленные носы, майки пахнущие травой и древесной пылью. Овальное жёстовское блюдо разнообразных ягод на столе, полное утром и присыпанное лишь хвостиками вишни и смородины к вечеру. Глухой рокот моторчика, качающего

воду из скважины. Свернутое вчетверо лоскутное одеяло в гамаке и сделанный из корявого соснового корня канделябр, начиненный антикомариными свечками. Целая жизнь, пожалуй, здесь прошла. Полосатый шезлонг сложен под навес дровяника от дождя. Да, пусть бы пошел дождь – утро, открытая створка окна затянута сеткой и задёрнута бязевой шторой в красную клетку, а вместо солнца из-под неё льется ровный спокойный свет. И шорох капель по листьям пиона и шиповника под окном с той стороны. Бульк – это в бочку спикировал водопад из желоба...

В трубке громко затрещало, стукнуло, запыхтело. Я! Пусти! Дай! И хором – мама! «Когда ты приедешь? Мы были на озере. Юрка Захряпин поймал жука... Дай мне-то! Что ты лезешь? Мам, ты когда приедешь? Отстань, ты уронишь...» И отдалённые увещевания бабы Вали: мальчики не деритесь! Коля! Дай Ванюшке сказать... «Завтра, завтра приеду». Соня долго еще стояла, смакуя на языке, как ягоды, замечательные имена. Ко-ля, Колю-ня. Ванюш-шка. Вместе придумывали с Игорем. И девчачье, на всякий пожарный, припасли – Оля была бы. Впрочем, может, она и есть. Может, и это имя украдено, как украдена дача, озеро, жасмин, дождь по утрам? Соня очень любила лето, со всеми его комарами, сгоревшими плечами, духотой и жарой. Обожала крымские отпуска, горбатую улицу Айвазовского в Судак. Атрибуты летнего счастья – море, дети, длинный деревянный стол во дворе, где они из года в год снимали комнаты, с рассыпанными по столешнице ракушками, серыми шерстяными персиками, кусочками гальки и отшлифованными волнами стеклышками. Как Соня любила Крым! Только той злобной бабе, которая сейчас из неё вылупилась, туда нельзя. Ей вообще к людям нельзя, ни к здоровым, ни к больным.

В экстренном отделении она посмотрела ещё две кардиограммы, ничего особенного, и решила отчаливать. На той же лестнице по дороге в терапию столкнулась с Мариной Дмитриевной. Та уже привела верх и низ своего наряда в праздничное соответствие, поменяла хирургическую блузу на блестящую фиолетовую майку. Под руку она вела давешнюю мадам. Обе они смотрелись, как сестры-близнецы. Большие яркие и оборчатые, как куклы на чайник, только первая ещё и в халате. Мадам плакала и сморкалась в мужской клетчатый платок, по мясистым щекам из-под очков текла тушь. «Ну-ну, что вы! Там сейчас работают опытниейшие хирурги, поверьте, опытниейшие... (Ага, одного мы видели недавно!) Если можно что-то сделать... Ну-ну, а вам сейчас нельзя туда,

вам домой...» – баюкала Марина. Ну ладно хоть плачет мадам эта. Поняла, что он сейчас помрет и останется она одна-одинёшенька. Пусть сами разбираются, слава богу, пятница, а на той неделе, может быть, они и не встретятся больше. Соня кивнула Марине и побежала к себе. Надо было собираться в кафе.

И всё равно опоздала, хоть и не сильно. В последний момент припёрлась известная всей больнице и отделению пациентка – Маня Глобус, проситься на госпитализацию. Пришлось её оформлять и укладывать в обход всех правил, Мане отказать было нельзя. Она феномен, медицинский казус. Впервые она к ним в отделение поступила лет пять назад. Пожилая женщина, тихая интеллигентная, немножко странная – вся в кошачьей шерсти. Соня так точно запомнила, потому что тогда только что вышла из второго декрета и на всех больных накидывалась с жадным интересом. Но и с опаской тоже – отвыкла. У Мани она при первичном осмотре обнаружила большую опухоль левой молочной железы, с распадом и классической каменистой пачкой лимфоузлов под мышкой. «Это у меня давно болячка, бюстгальтером натерла, а она и замочла. А потом я корочку скovyрнула нечаянно. Вот месяца три уже никак не подживет...» Пациентку взяли в оборот, за неделю провели по всем обследованиям, нашли крайне низкий гемоглобин и кое-какие метастазы. Осторожно побеседовали. Маня пребывала в отличном настроении, «болячка» на груди её не беспокоила, только повязка мокла. Немного кружилась голова и тошнило, а так всё было в относительном порядке. Просила таблеток домой, чтобы выписали рецепты или сказали, что купить самой. Складывалось впечатление, что больная серьёзность, прямо скажем, фатальность ситуации не осознавала. Попытались встретиться с родственниками, и тут выяснилась вся ужасающая Манина история. Родные её умерли от раков разной локализации. Все. Муж, сестра, дочь и внучка. Оставался в живых только муж внучки, который от Мани шархнулся, как от прокажённой, как только похоронил жену. Маня жила совершенно одна в трёхкомнатной квартире, и компанию ей составляли только два десятка кошек. Что ж, имела полное право выработать философское отношение к жизни, к тому, по крайней мере, что ей от жизни осталось. То ли она не поняла ужаса своего заболевания, то ли делала вид – не важно. Но с тех пор Маня ничем не лечилась, даже не встала на учет в онкодиспансере. Опухоль сохраняла свои прежние размеры, метастазы не прогрессировали.

Маня приезжала, когда совсем уж падал гемоглобин и тяжело становилось ходить в магазин за хлебом и килькой. Вот и сейчас сидела, невозмутимо сложив руки на коленях. Бледная, но неизменно улыбающаяся потусторонней призрачной улыбкой, в древних кримпленовых брюках с клочками налипшей шерсти и клетчатой ковбойке. Святое дело. Соня лично отвела Маню в палату, написала лист назначений и всё оформила. Лежите, госпожа Глобус, поправляйтесь. Может, и поправится, думала Соня. Что-то же её ведёт, сохраняет. Для чего-то ведь она ещё живёт на этой земле, презрев все медицинские понятия? Ведь не для поддержания же популяции кошек в городе...

Банкетный зал располагался почти за городом и назывался адекватно и емко: «Кабак». В псевдорусском стиле. Брёвна, пыльное чучело медведя с мутными стеклянными глазами. Какой-то плетень поперек зала, кадки с подсолнухами. Тоскливое ассорти, рыба нашинкована полупрозрачными пластинками, жирная колбаса. Разноцветный перец с претензией. Салат из майонеза. Холодные плотные пирожки. Соня, однако, была голодная и за еду взялась довольно весело, не забывая вертеть головой. По левую руку от неё располагался пунцовый от первой же рюмки и волнения Велосипедыч. Дико перенервничал: Соня опаздывает, вдруг вообще не придёт? «Четыре тоста прошло, Соня, что же вы, где? Четыре!» Сколько, интересно, ему жена позволила здесь отсидеть. Час-два? Столы стояли, как на свадьбе, буквой П. У Сони с Игорем в «перекладине» сидели они сами, свидетели и родители. Здесь – администрация: главный с заместителями, зам по кадрам – с голыми плечами. Обе «ножки» были плотно заставлены стульями, аншлаг. Все хирурги, за вычетом дежурных. Фиолетовая майка Марины Дмитриевны – привет, привет, давно не виделись. Кафедра в полном составе. Профессора-аксакалы высажены в ряд вдоль правой стены, как малыши в детсаду на утреннике. Аксакальша Полина Сигизмундовна с неизменным шиньоном на макушке. Не иначе из дома её приволокли, она, кажется, свои последние лекции отчитала, когда Соня училась, а оперировать перестала и того раньше. Девяностолетнего академика Пряхина с боков подпёрли двумя доцентами. Он в мединституте, как портрет Пирогова. Каждый день приходит и сидит молча в ректорате. Этаким хирургический идол, куда ж без него?

Молодёжь кафедральную от двадцати пяти до пятидесяти Соня плохо знала. Общались-то чаще на дежурствах да в отделении с

обычными докторами. Завкафедрой терапии Борис Григорьевич Давыдов умастился на самом краю «перекладины». А он-то что здесь делает? Полтора года назад у него погибли в автокатастрофе жена и взрослый сын. Осталась только невестка с внуком. Говорят, у них отношения плохие, другие говорят, что недаром они вместе живут. Сволочи любопытные! Суды и пересуды в больнице не смолкают. Внуку пять лет. Наверное, Давыдову так же, как Соне, невыносимо сейчас идти домой. Вот он и парится здесь в соответствующей ситуации душевной белой рубашке с мокрыми кругами под мышками. Он вообще не пьёт, по крайней мере на работе замечен не был. Мучается трезвый, наблюдая этот цирк, или всё-таки пригубит? Велосипедчик потянулся рюмкой с ним чокаться, положение обязывает. Давыдов тоже что-то глотает, ну, значит, выживет.

Анестезиологи и гнойная реанимация замыкали левую, Сонину, «ножку» буквы «П», а прямо напротив сидела патанатомия. Остекленевший от водки Виноградский и две сопровождающие его валькирии – одна из морга, а вторая из лаборатории. Обе с длинными распущенными волосами, густо покрашенные, в бусах и браслетах, в узких коротких платьях без бретелек. Свита. Как говорит Наташа Первая – культура вскрытия ушла с их появлением. Они с Соней ещё застали прежнюю заведующую – интеллигентную аккуратную старуху Марию Ивановну Соловей. Вот это были аутопсии! Спектакли! Лекции, начитанные прямо у стола хорошим русским языком, без всяких там «блин, а это чё?» и «этого мы ещё не потрошили». Ведьмы богатством лексики не отличались, препарат Леша вообще говорил на своем языке, хрюкал, как зверёк. Как-то держался Виноградский, но уже через пять минут после окончания рабочего дня бывал настолько пьян, что добиться от него внятных объяснений по умершему пациенту не представлялось возможным. В морге всегда было не прибрано и накурено, венки валялись вперемешку с грязным бельём. Краны текли, ремонта давно не было. Уважение к смерти тоже ушло, вместо него заглавную роль теперь играла конкурентная борьба ритуальных контор. Кто быстрее. Бились за каждого усопшего, так что диагностика, как таковая, проведенная, кажется, второпях и небрежно, уже никого не интересовала.

Соня быстро выпила, чтобы быть на уровне. Потом ещё, иначе тут было нельзя. Банкет развивался в правильном направлении. Администрация и приглашённые из министерства гости с интервалом в три минуты говорили тосты. Видимо, мечтали ещё

попасть на свои дачи, в пятницу-то вечером. Торопились. Управляла потоками речей дама-аниматор, настроения реаниматор. Тамада-ведущая. Слегка одутловатая бальзаковская барышня в золотом платье и босоножках на опасной шпильке. Ей не мешало бы вымыть голову и вообще умыться, соскрести половину небрежно намалёванного макияжа. Но с шутками и прибаутками проблем не было, имена-отчества гостующих она произносила без запинки и вообще сценарий отрабатывала на совесть. Профессионал среди профессионалов. «А сейчас слово предоставляется почётному гостю нашего замечательно вечера, заслуженному врачу... и т. д. и т. п.» Были и номера самодеятельности. Валькирии плясали и пели частушки. Спасибо, что не матерные. Виноградский притоптывал им с места, размахивая головой из стороны в сторону, с увеличивающейся амплитудой. Реанимация читала стихи собственного сочинения. Больничный эпидемиолог, сорокалетняя Галина Вадимовна, танцевала танец живота в повязанной на мощные бедра шали с бубенчиками и коротком топике, открывавшем далеко не идеальный пупок. Анестезистки из второго оперблока разыграли сценку из больничной жизни. Роль пациента на операционном столе у них исполнял начмед по хирургии. Давно Соня не видела такого. Ну и зверинец! Да она и бывала на больничных банкетах очень редко, хватало своей компании. К тому же Игорь её ревновал, ну, то есть ей так казалось. Начинал названивать каждые полчаса, а потом и вовсе подъезжал домой забирать. Тогда это было приятно: выпили-потанцевали, хватит. Теперь в семью пора. Даже жалко было девчонок, врачей и медсестер, которые оставались допоздна, кто в десять вечера ещё отплясывал и наливал. Никто их не ждёт. Теперь Соню – никто. Веселись, Соня, до утра! Ни в чём себе не отказывай.

Ей подливал Велосипедыч, которого трясло и колотило перед выступлением. Наконец его объявили, он встал, неловко двинув стулом. Руки в ужасе теребили салфетку, срывался голос. Что это он так перенервничал? «Мы все здесь собрались... э...» Велосипедыч откашлялся и взял себя в руки. Он стал вдруг вместо поздравительной оды по-стариковски вспоминать, как начинал здесь работать, когда ещё не было никакой терапии, а только один старый корпус, и кафедра тоже только что заселилась на первом этаже... А кто-то с места перебил, что это госпитальная терапия была на первом, а хирурги – между третьим и вторым, на лестничной площадке. Его тоже перебили. Сонины соседи справа уже чокнулись

за что-то свое, выпили и снова налили. Велосипедч вынул из кармана бумажку с речью, сверился с записями и попытался продолжить, но его опять перебили, и он сел, горестно махнув рукой. «Опозорился!» Соне было лень его утешать.

Время от времени аниматорша объявляла танцевальную паузу. Пару раз даже спела сама что-то из старой попсы, и неплохо, кстати, спела. При первых звуках любой музыки народ рвался в центр зала, как с цепи сорвавшийся. Отплясывали даже те, кого и представить за этим нельзя было. Кружились и взмахивали руками доценты и заведующие, выбрасывали коленца ординаторы и ассистенты. Форма одежды у женщин сегодня была, как сказали бы хирурги, «минус ткань». Короткие юбки, голые плечи, руки и спины. У кого-то успевшие загореть в отпуске, а у кого-то по-городскому белые коленики всех размеров и возрастов. Блётки, камушки, бахрама, обтягивающие майки и потные бретельки. Дикие вечерние наряды, тем более неуместные, что за окном ещё жарило июльское солнце и темнеть не собиралось. Бедные-несчастные врачи и докторши! Жизнь проходит мимо платьев в халатах и форме. Где ещё так нарядишься, а если и нарядишься, то куда пойдёшь? Соня сначала порадовалась, что одета скромно и по-летнему. Вышитая рубаха из жатки и светлые брюки. А потом, конвульсивно дёргаясь в середине мелькающего блестящего хоровода под грохот музыки, – даже пожалела. Получается, она уже окончательно не молодая девушка, а тётка. Что теперь ей, юбку короткую не надеть? Или маечку с вырезом? Она ещё очень... она вообще теперь – свободная женщина. Может с кем угодно закрутить. Ну, просто для поддержания тонуса. Сейчас вот будет медленный танец, кто-нибудь да подойдёт. Ну, хотя бы по старой памяти. Из вежливости. Просто тот, кто сейчас скачет рядом под рок-н-ролл. Но ни один мужчина так и не подошел, только знакомые любопытные бабы – узнать, как дела.

В носу кислыми пузырьками стреляло шампанское, давило виски. В животе тяжёло подпрыгивал каменистый пирожок в жирном майонезе. Вообще-то шампанское Соня никогда не пила, именно из-за того, что после единственного глотка потом весь вечер одолевали пузырьки. Но сейчас на столах кроме шипучки была только водка и сомнительного качества вино. Как говорила мама: полусухое, полукрасное. В какой-то момент плотный хоровод расступился, и Соня увидела в высоком настенном зеркале свои судороги и конвульсии. Перекошенное и сосредоточенное лицо, растрепавшиеся волосы. Дикий взгляд, впрочем, не лучше,

чем у соседей. Какой-то пир во время чумы! Как в последний раз, Воландовский бал. Все музыкальные композиции на таких сборищах известны заранее, под них выпившие люди – хоть хирурги, хоть бухгалтера, хоть водопроводчики будут совершать движения и па, как дрессированные собачки. Выбрасывать коленца под рок-н-ролл, вертеть задами под ламбаду, поводить плечами и притоптывать на месте под дискотеку девяностых. Кто-нибудь выйдет дрыгаться в центр круга, потом две девушки, кто ещё на ногах стоит, исполнят спонтанный парный танец. Всё запрограммировано на несколько часов вперед. И атаманше этой в золотых копытцах надо только придать чуть-чуть направление-ускорение, а дальше закрутится само собой.

Соня обошла стол в поисках обычной воды и присела на углу, поленившись пробраться на свое место. Народ уже рассосался, и свободных стульев стало много. Где-то Соня читала, что дискотеки придумали на автомобильном заводе Форда в Детройте, чтобы ошалевшие от напряжения конвейерной смены рабочие могли расслабиться, подвигаться и не сойти с ума. А хирургам и вообще врачам никто не придумал ничего, кроме водки. Вокруг ни одного трезвого лица. А Игорь почти не пил. Ну, в компании, конечно, сухого, или коньяка с удовольствием, но так, чтобы быть пьяным? Соня не помнила. И даже не курил никогда, это Соня под настроение баловалась. Идеальный муж, получается? Непьющий, работающий, чудесный папа, веселый, компанейский. Друг. С Сониными родителями, как со своими. Всё как надо, но всё не так.

Может быть, надо позвонить прямо сейчас. Позвонить и сказать, как обычно, – заberi меня отсюда, я устала. Давай будем жить, как раньше. А если не как раньше, то по крайней мере просто жить вместе. Поставим на место кресло и Стругацких, повесим пиджаки и рубашки. Кроссовки старые и ботинки новые, выходные, на полочку в коридоре. И бритва, будь она неладна, пусть встанет обратно на своё законное, навсегда очерченное мылом место. Давай, Игорь? Только ты, я и мальчишки. Получим отпускные и рванём в Судак. Снимем у хозяйки курятник с электроплиткой, будем сидеть вечерами во дворе за длинным столом под абрикосовым деревом и разговаривать ни о чём. Полезем на крепость, купим чебуреки на набережной...

В носу щипало, но не от шампанского. Соня ещё зимой поняла, что так не будет. Так невозможно. Перестать сомневаться в глубине души – абсолютно точно нельзя. Для неё этот путь не существует.

И никакой другой тоже. Невыносимо с ним и без него. Хотя почему невыносимо, она же как-то функционирует? Работает. Живёт. Вот она – несчастная любовь. Что там гитарист с первого курса. Ерунда. Игорь, конечно, приедет, если она позовет. Соня была уверена, он попробует. Но она пробовать не будет. Не сможет. Но чтобы больше не думать об этом, нужен какой-то радикальный метод, хирургический. А пока – просто выпить надо ещё и довеселиться уж, раз начала...

Банкет меж тем достиг своего апогея. Аниматорша сочла, что самодеятельности и танцев вполне достаточно, и затеяла конкурсы и загадки. А народ, устав от прыганья и переварив алкоголь, хотел, наоборот, пообщаться неформально. Просто поговорить. Компании за столом перегрупповались по интересам, кто-то уже просил пригласить музыку, но не тут-то было! Игра называлась «Весёлая шапка». Большая цветастая клоунская кепка нахлобучивалась на какую-нибудь голову по выбору ведущего, и одновременно звучала песня. Это были «мысли» обладателя шапки. Смеялись все, и Соня хохотала до слёз, хотя смешно почти не было. Но не рыдать же? Праздник, весело... Один раз только хорошо попали в точку – Виноградскому достались строчки «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». Бедная ведущая так и не поняла, отчего такой взрыв хохота? Единственный равнодушный человек – сам Виноградский, только глупо улыбался. Никаких слов он уже не разбирал. Кепка двигалась по правому краю стола, желающих примерить было хоть отбавляй. И все старались покривляться кто как может. Лаборантке кафедры, немолодой худенькой женщине с жидкими серыми волосами досталась ария Ноны Мордюковой из «Бриллиантовой руки». Нина Николаевна послушно и потешно вытягивала руки, вытаращивала глаза и поводила костлявыми плечами. Тут Соня не стала смеяться, стало противно и грустно.

Наконец, кровожадная шапка добралась до очередного больничного раритета – рентгенолога Василия Ивановича Ильина по прозвищу (конечно!) Чапаев. Чапай работал в хирургическом рентгенкабинете лет сорок. Ему самому уже было как старому корпусу, и гамма-лучи он испускал самостоятельно, без помощи своей допотопной аппаратуры. Перенес инфаркт и инсульт, но упорно ходил на работу. Говорили, что если его уволить, он всё равно приедет утром на конференцию к восьми пятнадцати. Он просто не знает, как иначе. Репутация у Чапая была, особенно после инсульта, как у царского шута. В кабинете он вместо того, чтобы смотреть

надоевшие за столько лет снимки, читал газеты и хаял существующую власть. А на утренних конференциях выкрикивал с места радикальные лозунги типа: «Всем зарплату повесить в два раза!» Или: «Когда меняете асфальт у приёмного покоя, сволочи!» «Сволочи» у него были все, включая больных и докторов, а теперь он и вовсе взял манеру материться по поводу и без. Что-то сейчас про него будет петь дебильная кепка? Народ приготовился ржать над диалогом. Кто-то даже крикнул, мол, жги, Чапай!

Но Чапаев шапку сбросил, только успела музыка пискнуть и заткнулась. Встал со своего места, приосанился, с видимым усилием выравнивая непослушные ноги под столом. Да, похудел за последний год, всё-таки сдает комдив, не вечный. Тощая стариковская шея, поросшая сзади седой шерстью, торчит из ворота парадной рубахи. Велика рубашка. Несколько лет назад умерла жена, дочь в Москве. Ухаживает за ним рентгенотехник, Римма Ильинишна, его ровесница. Говорят, влюблена в него всю жизнь, но не могла семью разрушить. А своей не завела. Теперь может забирать его и есть, хоть с маслом! Сидит рядом в дачном сарафане и душной шелковой шали на плечах. Ну, сейчас ляпнет!

«Это всё шуточки», – он качнулся и крепче перехватил ручку трости, язык его не слушался, ещё не «разговорился» окончательно после инсульта. «Я пришёл сюда сорок лет назад, а как будто вчера! И вот сядешь за стол на празднике, вокруг молодые люди, такие же, как ты. Глядишь – а тебе-то семьдесят! И жизнь прошла. Но она прошла в этой больнице, среди коллег и друзей, единомыш...мыш...» Слово далось с трудом. «Пусть так», – махнул рукой и сел. Было тихо, только всхлипывал Велосипедыч. Они ровесники. Никто не смеялся, потом захлопали, загалдели, кто-то полез к нему выпивать и целоваться, Маленькую Римму затолкали, грохнула об пол тяжёлая трость.

Сколько же лет прошло. Пятнадцать? Когда Соня пришла сюда в ординатуру, отделенческие «баушки» были ещё и не пенсионерки вовсе, а «опытные доктора» и «сложившийся коллектив». Наташа Первая вышла из декрета, а Наташа Вторая ещё училась в институте. Только Велосипедыч не меняется. Закуклился. Не бабочка и не гусеница, только мнительный стал и пугливый, как беременная женщина. Уходить ему надо. Пятнадцать лет назад Главный так и говорил Соне – уходить ему надо, трудно на современном уровне работать. Будем вас готовить, Софья Михайловна, решим вопрос. А жизнь прошла.

Кепка не дремала и даже не подождала, пока все успокоятся. Сценарий надо было отработать до конца. Подобралась к Давыдову. Он, бедный, один остался в президиуме. Сидел посередине ряда пустых стульев перед вереницей недопитых бокалов и тарелок, как Винни-Пух с горшками из-под меда. Он даже рукава не закатал и не расстегнул ворота рубашки. Улыбался машинально, а глаза смотрели тоскливо куда-то в сторону. «Что сейчас у нас думает, вот этот мужчина, одинокий?» – развязно завопила аниматорша и плюхнула шляпу Давыдову на голову. И тут же звонко грянул пионерский хор: «Вот оно какое, наше лето! Лето ярким солнышком согрето!» Он почти не пил, но подыгрывает, машет руками. Улыбается. Только выражение глаз не изменилось. Что он думает на самом деле?

Соне стало страшно. Вдруг на неё наденут тоже? И придётся дёргаться и кривляться. Или признаться в чём-то, в том, что сама себе не позволяет сказать вслух. «Не любила?..» Она выбралась из-за стола на улицу, стрельнула сигарету кого-то из лёгочников, курящих у дверей. Во дворе кафе были построены отдельные беседки, огороженные плетнём, сейчас пустые и тёмные. Зато тут было прохладнее и сумерки, наконец, потушили изнуряющее солнце. Здесь не орала музыка, не вспыхивал свет, раздробленный дискошаром. Никто не кричал в ухо, обдавая горячим водочным запахом, не приставал с вопросами, не лез в душу и не требовал обнародовать мысли при помощи шапки. От начала вечеринки человек тридцать последовательно спросили у Сони – ну ты как? Да никак! Тоже, наверное, все думают – Груздева пару месяцев как развелась, а уже пьет-гуляет. А вдруг и правда ей всё равно? Вдруг эти страдания – просто обида, сожаление о неудаче? Все вопросы она Игорю задавала – как ты мог, где твоя совесть, что ты думал, как будут мальчики? Не спрашивала только главного – почему? Боялась, что он ответит.

Она боялась, что у него есть, так сказать, претензии. Она-то для себя сформулировала примерную схему событий. Бабником был Игорек и остался. Соврал ей тогда, гулял, но не нагулялся. А Лена просто залетела. Несчастный (для Сони) случай. Она не позволяла себе даже помыслить, что он сознательно. Что он хотел ту, другую девочку, которая ходит в садик. Другую жену, семью. Может быть, Лена пекла пироги? Или танцевала с шестом? Или вместо уроков и стирки по вечерам сидела, подперев щеку рукой, и смотрела на Игоря влюблёнными глазами? Соня так не могла, она думала, что

это не нужно. Она думала, что у них счастье. Простое, как у всех, – дети, работа. Правильный диагноз. Удачное совмещение отломков, перспектива челюстно-лицевой хирургии, но надо учиться в Питере. Она что, возражала? Рада была за него! Пусть бы ехал. Да что угодно! Чего теперь...

Соня сидела на деревянном столе в беседке, болтала ногами и смотрела, как мечутся тени за занавеской большого окна в зале. Вокруг был настоящий теплый вечер, летний. Любимейшая Сонина погода, когда к ночи не холодает. Кафе стояло в начале пригородной трассы, чуть дальше после парковки уже начинались частные деревенские дома, метров через двести виднелись огни автостанции. Небо не осквернилось ни единой тучкой, только помутнело и посинело. Через прорехи в декоративном плетне было видно шоссе, по которому непрерывным потоком шли машины. Все в сад, конец недели. Надо ехать. Если не присматриваться, то можно было представить, что люди в автомобилях отсутствуют. Как будто это механические животные двадцать первого века сами ползут к месту нереста накануне уик-энда. Урчат и трубят, грозно вытаращив горящие глаза, поторапливаются вперед, поджав бесхвостые зады, чтобы не налетели соседи сзади.

Соня встала коленками на лавку, а локтями на перекладину беседки, чтобы было лучше видно. Машины шли и шли, отблещивая фарами. Медленно – встали, тронулись, опять чуть проехали и встали. Неумолимо. Водители нервничали, высовываясь из окон, некоторые автомобили сотрясала музыка. На спинках сидений возлежали кошки, собаки вывешивали из окон изнуренные языки. Канарейки ехали в клетках. Диваны и стулья перемещались в прицепах. Проплыл задернутый белым чехлом огромный катер. Прочь из города, укорачивая жизнь ещё на одну пятницу. Соня с удовольствием вдыхала едкий ментоловый дым сигареты, впервые за день отдыхала спина, в голове было гулко от недосыпа и шампанского.

Сумка висела на плече. Можно было уходить, всё. Если добежать до автостанции, то, возможно, получится успеть на последний автобус. Или поймать попутку до поворота, вон, сколько их. Туфли удобные. За полчаса добежит. От трассы пешком меньше километра, дорога тёмная, без фонарей, но хорошо знакомая. Поле с вросшими в землю свертками соломы, будто рассыпанными катушками ниток. Хилый берёзовый перелесок – бывшая граница двух колхозов. Налево дорога к турбазе, а ей – прямо. Мимо разрушенного старого коровника, мимо прошлогодней скирды сена.

Потом на краю пригорка откроется прохладный провал речной долины, уже будет видно огни дачного поселка, фонари и окна. И те, которые будут ждать Соню. Здесь можно будет разуться, пока пыль не остыла от дневной жары, закатать брюки. Захотелось идти вот так, чтобы было не жарко, но тепло. Надо только купить сигарет в киоске, чтобы курить по дороге. Чтобы в груди и горле было, как сейчас, дымно и горько.

Вот, наверное, все удивятся на даче! Свекор обычно долго не ложится, сидит на веранде, смотрит телевизор и грызёт семечки. На газете пред ним лежит шелуха вперемешку с жучками и мотыльками, соблазнившимися светом лампы. От калитки хорошо виден круглый абажур-колокольчик. Она позовет, чтобы никого не испугать, нарочно стукнет калиткой. А может, наоборот, тихонько пролезет через дырку в заборе – отогнёт известную доску. Они так обычно возвращались с озера, когда ночью бегали купаться с Игорем. Да, пожалуй, так. Она обогнёт дом и заглянет в окно спальни, где на диване, разметавшись от жары, посапывают мальчики. Набегались. Колькина ручка свешивается к полу – он на животе. Ванюшка – на спине, обнимая одной рукой пестрого леопарда Честера, а в другой сжимая лапу верного безносого Мишки.

Соня как будто уже была там. Скорей! Она выбралась из беседки и осторожно, в тени забора, вышла из двора кафе. Тайком. Не хотелось ни с кем прощаться и вообще разговаривать, времени больше не было. План побега был готов. Надо только попасть в общий поток, а уж он куда-нибудь да вынесет. Надо успеть спастись, подчиниться центробежной силе, вырваться из города и убежать. Может быть, от себя. Может быть, к себе. В любом случае надо было спешить. Соня бросила потухший окурочек в траву, переложила сотовый телефон в карман и быстрым шагом пошла по обочине шоссе в направлении автостанции. В одной из машин опустилось стекло, кто-то позвал изнутри. Она отмахнулась, машина отстала в пробке. Кто-то посигналил, потом ещё. Впереди зажегся красный, машины стояли, и Соня теперь могла обогнать их всех. Уже было видно, как к небольшой кучке людей у автостанции неторопливо вырывается пустой, ярко освещенный внутри автобус. Соня скрутила в руку ремешок сумки, чтоб не мешалась, и побежала...

Олег РЯБОВ

ЯГОДКА, ВИШЕНКА, СУШЁНАЯ ГРУША

– Встречаемся в крепости. Кто сдал, кто не сдал – после зачёта все в крепость! – объявил Володя Носатый, староста группы, выйдя из аудитории.

Крепостью студенты политехнического института называли остатки старинного складского или подсобного помещения, принадлежавшего когда-то до революции Курбатовскому заводу. Институт стоял на Верхней набережной, а прямо под Откосом, в зарослях Александровского сада, почти на берегу Волги, располагались остатки стен непонятного довольно крупного строения, разрушенного и растащенного на кирпичи до самого фундамента. Эти груды битого щебня и остатки мощных фундаментов облюбовали студенты электрофака для своих посиделок. Заросли полыни, чертополоха и крапивы их не смущали, это только добавляло романтичности месту и его необычному рельефу. Усесться можно было и большой компанией около костерка с гитарой и уединиться вдвоём или втроем с бутылочкой винца, чтобы помечтать о будущем. Ещё одной особенностью «крепости» была постоянная относительная чистота: ни окурков, ни пустых пачек, ни бумажек от плавленых сырков. Тут все убирала тётя Катя, уборщица соседнего магазинчика, этакого щиткового ларька, в котором студенты затаривались вином и где продавщица любительскую колбасу для студентов нарезала кубиками. Тёте Кате было делегировано право собирать пустые бутылки за эту важную услугу.

Игорь Грачёв, лаборант с кафедры электрических систем, после окончания техникума успел отслужить в армии и теперь учился на вечернем, а одновременно работал в институте на кафедре. Кроме того, он подрабатывал дежурным электриком в Доме учёных, где регулярно менял перегоревшие лампочки. А будучи человеком общительным и отзывчивым, ещё и помогал по дому профессорам чуть ли не всего института: где проводку поменять, у кого сгоревший мотор у пылесоса перемотать.

Однако по характеру своему Грач, так его звали все в институте и преподаватели и студенты, больше тянулся к студентам, а не к своим сослуживцам. И студенты его любили и считали своим и за весёлый нрав, и за необычную комплекцию – он был очень толстым, – и за то, что Игорь знал наизусть два романа Ильфа и Петрова, Швейка и сотню рассказов О. Генри, которые мог цитировать километрами и всегда к месту.

Особенно Грачёв сдружился с группой электриков, старостой которых был Володя Носатый. На втором курсе он с ними съездил на картошку, а потом ещё и в стройотряд в Коми АССР, где два месяца крыли крышу нового аэропорта. Теперь все студенческие развлечения, которые организовывал Носатый, не обходились без Игоря. Если шли играть в футбол в Печёрский монастырь, где было поле, он вставал в ворота, и долго потом студенты смеялись, вспоминая, как Грач не мог из-за своего большого живота разглядеть и найти мяч, который закатился ему в ноги. В команде КВН он был не только звукооператором, но и капитаном. И конечно, все сборища в крепости не обходились без него.

В крепости-то и случилась с Игорем Грачёвым та беда, которая у южных народов называется «удар», а у нас почти не известна. Грач влюбился. В конце сентября, когда на непродолжительное время снова устанавливается лето, но в воздухе уже повисают осенние паутинки, так приятно сидеть на тетрадке с лекциями со стаканом в руке и болтать о какой-нибудь чепухе: почему Англия так поступила с Францией или почему деканом назначили не профессора, а доцента.

Она появилась не одна: она пришла в крепость со Стелкой, подружкой из параллельного потока, которую Грачев пару раз видел в коридорах между лекциями. Она появилась, как королева, уверенная, что её все знают.

Солнце ещё не зашло и редкими лучами пробивалось сквозь густую листву столетних лип. Но с её появлением Игорю показалось, что всё осветилось в два раза ярче. Волосы, выбеленные перекистью, были убраны в строгое каре, как линейкой обрезанное посреди высокого лба, коротко остриженные сзади, они подчеркивали высокую шею, буквально заправленную в широкую стойку белоснежного ручной вязки тонкого свитера. Маленький курносый нос, капризный рот с верхней вздёрнутой губой, длинные, чуть подкрашенные ресницы и почти чёрные, как спелые вишни, искрящиеся глаза. Вся её изящная фигурка была подчёркнута: серая мини-юбка и длинные ноги в светлых туфельках-лодочках.

Игорь как сидел со стаканом «Агдама» в руке, так и окаменел, и его тяжелая нижняя челюсть медленно опустилась на жирный второй подбородок.

– О, вновь прибывшим – штрафную! – вскочил Володя Носатый с бутылкой в руке.

Ещё несколько ребят поднялись, радостно приветствуя пришедших девчонок. Грачёв тоже поднялся и протянул поразившей его незнакомке стакан.

– Как прикажете вас величать, богиня?

– Хотите, так и величайте – богиня, – ответила незнакомка, принимая стакан, – а вообще меня зовут Викторией Грушницкой. Для друзей – Вика, а для очень близких – Ягодка. Знаете клубнику – викторию, такую садовую ягоду.

Она, цедя, медленно выпила стакан «Агдама» и отдала стакан Игорю. Тут же кто-то протянул ей яблоко. Она откусила и, уже откусанное, не глядя, протянула и вернула в ту же руку, что ей только что услужила.

– Такие шикарные девушки должны ходить в самые шикарные места, где звучит шикарная музыка и пропасть шикарной публики, – промолвил с пафосом Грачев.

– Не помню – из «Двенадцати стульев» это или О. Генри, только пошлятина ужасная. Для недоумков, – парировала Вика.

– Девчонки, устраивайтесь поудобнее, – обратился к пришедшим Носатый и указал на широкую и длинную дубовую половицу, намертво замурованную в древнюю кирпичную кладку, – на этой половице ещё купцы первой гильдии кадрили отплясывали.

– А сейчас Перфишка и Дима Яворский с физфака придут с гитарами, попоём, – заметил кто-то из ребят, освобождая место для девушек.

– Опять будут петь про девушку из Нагасаки с маленькой грудью и про то, как по ночной Москве идёт девчонка? Эту пошлятину? Ну уж нет! Мы со Стеллочкой лучше в филармонию пойдём. Там сегодня Гусман со своей командой будут представлять новую симфонию Пендеревского. Эта четвертьтоновая музыка совершенно непонятное явление: с первого взгляда – какофония, а общее впечатление остается. Надо разобраться, в чём тут дело.

Вика протянула Стеллочке руку и чуть ли не стащила её со скамьи, на которой та только что устроилась. Девчонки пошли по тропинке между зарослями дикого терновника к аллее, ведущей к памятнику Чкалову, а Грач посмотрел на Володю Носатого и спросил:

– Кто это?

– Это? Даже не мечтай!

– Что это?

– Это ещё та штучка. Папа её – то ли дипломат, то ли разведчик, работает за границей. Она его не видела уже десять лет. Школу кончала в Москве, а здесь живёт у тётки. Она на первом курсе брала академ, два года сидела, а вот теперь на третьем второй год. Поступала на радиофак, а теперь перевелась на электро. Зачем – непонятно, но где-то у неё очень волосатая рука. Гуляет она только с преподавателями и доцентами, да и не гуляет, а комбинирует. Всё понял?

– Понял, но она – просто потрясная!

– Ну, если потрясная, то вольному воля. Завтра у нас лабораторка на твоей кафедре, я её притащу.

На следующий день Вика пришла на занятия вместе с Носатым. Но, как только она вошла в аудиторию, тут же подошла к Грачу и объявила:

– Ну вот – явилась к тебе твоя богиня. Показывай все свои богатства, все свои трансформаторы, а то я в них ни бельмеса не смыслю!

При этом Вика взяла Игоря под руку и развернула его так, что, оказавшись перед ехидно улыбающейся девушкой лицом к лицу, он чуть не задохнулся: сквозь приоткрытый рот блестели влажные ровные зубы, а тёмно-вишнёвого цвета глаза, даже сузившись, выбрызгивали опасные искры.

– Сейчас всё сделаем, – сказал Грачёв и понял, что не чувствует ног.

– А ты можешь сам соединить все эти реостаты, осциллографы, колбы, а я буду просто смотреть, потом ты поставишь мне зачёт?

– Ну, зачёты вам будет ставить в зачетную сессию профессор. Это будет ближе к Новому году делать профессор Преображенский Станислав Юрьевич.

– Стасик Преображенский?

– Да.

– Так он не профессор, он – доцент.

– Это не важно.

– Для вас не важно, а для меня важно. Стасик – мой друг.

– Хорошо, я буду делать лабораторку вместе с тобой, но вечером вдвоём идём в кафе.

– В кафе так в кафе, а рестораны я и не люблю.

Вечером Грач встречал Вику на Лыковой дамбе около кафе «Дружба». Она появилась вовремя и в том же белоснежном свитере, что и в крепость приходила. Только губы её были подведены ярко-алой помадой вместо бледно-розовой и маникюр был такой же боевой.

Усевшись в кафе за столиком, Вика смело положила нога на ногу и обратилась к Игорю:

– А давай я тебя буду звать Грач?

– Давай, а тогда я тебя буду звать Вишенкой.

– А почему Вишенкой?

– Ну, потому что вишенка – это тоже ягодка, и имя твоё начинается на «ви», и главное, что глаза твои черные, как спелые вишни.

– А-а, ну тогда зови. Только недолго.

– Что – недолго?

– Недолго зови, – ответила Вика и засмеялась, а потом уже серьёзно, даже грустно, даже скорее печально и тихо попросила: – Прикури мне сигарету.

– А я не знаю, можно ли тут курить?

– Конечно, можно! Это же кафе. В ресторане можно, а кафе более демократичное заведение, – и, повернувшись к официанту, который был старше её лет на двадцать, не громко, но очень чётко произнесла: – Мальчик, подай нам пепельницу и сигареты.

Официант, сделав немыслимый пируэт вполоборота, чуть ли не из кармана вынул пепельницу и пачку «БТ» со спичками.

– Что ещё будете заказывать? – спросил он.

Грачёв на секунду замешкался, но тут же выпалил:

– Бутылку шампанского, два мясных салата и два компота из персиков.

– Всё?

– Пока всё.

– Окей. Через минуту будет.

– Окей – означает ол квесчен, – произнесла Вика.

– Что? – спросил официант.

– Это значит – все вопросы решены, – улыбнулась Вика ему очаровывающее, сощуриив глазки.

– Понял, – вскрикнул тот и посеменил в буфет, выписывая ногами какие-то кренделя.

Игорь открыл пачку с сигаретами и протянул её Вике, но та сморщила свой носик.

– Грач, это дурной тон. Я же сказала – прикури мне. Ещё могу сразу сказать тебе, что дурной тон – стряхивать пепел в пепельни-

цу, он должен падать на пиджак, брюки или на пол, и ещё дурной тон – давить и тушить в пепельнице сигаретные бычки. Пепельница существует для того, чтобы туда класть сигарету или папиросу, и она сама должна там догореть или затухнуть. Это мне говорила моя бабушка, старая дворянка и смолянка, она сама курила до восьмидесяти лет.

– Понял. Буду учиться.

– Да уж. Давай-ка я буду тебя немножко воспитывать. Вчера Стастика Преображенского в «Театральном» кафе учила, сегодня буду тебя. А о чём мы с тобой будем говорить? Ты хоть книги-то читаешь какие?

Игорь обрадовался – тут он считал себя в родной стихии: мало того что он читал километрами, так он ещё умел цитировать к месту целые куски.

– Ну, конечно, – скромно ответил он, – сейчас перечитываю Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», а до этого Василия Аксёнова читал.

– Фу, папа Хем – это солдафон и мужик, его только солдатам в казарме вслух читать, а Аксёнов – для студентов и старшеклассников, все эти «Апельсины из Марокко» да «Звёздный билет». А Сэлинджера читаешь?

– Ну, если Аксёнов для старшеклассников, то Сэлинджер – вообще для мальчиков.

– Согласна, для мальчиков, но для каких нежных. Ещё я сейчас Кафку читаю, это так вкусно, будто сочное мясо ешь, жуёшь горячий шашлык, чуть-чуть не прожаренный. А вот Джойса пыталась читать, так меня чуть не стошнило. Его у нас не печатали, так я пошла в Ленинскую библиотеку и взяла там журнал «Интернациональная литература». Там до войны печатались отрывки из «Улисса». Как только я прочитала, что у мистера Блума оставался на нёбе привкус мочи после того, как он съедал баранью почку, так сразу поняла, что это не моё. Сейчас мне дали книжечку Люси Фор «Весёлые ребята». Слышал про таких – хиппи? Две буквы: «эйч» и «пи». Знаешь, что это?

– Ну, «эйч» и «пи» – это «хьюлетт паккард», американская фирма, которая выпускает радиоэлектронные приборы, лучшие в мире.

– Нет, хиппи – это «хеппи пипл», весёлые ребята.

К Новому году Грачёв похудел на десять килограммов. Не то чтобы он к этому стремился, даже наоборот, потому что не стройнее или элегантнее он стал, а просто осунулся и посерел. Вика

умело дозировала их встречи и контакты: в институте она очень холодно, даже высокомерно с Игорем здоровалась, так холодно, что он даже начинал волноваться, не обидел ли её чем. То вдруг неожиданно приходила к нему в лабораторию и, широко раскрыв глаза и улыбаясь всем ртом, говорила заговорщицки:

– Грачик, помоги мне.

– Что случилось? Как помочь?

– Проводи меня сегодня вечером.

– Куда?

– Давай в шесть встретимся около драмтеатра, я тебе всё объясню.

В шесть она брала его под ручку и, даже прижимаясь к нему, шептала:

— У меня сейчас свидание с одним мужчиной. А я боюсь! Ты проводи меня и постой в стороне, будто меня не знаешь, а я тебе потом всё объясню.

Игорь как дурак провожал её до фонтана на площади Минина и оставался стоять на автобусной остановке, а Вика, высоко задрав свою аккуратную головку, шла к незнакомому мужчине, брала его под ручку, целовала в губы, и они куда-то уходили. Грачёв бродил по улицам, возвращался домой и, не разговаривая с родителями, проходил в свою комнату. Телефон, который стоял у него под рукой, звонил уже за полночь.

– Грачик, ты гимн слушал?

Игорь молчал.

– Грачик, ты отвечай быстро – я тоже спать хочу.

– Нет, не слушал.

– Грачик, ты обиделся? Если обиделся, то прости. Говори – простил или нет? Говори быстро – от этого зависит наша с тобой судьба.

– Простил уже, – бормотал Игорь, и Вика клала трубку.

В другой раз она пригласила Грачёва к себе домой.

– Тётки не будет, приходи утром, у меня к тебе будет интимная просьба.

– Что за просьба? – не понял Игорь.

– Приходи утром, я тебе всё объясню. Только захвати все эти свои кусачки и дрели – мне надо новую розетку поставить.

– А при чём тут тётка?

– Приходи, глупый.

Игорь явился не то чтобы с самого утра, а в самый раз. Вика только что вышла из душа, у неё ещё были мокрые волосы, ни-

какого макияжа и легкомысленный халатик, под которым ничего, кроме свежести.

– Вот и хорошо, – улыбнулась она. – Смотри: мне нужна розетка вот тут, около зеркала, чтобы фен втыкать, а то я за шнур всё время запинаясь. Протяни мне провод по плинтусу. Ты всё захватил, чтобы сделать?

– Да, захватил, – отвечал Грачёв, пожирая Вику глазами.

Неухоженная, она казалась ещё замечательнее.

– Не смотри на меня так. Ничего интересного там нет. Поверь мне. Я могу тебе показать, но ты разочаруешься. Считай, что ты моя подруга. Давай работай, а я пока приведу себя в порядок. А потом я тебя отблагодарю – поцелую.

Игорь ползал на коленях с полчаса, возясь с новой проводкой и ставя розетку на уровне пола. Вика тем временем занималась чем-то своим, потом подошла к нему и строго заявила:

– Ну всё, пора.

Грачёв поднял голову, а Вика, смешно взяв за уши, притянула его лицо и поцеловала в глаз.

– Фу, вот дура, не той помадой накрасилась. Всего тебя измазала. Вставай, я тебя вытру.

Грачёв поднялся, обнял Вику за талию и притянул её к себе. Вика опустила руки, расслабилась и стала не просто податливой, а какой-то вялой. Под халатиком у неё по-прежнему ничего не было, Игорь чувствовал это. И пахло от неё чем-то нежным и свежим.

– Ну чего ты хочешь, зачем тебе это надо. Ты просто хочешь меня обнять, прижать, спасти? А как тебе мой новый аромат? Это абрикос. Я первый раз его пробую. Мужикам должно нравиться. Как ты думаешь?

И тут Грачёву стало так обидно, как никогда с детства не было. Да и в детстве-то он не помнил, отчего ему так могло быть обидно.

– Всё, пойдем, нам пора, – повторила Вика.

– Куда пора?

– Как куда? В институт. Мне учиться, а тебе работать. Ты же хочешь, чтобы я училась? Скоро сессия, а я ещё не знаю, какие у нас будут экзамены.

Зимнюю сессию Вика сдала, точнее, не сдала, а прошла. Прошла вместе с Игорем Грачёвым. Перед каждым экзаменом Грачёв брал свою пассию за руку и шёл с ней к очередному преподавателю на кафедру, выбирая удобное время. Краснея, он просил: «Профессор, помогите мне: это моя протеежка, она очень волнуется и не очень

хорошо знает предмет, помогите ей!» Профессор удивлённо смотрел на Игоря и не мог ему отказать, потому что Грачёва знали все как самого безотказного человека в институте. «Пусть приходит в конце», – говорил профессор, и Вика получала очередной «уд». «Ушла довольная», – смеялась она после таких экзаменов, и они отправлялись с Грачиком в кафе.

Игорь продолжал худеть, и теперь на его лице вместо беззаботной весёлости постоянно блуждала тревога и неуверенность. Он на всю свою оставшуюся жизнь запомнил 12 апреля, день рождения Вики, которое они отмечали в кафе «Бригантина». Грачёв подарил Вике небольшой букетик синих пушистых подснежников, которые лежали на столике, пока они пили теплое красное сухое вино. Уходя, Вика собрала и проверила свою сумочку, повертела в руках букетик и положила его назад на столик. Они ушли. Застёгивая перед выходом плащ, Игорь обернулся и увидел этот печальный одинокий букетик, который вдруг стал никому не нужен.

Летняя сессия стала вершиной и точкой в их печальных взаимоотношениях, если можно так назвать всю неразбериху встреч, слов, поступков и непоступков, которые тянулись уже больше чем полгода. Вика получила два «неуда», и было очевидно, что экзамен Станиславу Юрьевичу Преображенскому она не сдаст ни при каких условиях, и это будет финал.

На экзамен она не явилась. Отпустив всех студентов, Преображенский попросил Грачёва:

– Игорь, я что-то устал – не трудно будет тебе занести экзаменационную ведомость в деканат. Тут все оценки проставлены, трое не явились. А я пойду домой.

– Хорошо, Станислав Юрьевич, я всё сделаю, – ответил Грач.

Вику он увидел в коридоре. Она одиноко стояла у окна и смотрела на беленький пароходик, бегущий по Волге. Видимо, это была судьба.

– Вика, Вишенка, ты что тут стоишь?

– Думаю, что я такое сделала неправильное со Стасиком, что он мне экзамен не проставил. Завтра ведь жалеть будет, а поздно – ведомость уже сдана.

– Нет, ведомость – вот она, – и Игорь потряс ведомостью, – и твоя фамилия тут есть, и мы сейчас её заполним. Я тебе троечку поставлю. Давай ручку и зачётку, я всё заполню. А осенью ты два экзамена пересдашь. Вот и все проблемы на сегодняшний день решены.

Игоря Грачёва вызвали в деканат через неделю. Декан, профессор Лузин и Стас Преображенский ждали его в кабинете и долго молчали, даже когда Игорь уселся на указанный ему стул.

– Что же ты наделал, Грачёв? – спросил декан.

– Не знаю, – тупо ответил Игорь.

– Доцент Преображенский больше не хочет с тобой работать.

– Я знаю.

– Пиши заявление по собственному желанию, а что делать с твоей учёбой, я не знаю. Ты ведь уже на пятом курсе вечернего?

Грачёв молчал.

– Давай пиши. А потом – останешься, поговорим.

Вика ждала Игоря напротив института. Она вышла к нему из тени огромной липы, которая уже цвела и оглушительно пахла, как только он поравнялся с ней

– Ну и что с тобой?

– Ничего, написал заявление по собственному желанию.

– И куда ты теперь?

– Не знаю.

– А я знаю. Через неделю в Сочи открывается фестиваль «Красные гвоздики». Поедем в Сочи. Туда прилетит на этот фестиваль Чеслав Неман. Я как раз вчера купила его двойной альбом «Чеслав Неман энигматик», мне мальчишки из «Мелодии» оставили. Сейчас пойдём слушать. А завтра покупай билеты до Минвод. Должна же я тебе как-то компенсировать тебе твои потери.

Билеты Грачёв купил. Только в Сочи не полетел – Вика улетела туда раньше на один день с ребятами из магазина «Мелодия». И вообще Игорь Грачёв больше не видел с тех пор Вику много-много лет. Даже удивительно, как люди встречаются, чуть ли не каждый день в течение долгого времени, а потом – как разрыв, как забвение, а ведь живут по-прежнему в одном городе, ходят по тем же улицам.

Владимир Иванович Носатый зашел в кабинет к Игорю Ивановичу Грачёву, проректору по АХЧ, чтобы засвидетельствовать своё внимание. Они сразу узнали друг друга: есть люди, которые внешне изменяясь, сохраняют своё радушие и открытость, а они и являются их сущностью, и эти качества всегда выражены на их лицах, и по ним всегда можно узнать этих людей.

– Игорь Иванович, мы с вами снова вместе будем работать!

– Вовка, ты откуда?

– От верблюда.

– Садись, рассказывай.

– Тридцать лет в органах: КГБ, ФСБ. Полковник. Сейчас на пенсию вышел. Буду работать у вас в институте в спецотделе. Про тебя всё знаю – не распространяйся.

– М-да, ФСБ! Даже не знаю, что спросить.

– Спрашивай всё, что хочешь, – на все вопросы отвечу, даже на те, на которые нельзя. Нет! Лучше ты мне ответь: а что произошло с той девчонкой, в которую ты тогда втюрился – забыл, как зовут, – и из-за которой у тебя чуть ли не всё прахом пошло. У тебя ведь были какие-то личные проблемы!

– А-а, была такая: Вика Грушницкая. Я даже не знаю, где она и что с ней. С тех пор и не видел.

– А что, до сих пор тянет?

– Нет. Ну, в принципе-то, интересно было бы на неё посмотреть. Только я не знаю, где она живёт.

– Ну, это мы сейчас узнаем. Дай-ка мне трубочку. Как её имя-отчество?

Носатый набрал какой-то номер и уже через минуту диктовал:

– Грушницкая Виктория Александровна... Пиши телефон, – обратился он к Грачёву.

Голос Грачёв узнал сразу: с голосом ничего не случается

– Виктория Александровна?

– Слушаю вас, Игорь Иванович.

– Вика, как ты? Я хочу с тобой встретиться.

– Зачем?

– Не знаю.

– Игорь, этого делать нельзя! Этого делать не надо.

– Почему? Я хочу с тобой встретиться.

– Ты ничуть не изменился и собираешься сделать очередную глупость. Я про тебя всё знаю, я тобой горжусь. Хотя какое право я имею тобой гордиться. Ну, горжусь, как любой человек в этом городе гордится, что рядом живут хорошие, красивые, сильные люди. Поверь мне, что этого делать не надо. Пусть всё останется, как есть, – в прошлом.

– Вика, я тебя сегодня жду на скамеечке в шесть вечера около кафе «Чайка», или «Гардиния», или как там оно сейчас называется, не знаю.

Грачёв сидел на скамеечке в ожидании встречи и очень почему-то волновался. Он был не толстый, но очень крупный, солидный и уверенный в себе человек под шестьдесят.

Когда к нему подошла сухонькая, маленькая пожилая женщина, Игорь Иванович даже не понял, что это недоразумение и есть его Вика, Вишенка. И до него сразу дошло – что хотела сказать и что говорила по телефону ему эта женщина, которая оставалась для него недостижимой мечтой в течение тридцати лет. Грачёв встал и протянул ей огромную красную разу величиной с полулитровый заварной чайник на толстом длинном черенке.

– Вика, это – тебе! Я так рад.

– Зачем ты врешь? И опять эти дрова! Ты, надеюсь, теперь понял, что встречаться не надо было, – и она улыбнулась ему той не похожей ни на чью улыбкой. Только губы её вытянулись в незаметную тонкую ниточку, а сощурившиеся глаза нарисовали сеточку морщин у глаз. Правда, глаза остались такими же чёрными и искрящимися. Но остальное лицо было похоже на коричневую сушеную грушу, вынутую из компота.

– Нет, надо было. Расскажи мне о себе.

– О-о, это скучно. Сажу с тремя кошками, вяжу кофточки племяшкам, развожу тюльпаны и георгины у себя на участке. Вот и всё.

– А личная жизнь?

– Нет, замужем я не была.

– Вика, скажи: а что же это было, тогда, тридцать лет назад?

– Тогда? Тридцать лет назад? А это был кастинг. Теперь это так называется. Просто кастинг.

– И я его не прошёл?

– Нет, ты кастинг прошёл, Игорь Иванович. Кастинг не прошла я.

ЛЕНОЧКА

1

Был тёплый майский вечер. Я возвращался с вальдшнепиной тяги к себе домой, в свой охотничий домик, как я его называл. Пятнадцать выстрелов и четыре длинноносых трофея – неплохой результат за сорок минут этой по-настоящему спортивной охоты. На завтра можно будет приготовить правильную охотничью шулёмку.

Я приобрёл этот дом несколько лет назад совершенно случайно – планов покупать дом в деревне не было. Однажды с двумя товарищами возвращались из дальней поездки домой. Неожиданно один из моих спутников, профессор Николай, заметил, что мы проезжаем мимо деревни Асташиха, где живёт старик-мастер, работающий лодки-великовражки.

Меня это очень удивило и порадовало: за сотни километров от Великого Врага, красивейшего волжского села, знаменитого на всю Среднюю Волгу своими лодками, здесь, на Ветлуге, сохранился уникальный и почти забытый народный промысел.

Конструкция корпуса этого судна совершенно замечательна: лодка практически непереворачиваема, хорошо ведёт себя при средней волне и легка на вёслах. Я это знал от своего близкого родственника, кораблестроителя, специалиста по судовым двигателям. Она хорошо шла под трёх- и пятисильными подвесными моторами. Но когда пришла эпоха двадцати- и тридцатисильных «Вихрей» и «Нептунов», спрос на уникальную русскую лодку стал катастрофически падать, пока не пришёл к нулевому финалу.

Мы проехали вдоль всего села и почти у самого берега реки, около заброшенной лесопилки, остановились. Рядом с палисадником, окружавшим небольшую избу, на брёвнах, свежеспросмолённая и покрашенная стояла готовая к спуску небольшая носастая великовражка. Во дворе рёбрами шпангоутов белела ещё одна будущая посудина. Хозяина дома не было – пообщаться не удалось.

Мы пешочком спустились к реке и закурили, глядя на осеннюю холодную воду, струящуюся вдоль песчаных кос и нависших вековых сосен. Какой-то международной экологической организацией

при ЮНЕСКО Ветлуга недавно была признана самой чистой рекой Европы – был повод полюбоваться.

Внезапно пониже нас, метрах в десяти, сквозь прогал в кустах тальника на берег вышел мужчина, одетый в старый длинный брезентовый плащ, из под которого виднелись резиновые сапоги, на голове – кепка. Неодобрительно посмотрев в нашу сторону, он стал не торопясь и обстоятельно налаживать свою снасть: удочку, какими, по моему разумению, пользовались деревенские ребяташки лет пятьдесят назад, – удилище из длинного прута ивы и поплавки из пенопласта, проткнутого спичкой.

Мужчина что-то насадил на крючок и закинул его в воду, через мгновение поплавок качнулся и утонул. Рыбак подсёк, но неудачно. Он снова старательно поколдовал с крючком и во второй раз закинул его в воду, течение здесь было изрядным. И снова, через пару секунд, поплавок утонул. На этот раз попытка была удачной – рыбак снял с крючка приличных размеров красивую рыбку. Это был язь на полкило как минимум.

Мы очумело смотрели на этот цирк и не могли поверить своим глазам. Тем временем рыбак засунул рыбку в карман брезентового мешковатого плаща, аккуратно свернул свою снасть и направился по тропинке в сторону деревни.

– Мужики, что это было? – обратился я к спутникам.

– Не знаю, – откликнулся мой хороший товарищ Михаил, который и за грибами-то ездил в костюме и галстук, – по мне, так это было больше похоже на постановочное кино, да и то с несколькими дублями.

– Мужики, я хочу здесь жить.

– Да не вопрос, – сказал профессор Николай, – глава Воскресенского район мой хороший знакомый, я поговорю с ним. Тем более он тебя знает. В деревне половина домов заколочены и хозяева в городе или вообще их уже нет. Подберёт он тебе что-нибудь недорогое и приличное, чтобы без особых затрат.

Так я стал владельцем крепкой деревенской избы с большой русской печкой, куда приезжал с десяток раз в году с семьёй или друзьями, чтобы попользоваться охотничьими или рыбными угодами. Ну и, конечно, лесом.

Почти одновременно со мной хозяином соседнего участка с полуразвалившимся от старости пятистенком стал «новый русский» Володя. Ему было лет тридцать пять. Он сразу снёс избу, сделал бульдозером планировку всего участка, оставив с десяток старых

яблонь, и огородился глухим профильным, но не высоким, забором. Ровно через год на участке уже стоял красивый огромный двухэтажный бревенчатый особняк с верандой, выходящей в сад. В саду были разбиты цветники и проложены бетонные дорожки. Хозяйкой всего этого дворца стала Леночка, тёща «нового русского», красивая миловидная крупная женщина лет шестидесяти.

Она была очень общительна, дружелюбна и благожелательна ко всем, и звали её все в деревне просто Леночка: десятилетние ребята с ехидцей, тридцатилетние бабы – уважительно, а шестидесятилетние – панибратски. Она жила в деревне с первого мая по «ноябрьские», и в течение всего сезона у неё были гости: друзья, подруги с детьми, внуками, да и своих детей и внуков у неё было предостаточно. Но сезон начинала она всегда одна.

Возвращаюсь к началу моего рассказа. Поднявшись на крылечко своего домика с ружьём за плечом и с полиэтиленовым пакетом, в котором лежали мои трофеи, я увидел, что Леночка сидит в кресле-качалке на своей веранде, освещённой разноцветными китайскими фонариками, и плачет. Майский вечер был удивительно тихим и тёплым, она сидела, укутанная пледом, с книжкой в руках и тихонько выла.

– Леночка, что с вами? – спросил я у неё. – Почему вы плачете? Может, я могу чем-то вам помочь?

– Нет-нет! Спасибо. Всё хорошо. Я плачу, потому что у меня есть своя деревня.

– В смысле?

– А вот вы зайдёте ко мне сегодня на вечерний чай, как иногда заходите, и я вам расскажу.

2

Леночка родилась и прожила всё своё раннее детство в большом «профессорском» доме на главной, как она считала, улице города, на Набережной. Из окон его были видны заволжские просторы и тайга, которая тянулась до самого Полярного круга. Она была маленькой и худенькой девочкой: ручки и ножки как спичечки, косички как мышинные хвостики, а глаза огромные и напуганные. Все говорили, что Леночка будет балериной, а маме этого не хотелось, и она кормила дочку с ложки даже, когда та уже училась в школе.

Папа Леночкин был преподавателем в институте, он перебрался в этот город из блокадного Ленинграда, где после войны у него не

осталось никого и ничего, а мама была коренной горожанкой и с презрением относилась ко всему деревенскому. Жили они втроем с подселением в одной квартире с вдовой профессора Картова. Почти все остальные квартиры дома были отдельными, жили в них настоящие профессора, и Леночкиными друзьями были их дети, к которым она ходила в гости поиграть и посмотреть диафильмы.

У профессора Линкера был сын Олег. У Олега была американская игрушечная железная дорога, и в рабочем виде она занимала всю огромную детскую. А статья про самого профессора Линкера размещалась не только в Большой Советской Энциклопедии, но и в Британской.

У Леры Кудрявцевой была большая германская кукла с настоящими волосами, фарфоровой головой и с закрывающимися глазами. Лерин дедушка был царским офицером, и он был в австрийском плену. В плену он сидел вместе со своим денщиком, который ему и там прислуживал. Дедушке как пленному офицеру полагались деньги от Красного Креста и разрешалось ходить в город. Вот он и купил там эту куклу своей дочке, будущей Лериной маме.

У Завеке, профессора-биолога, в мастерской стояла настоящая паровая машина, которая работала от спиртовки и свистела. А у профессора Кубачинского... да по Волге ходил теплоход «Профессор Кубачинский»!

У Сонечки Колачёвой, дочери известного всему городу адвоката с большой окладистой бородой, устраивались новогодние ёлки. У них в главной комнате ставились не одна ёлка, как у всех, а две: одна красовалась прямо на полированной крышке огромного рояля, а другая в центре зала. Дети приходили, наряженные в маскарадные костюмы, играли в фанты и в шарady, читали у ёлки, стоя на стуле, стихи, а потом приходил настоящий, большой, под два метра, Дед Мороз (дядя Лёля, директор завода Цырин), и все получали подарки с конфетами, мандаринами и золотыми медалями-шоколадками.

Во дворе дома был большой цветник, а ещё фонтан со скульптурой то ли Черномора, то ли Ильи Муромца. Профессорские жёны по вечерам выходили к фонтану, чтобы похвастаться новыми нарядами.

Летом все ездили на дачи в Зелёный Город. Там большими компаниями ходили в лес за грибами, за ягодами, купаться на речку Кудьму, играли в волейбол, настольный теннис и крокет. А по вечерам пили чай у самоваров и пели под гитары.

Потом Леночкин папа стал профессором, и ему дали отдельную квартиру в новом доме на улице Звездинке, прямо рядом с Домом связи. Это тоже был центр города, даже, может быть поцентрее, чем раньше. И на одной лестничной клетке с Леночкой теперь жил профессор Тихонов. Его знали все, потому что он помогал писать докторскую диссертацию самому ректору политехнического института Турову.

Пришлось Леночке во втором классе переходить в другую школу, где у неё не было ни одной подруги. Эта школа располагалась в старом деревянном здании, рядом с домом, и Леночка бегала туда сама без провожатых.

Главной в новом Леночкином классе была Лида Кузьмина, потому что её мама работала парикмахершей. Парикмахерская стояла на одной улице со школой, и, когда открывалась дверь в это заведение, оттуда выплывало такое благоухание, что прохожие замирали на месте. Леночкин папа тоже тут стригся, а иногда Кузьмина и брила его острейшей опасной бритвой «золинген», которую её муж привёз с войны. После бритья папа всегда освежался одеколоном «Шипр», а не каким-то там «Кара-Нова» или «Тройным».

Родители остальных ребят из Леночкиного класса были дворниками, уборщицами и жили очень бедно. В бараках и в старых допотопных деревянных домах, которыми был густо застроен район, жили не просто в перенаселённых коммуналках и на чердаках, но и в подвалах. И, когда по весне эти подвалы затапливало, плавали там в лужах доски, поднятые с земляных полов талой водой, и вытаскивался жильцами во дворы нехитрый дешёвый скарб для просушки. Много свежей рабочей силы требовалось городу после войны, и люди ехали из деревень в поисках лучшей жизни и устраивались пока кое-как.

Класс Леночкин был очень дружным и весёлым: зимой все вместе собирались и катались на санках и лыжах с горы по Решетниковской улице, строили снежные крепости и лепили снежных баб, а потом расстреливали их снежками. И в Леночкином дворе оказалось много ребят её возраста, с которыми тоже было интересно играть. Дворовая и уличная жизнь здесь просто процветала.

Леночка постепенно сдружилась со всеми одноклассниками, а с Лидой Кузьминой они часто вместе делали уроки у Леночки дома, а потом вместе играли её куклами.

Приближалось очередное лето. У Леночкиного папы было много работы, и он не знал, что у него получится с отпуском. В клас-

се все готовились к каникулам. Мальчишки собирались рыбачить и огородничать, девочки – купаться и помогать бабушкам, но все ехали к себе, в свои деревни. В классе только и было разговоров об этом: кто куда поедет. Но всё сводилось к деревне

– У нас речка Серёжа, это самая красивая река в мире.

– Да, ты не видел нашу речку Пижму.

– Пижма! Что это за река такая? Пижама какая-то. Ха-ха!

– Всё равно наша Пьяна лучше. Она, когда разливается, шире Волги – берегов не видно.

Леночка во время этих разговоров отходила в сторонку и стояла одна-одинёшенька.

– А ты куда поедешь летом? – спросила Лида Кузьмина у Леночки.

– Не знаю, – ответила та. – А ты?

– Я? В свою деревню. А ты?

– А у меня нет своей деревни, – ответила Леночка и заплакала..

Иван ЧУРКИН, *Саров*

ФЕДЮНЬКИНА ПОТАЁНКА

В трех верстах от Саровского монастыря жил-поживал Федюнька Звонарёв. Лет девять ему было. Весело жил, беззаботно. Его курносый носик то из речки в июльский полдень выглядывал, то из цветущей картофельной ботвы торчал, а зимой краснел на снежной горке.

Баловнем рос, потому как отцу-матери не послал больше Бог детей, а Федюньке братьев да сестёр. Вот и не жили его в доме, делами не загружали.

Хоть и баловали Федюньку, отца с матерью он слушался, всегда готов им подсобить в делах. От его помощи чаще отмахивались, а он всё равно в огороде грядки полонил, из колодца водицу черпал, кур кормил. А как же – большой Федюнька, мужичок растёт, крепышок эдакий.

Позднее всех домашних спать ложился и раньше всех вставал, а тут проспал. Целую неделю, как только услышал, что отец с мужиками едет в извоз в Москву, канючил: возьми да возьми, совсем-совсем мешаться не буду. И выпросил: согласились родители. Что ж, пусть едет, помехой не станет.

Федюнька успел и весть по товарищам разнести, и отцу лошадь подержать, пока ту подковывали, и свежего сена приготовить, чтобы сиделось на дрогах помягче. Перед поездкой рано лёг, долго крутился, всё заснуть никак не мог, а всё-таки проспал.

– Взаправду, что ли, тятя готов?

– Куда ты собрался, буйная твоя головушка? Виданное ли дело за тысячу вёрст отправиться. И мы хороши, отпустили, – откликнулась матушка.

Федюнька ржаную лепёшку уминает, вкусно так молоком прихлёбывает, а одна нога уже на пороге.

– Или охота тебе на белый свет взглянуть?

– Ужас как охота, – с лавки вскочил и на волю вылетел. – Тятя, скоро ли?

– Хотел уж один в дорогу, да спожалился – негоже обманом со двора уезжать, – отец под уздцы подхватил лошадку. – Ну что, с матерью попросаемся?

А мать на крыльчке стоит, мокрит глаза и крестит мужиков:

– Ты Федюньку стереги.

– Не впервой, чего тут. Запрыгивай на дроги, или пойдешь пока?

– Пойду, – Федюнька ещё раз оборотился на матушку, махнул ей рукой и зашагал подле отца. Отец лошадь под уздцы ведёт, а Федюнька старается отцовский шаг не нарушить.

– Ты чего же мне не скажешь, почто тебя монахи в Москву позвали?

– Да и сам в толк не возьму. То ли груз из монастыря в первопрестольную отвезти, то ли оттуда привезти.

За разговорами и не заметили, как на большак монастырский выехали.

Дорога хоть и колеями изрезана, а ровная пошла, травянистая. Справа березы, слева березы и теней ещё не бросают. Только кое-где в косах вплели желтоватые ленточки.

– Неужто мы долго в Москве пробудем? – Федюнька спросил радостно.

– До неё ещё добраться нужно.

Монастырская дорога Федюньке была знакома, сколько раз он по ней вышагивал то с матерью, то с бабушкой. И короткая совсем, рукой подать от деревни, а всё равно уставал. На лошадке легче.

В монастыре монахи уже подвод дожидались. Видит Федюнька, как они с отцом, мужиками другими поздоровались. Слышит Федюнька, как полушёпотом переговариваются между собой. Извозчики в кельи прошли, оттуда узлы вынесли и на дроги стали пристраивать.

– Подсобить? – Федюнька ухватил узел, напрягся. – Тяжеленный какой.

– С нами, что ли? – любопытствовал монах. – Выдюжишь?

– Я терпеливый, – и ладненько уголок узла подтолкнул на дрожки.

Лошадь фыркала и упиралась, она ни разу на речной паром не ступала, а тот ещё покачивался на волнах, скрипел.

– Федюнька, ты чего же в сторонке стоишь? Бери под уздцы, конь и приутихнет, – отец вожжи натянул.

– Так боязно, тять.

– Если не ты, кто же мне поможет?

Мальчуган подхватил уздечку и шагнул на раскачивающийся паром, следом за ним переступила с берега на дощатый настил лошадь.

– Ну, что я говорил? – радостно прокричал отец. – Но, но, милая.

Только на левом берегу Оки Федюнька успокоился. А как не переживать – первый раз оказался посреди широкой водной глади.

Паром причалил к пристани. Перед ними песчаная дорога, а к ней жмутся рядом низенькие домики с огородами.

– Карачарово это, – обернулся на Федюньку монах. – Вот сейчас проедем чуток и возле дома Гуциных передохнём. Сказывают, на этом месте Илья-богатырь жил.

Как хотелось узнать Федюньке о богатыре, да как спросишь – чужой человек, не батюшка. От своих приятелей, что постарше, слышал про богатырей, но только мало верил им, а тут вон какой здоровый говорит, да монах ещё, точно сказок не сочиняет.

Пока двигались к дому Гуциных, много Федюнька об Илье Муромце услышал. Каким сильным был, каким бесстрашным слыл среди врагов, как стольный Киев-град от беды спасал.

– Теперь нет таких? – воскликнул Федюнька.

– Как нет? С Наполеоном вот нынче воюют.

– С кем? – не расслышал Федюнька.

– С Наполеоном, пришёл тот с французской стороны войной на нашу землю, злобствует, деревни-города огнём палит, людей наших истребляет. Вот-вот к Москве подойдет.

– Как к Москве? – приоткрыл рот Федюнька.

На привал стали, только не ест, не пьет Федюнька. Как уселся на дроги, как в гору поднялись, как по Мурому ехали – ничего не видел. Первый раз в городе, а будто не интересно ничего. Дома большие, каменные, каких в его деревне нет, мимо пропускает. Храмы красивые, золотом разукрашенные, – и те взгляд не задерживают.

– Ты чего же молчишь, не захворал? – приобнял его отец.

– Это как же мы с тобой в Москву едем, ежели там война?

Федюнька испуганно взглянул на отца, а потом на монаха, что про французов рассказал да про Илью Муромца.

– А ты не думай о плохом, никто в Москву чужаков не пустит, – монах дорогу перекрестил и на поклажу облокотился. – Господь с нами.

А Москва-то и взаправду преогромная. Куда ни кинет взгляд Федюнька, кругом дома большие да народу несчетно. Нарядного, оборванного, все бегут-горопятся.

По широкой мостовой едет обоз нижегородский, а на него никто и внимания не обращает. Сколько телег выстроилось – не сосчитать Федюньке, к ним на владимирском большаке ещё из Нижнего Новгорода извозчики примкнули.

– Так что же это, тять, мы в Москву, а все из Москвы? – крутит головой Федюнька.

– Да как понять – не знаю, – отвечает ему отец.

Монах с телеги прыгнул, к булочнику подбежал. Тот ему связку баранок на плечо накинул и всё долго рукой в правую сторону показывал.

– К Новодевичью сворачивай, – прокричал монах, и обоз цепочкой повернул туда, куда булочник указывал.

Только повернули, как зацокали копыта лошадей, а на них военные. Нарядные, золочёные сабли в закате поблёскивают.

– Гусары это, видно, прямо отсюда да на поле бранное, – монах отцу рассказывает. Слышит всё Федюнька, а страха нет. Уж так ему по сердцу красивые всадники!

Поравнялся с Федюнькой один, пальцы к виску приложил да громко, что все обернулись, спрашивает:

– Эт куда же ты, малец, пробираешься? Неужто с французом драться?

– Что ты, дяденька, – отвечает Федюнька робко, – я драться не могу.

– А почто же в столицу едешь? С двух сторон от неё одни вороги. Её сейчас стар и млад защищает. Смотри вон.

Гусар Федюньку подхватил и пристроил впереди себя на седло.

– Видишь?

– Народу-то много, у нас в деревне столько нету.

– Эко, какой нерасторопный, – военный губы надул. – Неужели тебе нипочём пушки с ядрами?

И только теперь взгляд Федюньки выхватил большущую толпу, что катила тяжеленные пушки, кто вручную, кто тягловую.

– Неужто они стрелять будут? Прямо по людям?

Улыбнулся военный, в усы хмыкнул:

– Не по людям, малец, по врагам нашим.

– Это почто же француз к нам войной пришёл?

– Злой человек лютее беса. Слышал про Кощея бессмертного – ему при своём богатстве всё злата-серебра хотелось. Вот и эти кощеями себя возомнили, только шеи мы им свернём. Веришь ли?

Как не верить Федюньке, если он видит, как крепка рука всадника, как прямо, по-богатырски, держится в седле военный.

– Уж не Илья ли ты богатырь? – спрашивает гусара Федюнька.

– Вот дает! – рассмеялся всадник. – Меня Денисом зовут, а для тебя я просто дядя Денис. А богатыри вон пушки тянут, ядра и пищали тульские льют, по деревням собираются вместе. Не сдюжит Наполеошка, сдохнет.

– Так что же, по деревням и бабы, и ребята, что ли, воевать готовятся? – Федюнька пристально смотрит в глаза Дениса.

– А ты как думаешь? Собираются, ведь у них француз землю родную отнимает.

– Вот бы мне с ними! – воскликнул Федюнька и испугался. Показалось ему, что насмешливо военный на него глядит.

– Тебе другое дело дано, вот его и исполняй. Эй, на первом обозе, вправо сворачивай! Вот вам и Новодевичий монастырь, квартируйте, – гусар Федюньку на землю поставил, руку к виску приложил. – А ты расти да не тужи, все хорошо будет. Бог даст – свидимся.

Глядит Федюнька, как конные в ладный ряд выстроились и поскакали в сторону реки.

Только теперь рассмотрел мальчуган белые с красным каменные стены монастыря. Монахи группкой в калитку монастырскую проскочили, а отец с мужиками торбы с овсом с поклаж достали, на лошадиные морды навесили.

– Здесь заночуем? – спрашивает отца Федюнька.

– Отдохнём чуток и в Кремль направимся, – отец от ржаной краюхи ломоть отломил и сынишке протянул. – Поешь пока.

Не слышит ничего Федюнька, хлеб ест и мамку вспоминает. Как она там одна? Поди, истосковалась вся.

А от хлеба и впрямь домом пахнет, матерью.

Не заметил Федюнька, как в ворота монастырские прошёл, как сел на траву-мураву возле широкого крыльца храма.

Интересно как, думает Федюнька, вот совсем недавно дома был, а теперь в Москве. Народу сколько встретил, а в душу запал военный, что подхватил да к себе в седло усадил.

Никак не мог Федюнька знать, что бравый да весёлый военный – знаменитый гусар Денис Давыдов, который страху наводил на французов да героически очищал землю русскую от нашествия врагов.

И уж совсем неведомо Федюньке, что на этом месте, куда ступили сейчас его лапоточки, найдет потом упокоение герой Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года Денис Давыдов.

Ночь глухая на дворе, а народу не спится. На площади Красной то с одного конца, то с другого то и дело раздаётся: «Поберегись!» Конники и пешие, в зипунах и при параде снуют люди.

– Вот тебе что война делает, никому покоя нет, – вздыхает отец. – Не подремал, Федюнька?

А Федюнька глаз не сводит с нарядного собора, что уперся луковицами в тёмное небо. Во все глаза глядит на зубчатые стены Кремля, а как подводы нижегородские подобрались к главному входу, так все, и извозчики, и монахи, и Федюнька вместе с ними, встали на молитву.

Ничего парнишка из монашеских слов не понял, только услышал, как просили они у Спасителя помощи в ратных делах и освобождения Земле Русской.

Въехали подводы за кремлёвскую стену. Монахи с военными, что не отступали от обоза ни на шаг, направились к собору. Таких Федюнька не видел – широкий, с решетчатыми окошками, с тёмными высокими дверями.

– Ты с дрог не слезай, – приказал ему отец. – Не путайся под ногами, неровен час, пропадёшь в суете.

И Федюнька сидел, держал в руках вожжи, кутался в мамин шерстяной платок.

Вот извозчики и монахи из тёмного пространства храма один узел вынесли, второй, третий...

– Да сколько же всего? – сбился со счёта Федюнька. Занимательно ему, что же такое носят к подводам люди. Как ни всматривался, ничего не увидел, а люди, разложив поклажу на подводу, вновь ныряли в тёмный проём храма и вновь выходили из него с ношами.

– Живой ты тут у меня? – подбежал к сыну отец и снова к собору заторопился. Заторопиться-то заторопился, только поклажа его накренилась и грохнулась оземь. Тугой узел растянулся, и посыпались на землю желтоватые комочки – кое-какие побольше, кое-какие поменьше.

Спрыгнул с дрожек Федюнька и ну собирать. Да не комочки это – иконки маленькие, подсвечники, ангелочки с крыльями. Тяжёлые, показалось парнишке.

– Тятя, тятя, – вскричал Федюнька, только на голос его подбежал незнакомый, из ездовых тоже.

– Давай вместе соберём.

Смотрит Федюнька, будто подбирает добро мужичок, только несколько иконок за пазуху себе сунул.

Сказать? Закричать? А ну как прибьёт?

Отец быстренько назад возвратился, он вместе с монахом тяжёлый узел тащил.

– Чего тут у вас? – шепотком спросил отец, и все вместе стали подобранные иконки с подсвечниками в узел запрягивать.

– Да вот бросили неудобно, он и рассыпался, – проговорил задорно незнакомый. – С малым всё подобрали.

– Не всё, – прижался к отцу Федюнька. – Ты, тять, посмотри у него за пазухой.

– Да нет у меня ничего, – взъерепенился мужик. – Что вы этого недомерка слушаете.

Все, кто был поближе, все к ездому подступили. Монах же Федюньку за руку подхватил и увлёк за собой к храму. По ступенькам пробежали скорехонько и вовнутрь зашли. А там...

Реденькие свечи горят, отблески по стенам покачиваются. Иконостас без икон, книги большущие в стопки сложены. Около них грудятся люди, в холщовые мешки их собирают.

– На-ка вот, неси, – подал монах Федюньке сверток. – Только бережно неси, стекло здесь золочёное.

Федюнька рад услужить, да больно хочется на храм посмотреть.

– Чего встал, неси, пусть отец в мою суму запрячет, – шепчет монах, – а как спрячет, ни на шаг от узла не отходи.

Хоть и охота Федюньке всё разглядеть, да как супротивиться. Осторожно сверток на улицу вынес, а отец у крайней подводы с другими мужиками воровского извозчика вожжами к телеге привязывают.

– Слаб человек до добра чужого, – протянул руки к Федюнькиной ноше бородатый монах, – да ничего, обошлось. Хорошую ты службу сослужил на войне.

– Это на какой же войне, дедушка? – отступил на полшага Федюнька. – На войне, чай, воюют.

– Да мы с тобой сейчас самые что ни на есть государевы люди, такое богатство спасаем.

И услышал Федюнька, зачем же они с батюшкой сюда, в Москву, пришли-приехали.

Вона оно как! Знал отец, да не сказал, не случайно он в дороге нет-нет и заводил разговор про потаёнку. Может ли Федюнька тайны хранить? Выпытывал, выпытывал, а правду приберёт про себя.

– Да ты не горюй, отец, может, и взаправду не положился на тебя, а я вот проболтался, – приобнял его седой монах. – Да вижу, справедливый ты, если не побоялся про вора сказать. А воевать...

Что же, по-разному люди воюют. Кто голову за землю кладёт, кто умственно сражениями располагает, кто в отряды схронные собирается всем миром да на врага, а кто, вон видишь, разбойничает, а мы с тобой да батюшкой твоим вековое добро спасаем. Право, не дадим лютому французу над образом православным поиздеваться, книгу нашу потоптать, казну драгоценную разграбить.

– Скажешь ли кому? – прижал к себе монах Федюньку.

– Вот тебе крест, никому.

Как ни старался Федюнька, а Москву-то он так и не разглядел. Прибыл обоз по закату, обратно отправился и вовсе потемну.

Только и запомнил разноцветный храм на площади Красной, булыжники на ней да игристый цвет Новодевичьего монастыря. Правда, ещё в потёмках двор Кремля.

Что же он матушке по приезде расскажет? Обещался же.

Как что? Как гусар встретил. Как играли на солнце сабли. Как лоскутным одеялом стелился возле реки монастырь. А ещё поведает, как тревожно сейчас в стольном граде – народ совсем не улыбается.

Пушки большущие видел? Видел. Военные на улицах были? Были. А раненые, коль рядом с Москвой война? А вот раненых не видел Федюнька.

– Может, и нет никакой войны? Напридумывали, поди, – лежит на тулупе Федюнька. Фыркает лошадь, скрипят под тяжёлой поклажей дроги, расплакалось небо звёздами.

– Ты чего же не спишь? – заторопился к возу старый монах. – Ну-ка, сынок, подвинься, рядом с тобой присяду.

Федюнька уступил место.

– О чём так задумался? О доме, поди, заскучал?

– Да нет, вот всё думаю, что я маме про Москву расскажу, ничего же не видел. А обещался...

– Как так? Али мало мы с тобой повидали? Кремль-красавец нас принял, в соборе достославном сколько дел хороших сделали.

– В каком, каком, дедушка?

– Так в старинном-престаринном, веками народом намоленном. Ты, поди, не успел разглядеть, а ведь мимо царских надгробий бегал. Не каждому дано сподобиться здесь быть, а тебе вот пришлось.

– Да ты скажи-ка мне, дедушка, зачем мы иконки да подсвечники из церкви увезли?

– Спасителями мы с тобой стали. Ты, поди, и думать не думал, как Господь позволил тебе в историю войти. В Кремле-то нашем

не только дворцы да терема понастроены, здесь не только бояре да цари жили. Тут украшатели со всей нашей матушки трудились. Уж где иконописцы всласть потрудились? Здесь. Где кузнецы-ковальщики в радостном труде в перегонки играли? Здесь. А сколько книг православных тут со всего мира собрано, и не перечесть. Византийские есть, киевских много, от руки монахами писанных. Вырастешь вот, читать научишься, всё сам поймешь.

Ты вот, поди, и не ведаешь, какой клад у нас с тобой на подводе лежит. Мы с тобой аккурат на царском моленном месте сидим, на нём еще самый грозный царь Иоанн сиживал. Русские мастера-резчики его из дерева мастерили. Такого по узорочью во всём мире нет. Неужто над ним ворогу позволим надругаться? Вот пройдет война, он на своё родное место и вернётся. Пускай потом русские люди им любятются, и невдомёк им будет, кто эту красоту спас от гибели. Да и не то важно.

Занятно Федюньке слушать старика, только никак он в толк не возьмёт: зачем они на подводы такое добро погрузили и везут в такую даль.

– Потому и везём, – прикрывает полой тулупа монах Федюньку, – что француз рядом. Не пощадит он нашего православного добра, в огонь пустит или увезет в свою недобрую сторону.

– Неужто он в Кремле будет?

– Молимся Богу, он поможет нашему воинству с супостатом справиться, но ведь сам слышал: бережёного бог бережёт. Вот сохраним добро наше вековое, а потом возвернём всё в Кремль, на свои места все иконы, подсвечники поставим, книги положим. Разве мало доброго от нас? А ты говоришь, что тебе и рассказать матери нечего.

Смотрит монах: спит всю Федюньку.

Времени-то с года два с того прошло, никто уже и не вспоминал, как Федюнька Звонарёв в Москве побывал. Попытали его ребяташки сначала, поспрашивали, а потом забыли. Да он и сам-то уже запомнил.

Только вечером как-то к ним в избу батюшка зашёл. Службу в сельской церквушке справил и прямо к Звонарёвым. О чём с отцом говорили, неведомо мальчишке, только после ухода, сидя за самоваром и подкладывая Федюньке комового сахара, сказал отец:

– Давай-ка, мать, новые рубахи нам с Федюнькой доставай да порты стиранные, поутру в Саров, в монастырь пойдем. Меня с ним вот туда приглашают.

– Почто? – спросила матушка.

– Знал бы – сказал бы, – коротенько ответствовал ей отец.

Утром отец Федюньку разбудил рановато, солнышко ещё из-за бугра не выглянуло. Приоделись и прямо по лесной дороге пошли. Пешком, не на лошади.

– Видишь, как вовремя успели, только-только к заутрене ударили, – отец на колокольную помолился, откуда лился звон и где играл в утреннем луче крест.

Монастырская площадь шумела народом. Кто в храм входил, кто лошадей к пряслам привязывал, кто милостыню просил. Крестьянки, что живут поближе, лукошки на землю ставили, а в них и чёрная, и красная смородина. Паломники, что издалека пришли, на крутой бережок усаживались, из жбанов водой умывались, на белые платки огурцы и хлеб раскладывали.

Федюнька с отцом прямо в храм прошли.

– Ты смотри-ка, тять, эт же наш дедушка, – указал малец на стоящего у алтаря монаха. А тот их заприметил и быстрым шагом направился к Звонарёвым.

– Вот молодцы, что пришли. С крестным ходом пройдем, ко мне в келью на чуток заглянем. Ладно уж, Федюнька?

– Да как же, дедушка, обязательно зайдём.

А монах улыбнулся широко и скорёхонько к иконе заторопился, свечу поправил и скрылся в боковой двери алтаря.

Шустрый, думал о монахе Федюнька. Как тогда в Саров из Москвы вернулись, он всю ночь никому не давал покоя. Поклажу драгоценную по узелку в подземелье перетаскали, а он не только носил кремлёвские драгоценности, сверял по бумаге. Всё тогда сошлось: иконка к иконке, подсвечник к подсвечнику, книга к книге.

Интересно, рассуждал Федюнька, говорили же, что супостата французского с земель наших выгнали, а добро-то московское возввернули или как?

– Ты чего, Федюнька, бормочешь? – наклонился отец.

– Да вот, тять, а книжки из подземелья увезли обратно в Москву?

– Увезли, монахи и увозили, нас на этот раз не нанимали. Ты уж помолчи, видишь, люди на нас оборачиваются.

Служба закончилась, крестный ход прошёл, а перед папертью остановился. Священник заглавный развернул бумагу и стал вычитывать народу: «За участие в Отечественной войне наградить нагрудным крестом...» К нему монахи стали подходить один по

одному, все они были знакомы Федюньке, вместе в Москву ездили. Каждому на шею по могучему кресту повесили.

Слышит Федюнька, как по народу молва потекла: «За что же монахов награждают? Не воевали же!»

Стоит Федюнька, и как ему интересно: никтоничегошеньки не знает. А он знает, за что. Знает, да только помнит: на то она и по-таёнка, чтобы её хранить до поры до времени.

В келье монашеской тихо и покойно. Лампада горит-потрескивает, иконы мирно глядят. На полу у печки половичок нарядный съезжился.

Сидит Федюнька за столом рядом с отцом и монахом. Большую просфору на троих делят – жуют и водицей святой запивают.

– Ты бы, дедушка, дал мне твой крест большущий в руках подержать. Он, наверно, тяжёлый, я же видел, как он плотно на грудь твою лёг.

– Подержи, он и тобой заслужен.

Держит Федюнька крест, с руки на руку перекладывает, и не ведает разумком своим отрок, в какой истории побывал, к какой великой жизни своей малюсенькой жизнью прикоснулся.

Стихи по кругу

Алёна БАЙКИНА, *Выкса*

* * *

Угадай, откуда мне известно,
как собаки лаем рвут периметр,
как ночами сердцу в горле тесно,
а рассвет последнее отнимет...
Отчего я вижу каждый вечер
ледяной, залитый болью карцер.
ты писал о том, что время лечит,
он – о том, что кончилось лекарство.
И кому из вас сегодня верить?
Каждый правдой, голой правдой манит.
У него – одни замки и двери,
у тебя ключи лежат в кармане.

* * *

Врачи сокрушенно руками разводят:
«Мальчонка-то ваш не жилец...
Куда он без ног. Хорошо, если годик
протянет несчастный малец».
Чего бы он понял – сопливый трехлетка,
А глянь-ка, мотнул головой:
Мол, мама, не плачь, я сумею, я крепкий!
Поехали, мама, домой.
Весь мир от завалинки и до калитки.
Часами, уткнувшись в забор
Глядел, замерев, из своей «инвалидки»
На недостижимый футбол.
От матери дверь подперев табуреткой –
Заметит, что руки в крови –

Твердил сам себе:
Я сумею, я крепкий...
И снова ронял костыли.

...До вылета час.
Парашюты сложили.
«Не стоит бояться!» – инструктор сказал.
И вдруг засмеялся:
«Вот меня схоронили
Годков этак двадцать назад»...

* * *

Год от года ветшают деревни.
Вон, остались одни старики.
Ветер треплет макушки сирени,
Да гоняет туман у реки.
Что ему, бедолаге, не спится?
Из потехи в деревне теперь –
Петушок на оржавленной спице
Да изорванных штор канитель.
Жутковато скрипят половицы,
Дом зарылся в бурьян с головой.
Над забытой в углу рукавицей
Плачет в голос старик-домовой.
С каждым годом все тише в народе
Песня русская хлебных полей.
Обвалился последний колодец
В горемычной деревне моей.

Гурген БАРЕНЦ, *Ереван*

* * *

Эти юные ангелочки
В аккуратненьких платьицах
И коротких штанишках
Совершенно не отягощены
Знаниями о жизни и мире;

Они порхают над нами,
Над нашими серыми буднями
И над нашей историей,
Над мировыми и гражданскими войнами,
Над Гитлером и над Сталиным,
Над нескончаемыми очередями
За хлебом из отрубей;
Порхают над нашей памятью,
Давящей нам на плечи...

На эти неугомонные,
На воздушные эти создания
Ну совершенно не действует
Закон всемирного тяготения...

* * *

Когда надвигается старость,
Жизнь становится слаще.
Так накануне морозов
Становится слаще рябина.

* * *

Зимою жду весны,
Весною – лета.
Жду летом осени,
А осенью – зимы.
И так – всю жизнь.
Такое ощущение,
Что жизнь проходит
В зале ожидания...

* * *

От самого первого дня
Моего рожденья
Я ушел далеко-далеко.
Но сегодня о жизни я знаю
Совсем не намного больше,
Чем в самый первый день
Своего рожденья...

* * *

Ранняя осень
Похожа на раннюю старость,
Рыжая россыпь рассвета –
Заслуженный приз.
Жухлая проседь полей
И усталость, усталость;
Грустные думы о том,
Что так мало осталось,
И не понять –
То ли вверх ты идешь,
То ли вниз...

Галина БЕССАРАБ, *Саров*

Вечер на реке

Пусть бы длился бесконечно
Этот тихий тёплый вечер...
Над рекой закат играет
Золотую полосой.
За кормою рябь мерцает,
Взбита медленным веслом.
А душа моя витает,
Сердце бьётся и мечтает.
Что-то сбудется потом...
Этот вечер так беспечен,
В памяти остался, вечен,
Как та речка за бортом.

Дмитрий БИРМАН

* * *

Пил тишину осенний листопад,
и на вершине тихого блаженства,
достигнув, как казалось, совершенства,
слова шептал я снова невпопад,

мне снились вновь пророческие сны,
и я в поту холодном просыпался,
зачем-то мне стократно повторялся
тот мамин вздох: «Дожить бы до весны...»
Шла осень в наступление на лень
и разгильдяйство летнего безделья,
шуршащим смехом странного веселья
гнал листопад, накрыв мой судный день.
А я заклеил окна, чтоб зима
не разомкнула холодом объятия,
пусть до весны не сбудутся заветья
и осень забирает все права.
Пусть под ногой, свой замыкая круг,
поет «аминь» листва, слегка охрипнув,
сны посветлеют, боль уйдет, затихнув,
и вдохновенье возвратится вдруг,
и муза, на кровать мою присев,
прошепчет мне уже слова другие,
деревья улыбнутся мне, нагие,
и к песне сам напишется припев!

Сергей БУДАРИН, Новокуйбышевск, Самарская область

* * *

Мой друг, не виновен я в том,
Что Русь, как река, меня манит.
Она ни сейчас, ни потом –
Меня никогда не обманет.
Накроет волною судьба.
Обрушит на сердце кручину...
И даже святая мольба
Не сможет раздвинуть пучину.
Хоть плеск и журчанье реки
Для жизни твоей не отрада,
Меня поминай по-мужски,
Как в реку вошедшего брата.

* * *

Осень на лето ступила.
Воздух, промытый дождём,
Встрепан, как мокрая псина,
Лужи сверкают огнём.
Пальцы ветвей растопырив,
Древо спугнуло листву.
Ветер, добычу завидев,
С лаем пластает траву.
Красным и жёлтым расписан
Солнечный день поутру.
Звон колокольный услышан
Даже не в нашем миру.
Рдея, пылает рябина,
Русскому веря холму.
Это родная картина –
Писана под хохлomu.
К свету родимому падкий.
Волен душой горевать,
Чтобы хотя бы украдкой,
Родину поцеловать..

* * *

Никого не хочу я обидеть.
Всем на свете желаю добра.
От чего же печально мне видеть,
Как резвится с отцом детвора?
Оттого ли, что в детстве порою
Удирал я из дому к друзьям,
И чтоб старше казаться – сырою
Пировали водой, по сто грамм.
Эх, наивность души моей нежной.
Нам с тобой оглянуться пора.
Нас сметают метлой зарубежной,
Как сметают листву со двора.
И деревья с гримасой больною,
Тянут руки во мглу наяву
Изогнувшись под ветром дугою,
Чтоб обнять на прощанье листву.

Никого не хочу я обидеть.
Всем на свете желаю добра.
Отчего же так больно мне видеть,
Что сметают листву со двора?

Николай ГРЯЗНОВ, *р. п. Дальнее Константиново*

Лето

Цветущим клевером
Пахнет луг.
Сладкое время!

* * *

Стояли на вершине,
Хотелось взлететь,
Не было крыльев!

Константиновские этюды

* * *

Единственный светофор в посёлке
Мигает, не решаясь остановить
Течение жизни.

* * *

Вездесущий сайдинг
Пожирает старые здания.
Архитектурная плесень...

* * *

Пластиковые окна
Не терпят старых наличников:
Хотят быть лицом здания.

* * *

Магазин «Райцентр»:
Тяжеленная дверь...
Дорога в рай...

Новый год

Мусорный контейнер
Пахнет апельсинами –
Чудо новогоднее!

* * *

Запоминаем по глазам.
И смотрим после бесконечно
В глаза десяткам тысяч встречных...

* * *

Прошла электричка.
Уехали навсегда
Незнакомые люди.

* * *

Старый мельничный жернов
Лежит на земле.
Его перемальвует время.

София ИВАНОВА, *Кстово*

Первая дорога

Снов неясных вереница,
Прежней жизни тихий свет.
В белом поле снег клубится,
Заметает санный след.

Теплый кокон из пелёнок,
Одеяльце, кисея.
Мирно спит в санях ребёнок
И ребёнок этот – я.

Мне всего от роду месяц,
Жизнь вокруг полна чудес.
Тусклым светом полумесяц
Озаряет ближний лес.

Ветерок нетерпеливый
То взовьётся, то замрёт.
Лошадёнке треплет гриву,
Забивает снегом рот.

Пробивается упрямо
Наш коняшка-молодец.
Крепко держит меня мама,
Правит лошадью отец.

По дороге незнакомой
Под метели грустный вой
Еду я к родному дому
По России снеговой.

* * *

Платочек беленький в горошек,
Его носила раньше мать,
Чей след снегами запылён,
Чьи плечи мне не обнимать.

Надену мамин я платочек
И выйду в поле поутру.
На скромный беленький веночек
Букет ромашек соберу.

Я отыщу в пустынном поле
Давным-давно простывший след.
Услышу я на вольной воле
Родной души живой привет.

А с неба дождик вдруг прольётся,
Хоть будут ясны небеса.
И с высоты, как из оконца,
Посмотрят мамины глаза.

* * *

Я пришла ниоткуда
И уйду в никуда.

Всё, что знала, забуду,
Замолчу навсегда.

Неземные дороги
Мне придётся топтать,
На нездешнем пороге
Будет ждать меня мать.

От заоблачной пашни
Оторвётся отец
И рукой мне помашет,
И простит наконец.

Диана КАН, Новокуйбышевск, Самарская область

* * *

*В следующий раз они попытаются
взять нас изнутри...*

Маршал Г.К.Жуков, 1945 год

И вновь мы устоим, когда мечи попрятав,
Они вползут в наш дом, рядясь в друзей.
И станут, опоив заморским ядом,
Морить старух и развращать детей.

Допустят наших дунек до Европы –
Пусть пляшут по борделям нагишом.
И переоборудуют под «шопы»
И школу, и завод, и космодром...

Мы устоим... Хотя и поневоле
То влево нас, то вправо занесёт.
Мы даже убедить себя позволим –
Мол, рынок нас не выдаст, Бог спасёт!

И будет счастье, словно локоть, близко –
Мы по-американски заживём.
Мы, может, даже выучим английский
(Немецкий-то учить нам было в лом!).

Маркетинг, киллер, дилер, супервайзер,
Промоутер, бэби ситтер, бэби-бум...

Мы думали: из грязи – прямо в князи.
А на поверку выйдет – русский бунт.

Сметающий содомские пороки
От гатчинских болот и до Курил,
Бессмысленный, кровавый и жестокий –
Тот, о котором Пушкин говорил.

* * *

Ю.К.

Уснул и не проснулся.
И – в небеса ушёл.
Ты никогда не гнулся,
Хоть был твой крест тяжёл.

Безрадостно светало...
Любимая жена –
Россия промолчала,
В себя погружена.

Не была, причитая,
Соломенной вдовой.
Скорбяще дождевая,
Склонилась над тобой.

И в вечность утекала...
И каплями дождя
Всё в губы целовала
Холодные тебя.

* * *

По соседству с могучим бурьяном,
Пред грозой отливающим в синь,
У подножья крестов покаянных
Чуть горчит луговая полынь.

Это я, непутёвая дочка,
Принесла тебе, мама, букет...
Ох и тёмная выдалась ночка,
Когда я появилась на свет!

Хоть и майским победным салютом
 Осенил эту ночь Господь,
 Но страдать безрассудностью лютой
 Он обрек мою душу и плоть.

Так живу – меж восторгом и стоном
 Воплощая стихию в стихи,
 В гонорар конвертируя гонор,
 За любовь принимая грехи.

И моя сиротливая строчка
 Волочится за мною вослед...
 Это я, непутёвая дочка,
 Принесла тебе, мама, букет!

Вячеслав КАРТАШОВ, *Балахна*

* * *

Олегу Рябову

Путь ежедневный,
 не дающий сил.
 Путь вечный.
 Даже сидя в кабинете.
 Немало снов за этот путь сносил,
 что восходить к вершине на рассвете.
 Святая вера в истинность пути
 с надеждою и верой неразлучно
 звездою путеводной впереди
 светила, разгоняя злые тучи.
 Вновь
 каждый шаг отяжелён строкой...
 Мельканье дней – как толчея вокзала...
 Да, очевидно, это нелегко
 жить в мегаполисе
 с душой провинциала.

* * *

Разгулялась Весна,
 распластав лучезарное небо,

принеся непокой
и надежду, что всё впереди,
моё сердце до дна,
где зима превращается в небыль,
величавой рукой
беззастенчиво разбередив.

Пламенеет Апрель,
пробуждая болотины к сроку –
прилетят журавли,
оставляя японцев в тоске.
Их поэты теперь
пишут грустные танка и хокку...

Клин в российской дали
растворился, как след на песке.

Татьяна КОРМИЛИЦЫНА

Не верь

Не верь мне, любимый! Нельзя глупой бабе верить!
Соврать – не соврёт, но и правды вовек не скажет.
Да в дом не пускай, а вели подождать за дверью.
Начну свои сказки – и слушать не думай даже!

Возьми с меня клятву, заставь расписаться кровью,
Поставь на колени у самой большой иконы.
И помни – вся эта печаль, что в глазах коровьих,
Правдива не боле, чем слёзы, мольбы и стоны.

Что общего баба имеет с отцом и сыном?
А духа святого не сыщется в ней подавно!
Ума – ни на грош, дури с придурью – на полтину.
Так можно ль со мной разговаривать, будто с равной?

Виновной считаешь – ругай и кори, как хочешь.
Прибей для острастки, и в подпол – на хлеб и воду.
Нет веры – не надо. Любви бы твоей глоточек,
Да кроху надежды – взамен надоевшей «свободы»...

Н-инь-я (ниньяниньян...инь...ян...)

Лучезарнейший Ян, как всегда, потерпел поражение.
В непроглядные дебри уводит безумная Инь.
Бесполезно молить о пощаде и ждать снисхождения.
В её мутных зрачках – океанская мрачная синь.

Её сильные цепкие руки не знают покоя.
Её кудри свиваются кольцами тысячи змей.
О тебе она знает – поверь, она ЗНАЕТ! – такое,
Что тебе не дано замолить до скончания дней.

В ней живут – о, не детские! – самые взрослые страхи.
Её взгляд повергает титанов и стойков ниц.
В её теле – и сила пантеры, и злость россомахи.
Её жадная похоть не знает ни мер, ни границ.

Её дикая страсть, её грубые жаркие ласки
Заставляют забыть навсегда милосердных богинь.
Слушай, девочка, слушай правдивые страшные сказки,
Покоряйся великой и всё поглощающей Инь!

Дмитрий ЛАРИОНОВ**У холмов Оклахомы**

Я встречу тебя –
Мы будем знакомы.
На красных полях, у холмов Оклахомы:
Рубашка из хлопка, в заплатках вельвета,
Меня зовут – Джек.
Твое имя – Джанетта.

В моей руке зонт –
Это просто на случай.
Гонит ветер ладонью техасские тучи,
В голове звукоряд
Делаверского блюза.

Словно лампы в початках –
Дрожит кукуруза.

Мы гуляли. Луна зевала на ранчо,
Я смеялся и пел: «Не ищи во мне мачо...
Никогда не ходил в цилиндре и с тростью...»
Ты сказала: «Oh, please,
Будь моим гостем!»

Мы смотрели кино
Некоего Форда:
Ковбой мистер Уэйн набил Вэлансу морду.
Но долго смотреть на экран – не по силе,
Мы легли с тобой спать.
Я проснулся – в России.

Денис ЛИПАТОВ

* * *

Мороз и солнце, день чудесный...

Расчищают снег таджики –
Кубометры на-гора.
Крепче водки и аджики
Пыль морозная с утра.

От бедовой их работы
Двор то гладок, то горбат,
Среди утренней зевоты
Лопотание лопат.

Этот говор полуптичий,
Смесь фарси и неприличий,
Узкоглаз и темнолик,
Непонятен, скомкан, дик.

Просыпался в девять рынок,
Брёл на лекцию студент,
Возвращался кот с поминок,
И с дежурства старый мент.

Каждый там во что-то верил,
Из своей бежал тюрьмы,
На себя, как шапку, мерил
Купол хромовый зимы.

* * *

Имярек, застигаем врасплох
Своим возрастом и судьбою,
Утомительный диалог
Затекает с самим собою,

Некий внутренний тет-а-тет,
Прозы чеховской отголосок...
Горделивый автопортрет,
Предстоящего дерзкий набросок

Остаётся в карандаше,
А картинка сложилась иная,
И как будто нельзя уже
Жить и далее, не понимая,

Что у жизни иной резон,
И сермяжная правда и сила,
А поэзии звонкий озон
Стратосфера давно растворила.

И теперь не сведёшь баланс,
Дебет с кредитом ожиданий,
Как Рязанщину и Прованс,
Как тюремных и первых свиданий.

Только юность твердит: подлог,
И глядит всё, упрямо и строго, —
Словно Зоя Палеолог,
Несмеяна и недотрога.

Музей восковых фигур

Восемнадцатый век затянулся,
Просвещение зашло в тупик.

Революцией отрыгнулся
Вольтерьянства весёлый пикник.

Девятнадцатый век дольше века,
До костей изнасилась шинель.
Карамазовский чёрт из-под века
Смотрит в пушкинскую метель.

И двадцатый как будто закончен,
До колымских добравшись широт,
Закусивши кровавый сочень,
С человечинкой бутерброд.

Парики, вицмундиры и френчи
Вслед за модой меняет тиран.
Формалиновой желчью подсвечен,
Пустоглазый глядит истукан.

Но в руках ещё трубка дымится,
Рыжий ус табаком пропах...
Посетитель как будто храбрится,
Но, скорее всего, на словах.

Стихи по русской истории

То Шемяка, то Дмитрий Жилка
Так и вертятся на языке,
Разбавляя кривую ухмылкой,
Пьют рябину на коньяке.

Будто хлебный катается мякиш,
Между ними Василий Шемячич.
Посылают его за второй,
Говорят – ты ещё молодой.

Всю дорогу у них потеха –
То Борисова вяжут щенка,
То по морде друг дружку для смеха
Отоваривают слегка.

То завидки берут к Иванам,
Да к московским тугим карманам –
Счастья думают попытать,
Да сильна у Иванов рать.

А Иван, хоть четвёртый, хоть третий,
Тоже держит их всех на примете,
Да мастырит тюрьму для Шемяк,
Да в коньяк подсыпает мышьяк.

* * *

Ни к селу ни к городу в разговоре
Вдруг нахлынет сплошной минор:
Помнишь, ездили в детстве на море?
Помнишь ялту, Алушту, Мисхор?

Ничего я, конечно, не помню.
Лишь экскурсию в каменоломню
Да змеи беспощадный укус.
Помню моря солёный вкус.

В санаторной библиотеке
С его «Песней о вещем Олеге»
Был востребован Пушкин А. С. –
Предсказуемый интерес.

Оказалось гораздо всё проще,
Только сердце обиду полощет
И больничных не слушает клуш,
Что змея – безобидный уж.

Никому не грозил я набегом,
Ни хазарам, ни печенегам,
Не хотел прибивать щита
На царьградские ворота.

А глядишь ты – змее попался,
За стихами вослед увязался:
Всё твой жёлтый обманный зрачок
Да раздвоенный язычок.

Вадим МАЛАФЕЕВ, *Дзержинск*

* * *

Среди камней и желтого песка
Лежала лодка, набок наклонившись.
Чернели мхом прогнившие бока,
Росла трава, сквозь щели просочившись.

Хозяин умер, время подошло,
Оставив все на божескую милость.
В печи стгорело крепкое весло,
Цепь незаметно ржавчиной покрылась.

Она ждала печальный свой исход,
Терзая память мыслями пустыми,
Но, как и прежде, солнечный восход
Ее пленял лучами золотыми.

И только ветер отдыха не знал,
В речном просторе волны высекая,
Неслышно с лодкой горестно вздыхал
О том, что жизнь короткая такая.

Денис МУРАТОВ, *Барселона*

* * *

Время летит, нам не вернуть
Каждого вдоха мгновенье.
Я вспоминаю пройденный путь,
Краткий, как миг откровенья.

Поле, ромашки, рябь облаков,
Россыпь цветов-самоцветов,
Груды огромных, душистых стогов,
В шубу тумана одетых.

Русскую печь посредине избы,
Запах горячего хлеба.

Ковш ледяной, родниковой воды,
В бочке прозрачного неба.

Бабушка тихо стоит у печи,
Смотрит на игры огня.
«Пусть прогорит, а потом куличи!» –
Нежно обнимет меня.

Михаил ПОТАЧЕВ

А.А.Ахматовой

*Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне!*

А.Ахматова

Гумилева еще не поставили к стенке,
И прикладами сына не тычет конвой.
Отчего же печалится Аня Горенко
Белой ночью над тихой прохладной Невой?

Как и прежде ложатся послушные рифмы
На атласную гладь вереницами строк.
Но все чаще врываются чуждые ритмы
Корабельных сирен и солдатских сапог.

Не жена, не вдова и еще не невеста,
И опала, и травля пока далеки.
Не из меди ли тех полутрезвых оркестров
Отчеканены «Реквием» и «Черепки»?

Поэтический дар посылаеся свыше,
Это – милость судьбы и Небес благодать.
Только лучше ее уж никто не напишет,
Как становится за ночь серебряной прядь.

Так стояла она в полутьме этой зыбкой,
А гроза приближалась и ветер крепчал,

И Серебряный век с виноватой улыбкой
Кумачовым стихам свою лиру вручал.

Алла ПРИЦ, *Кстово*

Босиком

Босиком по росе предрассветной пройдусь:
Словно жемчуг седой из оборванных бус
На зелёных купинах, на жёлтых цветах –
Под шагами моими рассыплется в прах.

Из акаций до неба поднимется трель –
То малиновка, мой заревой менестрель.
Под невинную песню её – «фьюр-ли-ри!» –
Встречу первые всплески июльской зари.

Не спеша подойду к разомлевшей реке.
Там следы на песке, как строка на листке:
Те, что меньше, – с моими следами точь-в-точь,
А его – у причала закончились в ночь.

Владимир РЕШЕТНИКОВ, *Семенов*

* * *

То не градусник зашкаливал
До озноба-сорока,
Не похмелье подле шкалика,
Подле первого пока.

Я в уме и трезвой памяти
Выдаю прямую речь.
Вы поэт не поправите
И не сможете пресечь.

Вся земля покрыта оспами!
Я кричу, меня несёт:
Переделай грешных, Господи, –
Семь деньков на всё про всё!

Опадёт на землю перхотью
Весь черёмуховый цвет.
Я бреду по жизни нехотя,
Потому что жизни нет...

Глаза

Мужик с азартными глазами
Колол под сердце раза три,
Но вот попал... и боров замер,
И что-то екнуло внутри.

Обмяк он, рухнул у забора,
Кропя и плавя белый снег,
Еще теплел сраженный боров,
Уже наелся человек...

Бесплодно вызывая жалость
У тех, жующих за окном,
Башка кровавая лежала
В сугробе кверху пятаком.

Глаза немного приоткрыты,
Глаза, счастливей многих глаз,
Всю жизнь смотревшие в корыто,
Смотрели в небо первый раз!

Дмитрий СОРОКИН, *Москва*

* * *

Я все ближе к отцу... Пусть писал его имя со строчной.
Скоро скорый придет, на который нельзя опоздать.
Снег верней и верней в этой осени спальной и блочной.
И до станции миг. И бессменно грядут поезда.

Я все ближе к отцу. Словно в небе ему одиноко.
Он однажды вот так, уезжая в Москву, помахал

восковой ладонью и сгинул, похожий на Блока,
где-то за год до смерти, как Блок, равнодушный к стихам.

Я все ближе. От близости холодом веет.
Видно там, где сейчас он, к зиме ещё те сквозняки.
А ноябрь над Москвой свои странные праздники сеет...
Я все ближе к отцу, в жизни так не бывали близки.

Весна

Тает. Тоской на весеннюю жесть
падает снег прошлогодний...
Дети взлетают с восьмых этажей.
Горькую пьют педагоги.

Тает. И девочка двойку свою
шлет физруку-идиоту.
А на Ютубе снова поют
поодиночке и оптом.

Эх, хорошо нам в грядущем ЕГЭ,
славно играть в лотерею...
Скоро оттаит замерзшее г...
Граждане, с первым апреля!

Тает. И ангел откроет гамак,
чтобы никто не разбился...
Крылья подарит сошедшим с ума,
Господа – самоубийцам.

Марта, март впереди..

Марта, март наступил... И тает.
Наше явное больше не станет тайным.
Мне никто не звонит с дорогой мобилки.
Ты мне ближе, чем дочь... Жаль, что дочь дебилки.
Ах, как хочется верить в тебя и в Бога
и в полтинник жениться и снов не трогать...
Просыпаться в четыре, стирать рубаху ...
И послать... Не дождетесь. Кормить собаку.

И гулять возле церкви Петра и Павла,
словно все в первый раз... Или все пропало.
Марта, март впереди... И потратив время,
с точки зрения всех близоруких зрений,
мы заходим в метро и садимся в поезд
и, на миг задремав, жизнь живем, не ссорясь.

Елена ХОЛОДОВА, *Магнитогорск*

* * *

Траву не приручить – смотри, как разлилась!
Нам, людям не понять, о чем цветы скорбят...
В лесу бегут ручьи, пыльцы качая сладость...
О, липовая власть, не одолеть тебя!

В черемуховый сон всей кроной ты вплелась,
Плывешь, мерцая в нем соцветьев белизной
Тебя познают лишь тяжелые шмели,
Сквозь августовский зной,
Сквозь таинства земли.

Нам, людям, не понять молчания ветвей,
Нам, людям, не постичь той липовой эпохи,
Что спел в прохладе рощ незримый соловей,
Что помнится всю жизнь на выдохе и вдохе.

Растай в тепле коры, в извилинах корней,
Душицей прорасти у липовых подножий,
Останься здесь, сейчас, соединенный с ней,
С той липой, что растет на русском бездорожье...

* * *

Научиться молчать на языке травы,
И понять, что с подорожником нам по пути,
В землю оттенка арахисовой халвы
Дыханием и стихами навек уйти.

И остаться былинкой, цветочком, хвойной иглой,
Извилиной корня, листом на ветке, теплом коры,
Весенним ветром, зимним молчаньем, осенней мглой,
Объединить в себе мирки и миры.

Начаться с ручья, чтобы стать потом голубой рекой,
До синего неба достать лепестком-рукой...
...Научиться молчать на языке травы,
Чтобы смочь говорить на планете со всем живым.

Игорь ЧУРДАЛЕВ

* * *

Над Большой Покровской дождь повис.
Небо разбухает, намокает.
Низко опустившаяся высь
что трамвай искрит и громыхает.

Вдоль бордюра мчит бумажный чёлн –
повезло тоскующей газете.
Улица воистину течет
под уклон –
как жизнь, как всё на свете.

Капель шквал с неё смывает пыль.
И сверкают самоцветы окон,
даром, что купеческий ампир
точно голубь вымокший нахохлен.

Так, меж бликов блёсткого стекла,
медленно клонясь от Главной почты,
улица Покровская текла
до меня – продолжит бег и после.

И во льды эпох, как мезозой,
вмерзнут навсегда в грядущих стужах
тени танцевавших под грозой,
юных, бьющих степ в июньских лужах.

Но пока июнь при нас, друзья,
Без чечётки – впрочем, шагом чётким
сквозь него ещё иду и я
в такт дождю. И нет зонта. И чёрт с ним.

Байкер-НН

В Нижнем всё спокойно. Всё мертво.
Город, на Горыныча похожий,
засыпает. Мелкое метро
еле бьется под шипастой кожей.
Как под землю, мир ныряет в ночь,
в тусклый морок, длящийся веками.
Изредка лишь вздрогнет и всхрапнет
байкерскими зверскими движками.

Всадникам неведомо, поди,
что за дульсиня приказала
наряжаться в рыцарей среди
безнадежно спящего базара,
гнать по лучевым до кольцевых,
далее, ведомыми лишь фартом,
рассекать на чопперах своих
прах Руси, враждующей с асфальтом.

Просто каждый сам себе король,
просто страшно околеть в постели,
если просто рок – и рок-н-ролл,
ветер, путь и воля – больше цели.
Гибель их мгновенна, жизнь быстра.
На одном из мокрых поворотов,
может быть, ещё прибьюсь и я
к стайке неприкаянных пилотов.

С тыла пусто, впереди черно.
Можно сквозь оставшиеся годы
улетать во тьму ни для чего,
просто ради Бога и Свободы.

По-любому – нет пути назад,
а про риск и скорость – это бросьте.
Смерти не успевший осознать,
в сущности, не умирает вовсе.

Валерий ШАМШУРИН

* * *

Вот она – музыка
Ветреных лет.
Сходни и пристани.
Юности бред.
И танцплощадка
На легкой волне.
И в комнатушке
Герань на окне.

Вальсы и танго,
И быстрый фокстрот.
Это не тайна –
Судьбы поворот.
Хоть и печально,
Это не тайна,
Это случайно
И скоро пройдет.

Сходни и пристани.
Больше их нет.
Музыка кончилась.
Выключен свет.
Сон неотвязный.
Рассветная рань.
А на окошке
Седая герань.

* * *

Вспомнятся милые лица.
Вспомнится давний рассвет...

То-то полынь серебрится
В сумерках прожитых лет.

То-то мерцает поныне,
Путь свой в туманах стеля
Вдоль по широкой равнине
Через пустые поля.

То-то загаснуть не может
В искрах обильной росы.
И веселит, и тревожит
В предгрозовые часы.

То ль наяву, то ли снится
В далях затерянный след...
Где они – светлые лица?
Где он – счастливый рассвет?

* * *

Да, конечно, все проходит.
Все проходит и пройдет,
Потому-то грусть находит,
Словно дождь весь день идет.

Что-то там в окне маячит,
То ли манит, то ль грозит.
И с намеком – не иначе –
Где-то рядышком сквозит.

Ныне думы стали ломки.
Истончили жизни нить.
Подстелить пора соломки
Да и кровлю починить.

Пыл унялся, не балуя.
Благодать кругом и тишь...
Но живешь напропалую,
Словно в космосе летишь.

Алик ЯКУБОВИЧ

* * *

Случайно купленное вино
Оказалось до боли знакомым,
А первые два глотка напомнили,
Что именно так оно называлось
Двадцать лет назад,
Это было его первое вино после армии
И залпом выпитые два стакана
Помогли познакомиться с девушкой,
Которая подарила ему целое лето.
Это было лето, когда почти без денег
Они добрались до Чёрного моря,
И жили то на пляже,
То у случайных знакомых,
То у Христа за пазухой,
Она научила его любить ближнего,
Добывать хлеб насущный,
И быть мужчиной не только ночью.
Однажды она исчезла, наверное, с ближним,
Но жизнь на этом не закончилась,
Море помогло ему подружиться с судьбой,
Поверить птицам и стать капитаном
Самого дальнего плавания,
Под названием – жизнь.

* * *

Жизнь крутилась вокруг нас,
Как Земля вокруг Галилео Галилея
И мы, родившиеся в Совке,
На Северном посёлке Автозавода,
Твёрдо знали, что нельзя мешать
Пиво с водкой,
Дружбу с блатными,
Милицию с рок-н-роллом,

Мы делали всё, чтобы про нас услышали
«Голос Америки», «Радио Свобода»,
И конечно же, та девчонка,
Ради которой мы мешали
Пиво с водкой,
Дружбу с блатными,
Милицию с рок-н-роллом.

* * *

Маленький принц вырос,
Но большим не стал
И тем более принцем,
Он просто заблудился
В каждом из нас
В поисках своей планеты.

Из свежей прозы

Евгений ТАТАРСКИЙ,

Ялта, АР Крым

МОМЕНТ ИСТИНЫ, или Тайна одного врача

Евгений Николаевич Татарский родился в 1985 году в Ялте в семье врачей. В 2008 году окончил Крымский государственный медицинский университет (Симферополь), в 2011 году – Украинскую военно-медицинскую академию (Киев). Служил в рядах Вооруженных сил Украины, уволен в запас. Работает хирургом на Южном берегу Крыма.

В эту ночь ответственным дежурным хирургом в отделении политравмы больницы скорой медицинской помощи был кандидат медицинских наук, врач с тридцатилетним опытом работы в хирургии Андрей Александрович Таширов. Дежурство выдалось на редкость спокойным, если не сказать скучным. Операционная была заперта за ненадобностью, в смотровой комнате № 1 приемного отделения скучали два интерна, готовые в любой момент вызвать туда дежурного, если вдруг привезут пострадавшего, и ответственный хирург позволил себе лечь отдохнуть. Уже час ночи, он на ногах с шести утра, а днем ассистировал профессору на трехчасовой операции. Имеет право и отдохнуть в конце концов. Скинув халат, он как был, прямо в хирургическом костюме, улегся на кушетку в своем кабинете. Жестковато, но ничего, привык уже.

Настроение было хуже некуда. С Иваном Владимировичем Дерюгиным их связывают долгие годы дружбы, настоящей дружбы, какая между коллегами бывает крайне редко. А теперь тот в тюрьме. На пять лет! И, главное, за что?

Лежа в темноте, Таширов сжал кулаки и стиснул зубы до скрипа. Пять лет за... благодарностью от пациента. Это ж надо? В стране, где государственное имущество разворовывается миллиардами, где финансирование государственных учреждений, тех же больниц,

с каждым годом все урезается и урезается, где чиновники заняты лишь дележом и перераспределением все ослабевающих денежных потоков, врача посадили на пять лет! За двести долларов, которые он взял за то, что прооперировал пациента. Не за то, что поставил ультиматум: плати или умирай без операции. Нет. Дерюгин никогда бы так не поступил, даже учитывая ту трагедию, которая обрушилась на него три месяца назад. Он бы просто не смог поставить такой ультиматум. Да и кто смог бы? Хотя в семье не без уродов и в обнищавшей за годы независимости среде врачей по всей стране такие уроды наверняка есть. Таширов слышал, что подобные случаи бывают, но за свои тридцать лет работы в хирургии он таких вымогателей не встречал. И слава богу. Кем нужно быть, чтобы требовать деньги с умирающего за то, что ты попытаешься его спасти?

Нет, Дерюгин ни с кого ничего не вымогал. У того пациента, Буцева, была обычная плановая операция. Ничего экстренного, с минимальным риском. Единственной его фразой до операции, которую суд, собственно, и истолковал как вымогательство, была: «Когда вы придете в себя после наркоза, я зайду к вам в палату, а вы мне скажете спасибо». Вот это «спасибо» и стоило Ивану Владимировичу пяти лет жизни. И, скорее всего, жизни его сыну.

Таширов сел на кушетке. От душившей его ярости он хотел кричать, сыпать проклятиями. Он, миролюбивый человек, даже в детстве так ни с кем и не подравшийся по-настоящему, поймал себя на мысли, что если бы сейчас этот Буцев был здесь, он врезал бы ему как следует! Какая сволочь! Какая сволочь! При выписке зашел к Дерюгину и положил перед ним на стол конверт с двумя купюрами по сотне долларов каждая. С двумя мечеными купюрами. И, любезно попрощавшись, вышел из ординаторской.

Через минуту ворвались представители правоохранительных органов и, размахивая удостоверениями, потребовали показать им руки. И конечно, на пальцах остались следы специальной краски, невооруженным глазом незаметной, зато светящейся в лучах специального фонарика. И домой Иван Владимирович уже не вернулся.

Именно Таширову как давнему другу и коллеге пришлось сообщить Веронике, жене Ивана, что ее мужа арестовали. Он как сейчас помнил выражение ее лица: искреннее удивление, тут же сменившееся испугом и, наконец, жуткой душевной болью. А как она рыдала! В один момент она вдруг потеряла все, что у нее было. Мужа посадили, а это значит, теперь нет рядом с ней человека, который может собрать нужную сумму для операции их сыну.

Есть люди, которые и вправду думают, что врачи и члены их семей лечатся бесплатно. Нет, само-то лечение, в смысле помощи ближнему, разумеется, бесплатное. Есть негласный закон, согласно которому врачи друг с друга денег не берут. Если, конечно речь идет о нормальных людях, а не о тех уродах, без которых ни один коллектив еще не существовал. Помощь бесплатная. Платные медикаменты. Да еще какие дорогие, недаром фармацевтические компании имеют такие доходы. Платное пребывание в стационаре – это ведь еще одна статья пополнения бюджета, куда, зная законы и умея их правильно обходить, можно запустить лапу. Конечно, это привилегия администрации, а не рядовых врачей. Платное обследование, платные консультации...

Сумма, необходимая для операции их пятилетнему сыну, оказалась настолько большой, что Вероника, узнав ее, попросту впала в панику. При зарплате мужа двести тридцать семь долларов в месяц на одной работе и сто двадцать на второй, учитывая стоимость проживания в Киеве, даже притом что каждый месяц его два-три пациента благодарят деньгами за операцию, собрать такую сумму просто невозможно. Она настолько растерялась, ее душило такое невообразимое горе, что она чуть было не попала в психбольницу. У нее развилась натуральная депрессия. Не та, на которую друг дружке жалуются школьницы, а настоящая, в результате которой люди бросаются под машины и прыгают из окон. В тот момент ситуация казалась безнадежной.

Но в мире есть еще добрые люди. И никто никогда не знает, каким боком капризная Судьба повернется к нему завтра. Практически у каждого из коллег Дерюгина есть свои дети, и, даже несмотря на их крохотные зарплаты, коллектив отделения решил посылить помочь ему в этой непростой ситуации. Каждый одолжил ему столько, сколько смог. Но нужной суммы все равно не набиралось. И тогда было принято решение, что все плановые операции, за которые хирургов чаще всего и благодарят, будет проводить только он. И так будет до тех пор, пока нужная сумма не накопится. Потом же, когда Дерюгин, наконец, сможет пролечить сына в Институте нейрохирургии, все вернется на старые рельсы и благодарности от пациентов вновь перераспределят между всеми, по старшинству, как и было прежде. Когда ему сообщили об этом решении, Иван Владимирович, до этого момента мужественно переносивший в себе свое горе, не выдержал и разрыдался. Он упал на колени и принялся благодарить коллег за их помощь...

А теперь он в тюрьме. За двести долларов, которые должны были стать частью той суммы, за которую он собирался выкупить у бесплатной отечественной медицины жизнь своего пятилетнего сына.

В дверь постучали. Таширов даже подпрыгнул от неожиданности.
– Андрей Александрович, это я.

Таширов узнал голос молодого хирурга, который с полуночи до четырех утра должен дежурить в приемном отделении. Потерев лицо ладонями, ответственный хирург поднялся с кушетки и отпер дверь.

– Что случилось?

– В приемное привезли пострадавшего. ДТП, водитель. Давление по нулям, так что он уже в противошоковой. Реаниматологи над ним колдуют.

– Идем, – коротко бросил Таширов и, заперев дверь, принялся спускаться по лестнице вслед за дежурным.

Когда они входили в противошоковую палату, интерн-анестезиолог очередной раз мерил артериальное давление пострадавшему. К вене через специальный катетер была присоединена система капельницы, через которую вливался раствор. Через другое отверстие венозного катетера ответственный анестезиолог шприцем вводил одно вещество за другим, следя за показателями гемодинамики: характеристиками пульса и давлением.

– 100 на 60, – торжественно произнес интерн, вешая фонендоскоп себе на шею.

– Отлично, я молодец. – как всегда беззаботным тоном подмигнул анестезиолог медсестре, тут же за столом заполняющей титульный лист истории болезни.

Таширов надел перчатку и подошел к каталке, на которой лежал пострадавший. Его одежда была в крови, но уже с первого взгляда было понятно, что потерял он ее не более ста – ста пятидесяти грамм. Больших открытых повреждений, равно как и продолжающегося наружного кровотечения нет. Это значит одно из двух. Либо падение давления функционального характера, что могут исправить реаниматологи своими препаратами. Либо у пострадавшего внутреннее кровотечение, которое, если его не остановить хирургическим методом, убьет его.

– Как легкие? – спросил Таширов, исследуя живот пострадавшего.

Дежурный хирург снял с шеи интерна фонендоскоп и принялся слушать дыхание.

– Дыхание есть над всей поверхностью грудной клетки. С обеих сторон.

– Хорошо. А вот живот мне не нравится. Булькает все. Звук, – он положил свой средний палец на область живота пострадавшего и средним же пальцем второй руки принялся ритмично по нему ударять, постепенно перемещая по часовой стрелке, – при перкуссии тупой. А здесь, – он переместил палец в пупочную область, – как барабан.

– А что это значит? – повторяя эту же процедуру, спросил интерн.

– Это значит, что кишки плавают в чем-то. – ответил Таширов. – В них же газ, а он легче жидкости. Вот и всплыли вверх, к пупку. Если его сейчас перевернуть на правый бок, кишки уплывут к левому и наоборот.

– Понятно. Кровь?

– Скорее всего. Давление видел какое было?

– Видел. А что может так кровоточить? Печень?

– Да, при закрытой травме живота чаще всего или печень, или селезенка. Поднимайте его в операционную. – распорядился Таширов. – Родственники у него есть какие-нибудь?

– Пока никто не приехал, – покачал головой дежурный хирург.

– И откуда нам брать на него медикаменты?

Дежурный лишь пожал плечами. Что тут ответить?

Таширов посмотрел на неглубокий порез на шее, скорее всего, от стекла. Рана шла прямо по щитовидному хрящу, и он отметил про себя, что если бы осколок прошел всего двумя сантиметрами ниже, пострадавшего вряд ли довезли бы до больницы. Маленькая щитовидная железа получает такое же количество крови, как и нога. Кровопотеря была бы смертельной.

Он перевел взгляд на разбитое лицо пострадавшего и замер. В следующую секунду его буквально передернуло, по спине побежали мурашки и кулаки автоматически крепко сжались. Буцев. Тот самый пациент Дерюгина, который его подставил. Вот он здесь, на столе. В крови. Без сознания.

Сердце бешено заколотилось, дыхание стало редким и глубоким. Буцев попал в ДТП. У него кровотечение. Давление держится только на препаратах.

В следующую секунду санитарка, уже бабушка, месяц назад скромно отметившая свое шестидесятилетие, взялась за ручки каталки и покатила ее в сторону лифта.

Таширов, провожая глазами пострадавшего, еще некоторое время стоял не шевелясь. Мысли мчались в бешеном галопе, опережая друг друга. Затем он словно очнулся и, бегло оглядевшись по сторонам, быстро пошел к лестнице.

Зайдя в свой кабинет, он запер дверь и на всякий случай отключил телефон. Сейчас ему никто не должен мешать, хотя бы несколько минут. Сейчас он должен все хорошенько обдумать. Когда он увидел лицо пострадавшего, первой мыслью, мелькнувшей в голове было: «Жаль, что эта тварь не разбилась насмерть». Следующей мелькнула дикая надежда, что он вот-вот умрет, все-таки кровотечение, шок...

Сейчас Буцев в операционной. И оперировать его будет он, Таширов. Вот над чем нужно было подумать. Вот что важно! Он и только он будет держать жизнь этого мерзавца в руках. Таширов почувствовал, что дрожит всем телом. Закрыв глаза, он несколько раз глубоко вздохнул. Немного успокоившись, сел на кушетку и обхватил голову руками. Неужели это происходит на самом деле? Неужели действительно он, Андрей Таширов, всерьез задумал убить человека? Нет, не человека, тут же поправил он себя. Не человека. Человеческий мусор. Отбросы общества. Мразь, упекшую Ивана в тюрьму на пять лет. Превратившего жизнь его жены в ад, обречшего его сына...

Не в силах сидеть на одном месте, он встал и принялся ходить по кабинету. Убить? Ничего нет проще. Смерть на столе. Кровопотеря, ничего не смогли сделать. А если кровотечение не такое уж массивное? Если его вообще нет? Это возможно. Маловероятно, конечно, но возможно. Что тогда? Лечить его? Выхаживать, как ни в чем не бывало? Своими руками вытащит эту мразь с того света, вернуть его в общество, в семью?

Нет, если он сделает так, если позволит Буцеву выжить, он потом всю жизнь будет презирать себя. Это было бы неправильно. Это было бы... несправедливо. Иван в тюрьме, его сын при смерти, жена на грани помешательства, и после всего этого Буцева спасти? Нет. Нет, нет и нет.

Если он, Андрей Таширов, это допустит, если из-за него Буцев выживет, он сам будет недостоин жизни. Недостоин жизни...

Он вновь сел на кушетку. Да, он сделает это. Он не допустит, чтобы Буцева сняли со стола живым. Кажется, он первый раз за все время работы в этой больнице на левом берегу Киева увидел хоть какой-то плюс в том, что медицина на Украине находится в

таком упадке. В самом деле, ведь это же просто дикость, например, что в приемном отделении больницы скорой помощи, куда регулярно привозят больных с подозрением на внутрибрюшное кровотечение, нет аппарата УЗИ, которым можно эту кровь выявить. Поэтому, чтобы не пропустить такое кровотечение, приходится пользоваться варварским методом. Диагностической операцией лапароцентез. Целая операция взамен того, чтобы просто посмотреть на мониторе, есть кровь или нет.

Но сейчас это играло ему на руку. Если там кровь, достаточно ее просто не заметить. Не найти. А потом, на вскрытии в морге, сокрушенно покачать головой, мол, какой же все-таки коварный этот двухмоментный разрыв печени. Ну, или селезенки. Первый момент – рвется орган, но его капсула остается цела. Начинается кровотечение, которое на лапароскопии не увидеть. Подкапсульная гематома растет, кровь в ней все пребывает, а затем раз – второй момент, разрыв капсулы и истечение этой крови в брюшную полость. Если второй момент происходит, например, ночью в палате, такого больного спасти очень трудно, только если среагировать мгновенно и тут же положить его на операционный стол.

Итак, все что нужно, это просто не найти крови на операции. Разрез будет маленьким, как всегда, а вот дренажную трубку нужно будет закрывать пальцем еще до того, как опускать в брюшную полость, а не после. И не промывать полость растворами. Вот и все. Быстро, ловко и, если там кровотечение, смертельно. Это тебе будет за Ивана. И за его семью.

Спустя десять минут Таширов уже входил в операционную. Привычный ритуал: вытереть руки от муравьиной кислоты, в тазу с которой он их продержал последние две минуты, надеть халат, завязать ленточки на рукавах, надеть перчатки, обработать их спиртом. Ассистент, заспанный молодой хирург, уже обложил операционное поле стерильными простынями и также обрабатывал перчатки спиртом.

Операция началась. Разрез, крючки, разрез, прижигание электрокоагулятором попадающих в ране сосудов... вот и брюшина. Тонкая, полупрозрачная ткань, последняя преграда между окружающей средой и брюшной полостью. Подтянув брюшину на зажимах сверху, Таширов аккуратно рассек ее ножницами. Все, он внутри.

Его сердце бешено колотилось, пот крупными каплями выступал на лице и тут же впитывался маской и шапочкой. Момент истины настал. Аккуратно зажав один конец трубки зажимом, он погрузил его

на самое дно брюшной полости, в малый таз. Быстро, чтобы не заметил ассистент, перекрыл доступ воздуха и в верхний ее конец, вытащил обратно. На трубке кровь. Но внутри ее нет. Как и ожидалось.

Повтор, так сказать, для надежности. Снова тот же результат.

– Странно, – пробормотал ассистент.

– Что странно?

Таширов удивленно вскинул брови. Его голос слегка дрожал от напряжения, но он старался говорить как можно более непринужденно.

– Откуда на трубке кровь?

– Из раны, наверное. Ты же видишь, в брюхе сухо. – Таширов в третий раз проделал ту же манипуляцию, и вновь в трубке ничего не оказалось. – Сухо. Согласен?

– Да вроде сухо, – согласился ассистент.

Ну вот и славно. Все прошло как нельзя лучше. Таширов с удивлением подумал о том, что, оказывается, убийство – это не так уж и сложно. Страшновато, неприятно, но в целом терпимо. А ведь кровь там есть, и немало. И, судя по всему, продолжает подтекать. Тем лучше. К утру наш мир уже станет чуточку чище. Уже к утру...

– Зашиваем, – скомандовал он и вдруг осекся.

Вдруг ему стало страшно от осознания того, что он делает. Ведь это все происходит на самом деле. Он совершает убийство. Он убивает человека. Нет, не человека, а... Нет, все-таки человека. Плохого человека, недостойного жить, мерзостного. Но все же себе подобного. Перед глазами все поплыло, он закрыл их и принялся глубоко дышать. Как сквозь вату он слышал обеспокоенные голоса ассистента и операционной медсестры. Они спрашивали, все ли с ним в порядке.

«Нет! – хотел крикнуть Таширов, – Не в порядке! Со мной далеко не все в порядке!»

Он вдруг ясно осознал, что до этого момента не мог в полной мере оценить, прочувствовать ту тяжесть, которая ложится на его плечи. Он не может! Не может! Если он зашьет рану, обратного пути уже не будет. До этого был хоть какой-то шанс, что ассистент или сестра что-то заметят, заподозрят, спасут этого мерзавца от смерти, а его, Андрея Таширова, от убийства... Но нет, они всецело доверяют его опыту и всерьез верят, что кровотечения нет. Он один знает правду, и он один... держит жизнь этого гадкого человека в своих руках...

– Подождите, – еле шевеля пересохшими губами, прошептал он. – Подождите, я проверю еще раз. На. Всякий. Случай.

Ассистент удивленно посмотрел на ответственного хирурга и молча стал наблюдать, как он вновь опускает трубку в брюшную полость, зажимает ее верхний конец пальцем и... достает оттуда полную крови.

– Кровь, – бесцветным голосом произнес Таширов. – Будет большая операция. Мы расширяемся на лапаротомию...

Спустя двадцать минут Таширов отточенными, опытными движениями уже рассекал белую линию живота Буцева. Он был противен сам себе. Он презирал себя. Как же так? Он не смог. Не смог отомстить. Не смог свершить правосудие. Восстановить справедливость не смог.

И теперь ему всю жизнь с этим жить. Всю жизнь. Нет, не с тем, что он слаб. Ему жить с осознанием того, что он мог поступить правильно, мог поступить справедливо. Теперь он точно знал, что это было бы правильно. Нужно было сделать то, что он был должен. Нужно было не идти на поводу у своего страха, не прислушиваться к минутной слабости. Нужно было убить мразь. Убить! А теперь уже поздно. Слишком поздно.

Лучше бы он жалел о том, что сделал, чем о том, что упустил, может быть, единственную возможность...

Теперь, помогая ему, давая Буцеву выжить, он тем самым словно расписывается под фразой: «для меня имеет ценность твоя жизнь». Он пожалел его. Неужели это правда? Неужели он действительно... посочувствовал ему? Но в таком случае чем он сам лучше этого Буцева? Он сочувствует Буцеву, значит, он такой же...

Таширов вдруг вспомнил, о чем он думал перед тем, как пойти на эту операцию. Там, у себя в кабинете. Он пожалел мразь, и теперь он сам не достоин жить...

Ассистент растянул инструментами операционную рану, и теперь кровь была ясно видно. И она продолжала подтекать. Из правого верхнего угла. Разрыв печени. Смертельно, если бы Таширов смог поступить правильно. Но сейчас уже поздно.

Привычным движением он просунул руку к печени и вдруг вскрикнул.

– Что? – ассистент аж подпрыгнул от неожиданности.

– Проклятье! Осколок ребра. У него ребро сломано и пробило печень.

Таширов извлек руку и принялся ее разглядывать. С перчатки в рану капала густая темная кровь.

– С вами все в порядке? – поинтересовалась медсестра. Они обменялись с ассистентом тревожными взглядами, и оба вновь воззрились на разглядывающего свою руку Таширова. Кровь продолжала капать в рану. Медленным движением стянув перчатку, ответственный хирург продолжал вертеть свою кисть и внимательно ее разглядывать.

И тут ассистент и медсестра внезапно поняли, что произошло. Кровь, капающая в рану была из раны на указательном пальце хирурга. Осколок ребра порвал перчатку и проколол его кожу. Рана глубокая, и кровь самостоятельно не остановится.

– Андрей Александрович, размывайтесь. Вам нужна перевязка. Обработка. В первую очередь обработка. Мало ли что у него? Может, СПИД какой, – затараторила медсестра.

Таширов невидящими глазами посмотрел в ее сторону. Он был близок к обмороку. Перед ним, быстро сменяя друг друга, пробежали образы, картины из прошлого. Вот Иван Дерюгин идет на операцию. Он сосредоточен и уверен в своих силах. Вот он выходит с операции. Его костюм, шапочка, маска покрыты брызгами крови. У пациента было высокое давление, и, пока анестезиологи его не снизили, хирурга несколько раз обдало кровью из мелких пересекаемых артерий. Кровь попала на лицо, в глаза. Медсестры тут же закапали ему в глаза альбucid, отчего глаза покраснели и слезились. Вот Иван Дерюгин в день своего ареста. Он идет по коридору и сокрушенно мотает головой. Он чем-то расстроен. Подойдя ближе, он показывает ему результаты анализов Буцева. Гепатит С...

– У Буцева гепатит С, – медленно произнес ответственный хирург.

Он продолжал разглядывать рваную рану у себя на пальце. Вот это и случилось. То, о чем он думал всего минуту назад, осуществляется на самом деле. Он не достоин жить. Буцев мразь, даже не предупредившая врачей о своем заболевании, подставившая Ивана, теперь стал и его убийцей. Гепатит С...

– Нужно было зашить, – еле слышно прошептал он. – Нужно было зашить. Я ошибся. Как же я ошибся. Как я мог?

Шатаясь, он отошел от стола и медленно, не оборачиваясь, побрел в сторону выхода.

ПЧЕЛА В ШЛАНГЕ

«Нет, ну какие же все-таки глупые эти муравьи. Все работают и работают, ходят туда-сюда бесконечными вереницами, – подумала пчела, усаживаясь на цветок. – Трудяги. И что самое глупое – ничего вокруг себя не замечают».

Пчела принялась собирать нектар. Это был уже последний вылет на сегодня, и впереди долгожданный отдых. Еще немного, ну, может быть, всего несколько дней, и она вовсе перестанет трудиться. В их улике медом, пыльцой и расплодом – молодым поколением еще не вылупившихся пчел – заполнены уже все соты. Хватит на всю зиму.

Некоторые ячейки, правда, еще не запечатаны, но это только вопрос времени. Специальная группа пчел сейчас как раз тем и занимается, что готовит их к запечатыванию. Повезло же им, лентяям. Сидят в улике, ждут, когда такие пчелы-добытчики, как она, найдут медоносное растение, соберут нектар и принесут его домой. А им останется только превратить этот нектар в мед, ничего сложного.

Набрав нектара, сколько смогла, пчела взлетела и направилась к улью. Путь не такой уж и далекий, можно сказать, всего ничего, но тоже таит в себе опасности. Бывают случаи, и не такие уж редкие, что пчелы на нем пропадают. Иногда их потом находят, чаще всего без жала. Кто им встелся на пути, в кого они впрыснули свой яд, пожертвовав собственной жизнью? Загадка.

Да, опасный путь. А те пчелы, которые в улике отвечают за безопасность, тоже хорошо устроились. Сидят целыми днями, ничего не делают. Если и вылетают, то только по своим делам, и то далеко от улика не отлетают. Нельзя им отлетать, как же! Охранники. Лучше бы опасный путь от цветов к дому патрулировали. Бездельники, короче говоря, еще одни нахлебники.

Пчела летела в сторону дома и мечтала, как освободится от последней порции нектара за этот нелегкий день. А день выдался жаркий, пить хотелось страшно. Нектар – это, конечно, хорошо, но что может быть лучше глотка чистой воды? Да еще сидя где-нибудь в теньке, в прохладе.

Через весь сад по краю тропинки протянулась длинная вереница муравьев. Маленькие трудолюбивые существа ползли в обе стороны с одинаковой настойчивостью. В одну сторону – к столу, на котором маленькая девочка утром рассыпала ложку сахара, в другую – к муравейнику, уже груженные сладким пропитанием. Впереди холодное время года, и для них сейчас очень важно запастись провизией.

Пчела посмотрела вниз и подумала, какие все-таки глупые эти муравьи. Ползают, только и знают, что трудиться. Да что говорить, если они даже по сторонам не смотрят, ничего, кроме своей работы, не знают. Прimitивные существа. То ли дело – пчелы! Особенно пчелы-добытчики, трудовые.

Ведь в первую очередь от них зависит жизнь всего улика. У них самая опасная и тяжелая работа, они быстро изнашиваются и потому рано уходят на покой. Но и остальные – охрана улика, личная гвардия матки, те пчелы, что кормят малышей, прочие, неизвестно чем занимающиеся, да даже трутни – тоже заняты делом. Пчелы строят соты, собирают нектар, прополис... А муравьи? Только и знают, что носят еду. А куда носят? Непонятно. В какую-то дырочку в земле. Да, примитивные существа. Настолько примитивные, что, наверное, даже и о существовании пчел не подозревают. Да и зачем им это? Их дело трудиться, а не думать, не размышлять.

Последний полет за день оказался на редкость тяжелым. Сказывалась усталость. Весь день в поисках и переноске. Нектар, будущий мед, – основа жизни. Собирая его, пчелы не только продолжают свой род – это примитивно, это могут и такие никчемные создания, как, например, те же муравьи, – но и закладывают основу для дальнейшего развития. Да, именно так. Ведь справедливости ради нужно признать, что, хотя пчелы и являют собой верх совершенства, им еще есть куда расти и развиваться. Чем они и занимаются вот уже сколько летних сезонов. Не то что муравьи. Пчелы – это великие создания. Куда там каким-нибудь мухам и даже осам. Ну и что, что больше, мало ли – сильнее. Не в этом дело.

Пчелы – организованы, они являются передовыми созданиями, и без них не было бы ничего. Не будь пчел, растения не опылялись бы. Не опыляются растения – нет и урожая. Не будет урожая...

Тут пчела задумалась. Она не знала, что было бы тогда, но твердо верила, что ни мухам, ни осам кушать было бы нечего. Так что да – пчелы это вершина возможного совершенства среди всех со-

зданий. Самый пик. Страшно даже представить себе, что было бы, не будь пчел.

А ведь, наверное, было такое время...

Хотя откуда тогда взялись бы остальные живые существа? Откуда они появились? Наверное, их кто-то когда-то отложил в соты как расплод, кто-то выкормил и тогда уже отпустил в свободный полет. А кто это мог быть?

Ответ не заставил себя долго ждать. Ну конечно же, пчелы. Кто еще на такое способен? Кто созидатель сот? Ну, или какая-нибудь одна большая пчела, большая матка, родоначальница всех остальных пчел. Большая Пчела, которая по образу и подобию самой себя отложила в сотах, ею же созданных, первые личинки. Да-да, именно по образу и подобию. Как же иначе?

От осознания своего превосходства у пчелы даже поднялось настроение. Стало как-то легче на душе, светлее. Но налетел небольшой ветерок – как назло, встречный, – и блаженство от чувства превосходства словно испарилось. Вновь навалилась усталость. Порыв стих так же внезапно, как и появился, и пчела обнаружила, что ветром ее сдуло практически к тому же самому цветку, с которого и начался ее полет.

А муравьи все шли и шли... Им-то что? Примитивны, как трава. Ни смысла в их существовании, ни разума, ни поиска, ни душевных метаний. Да что они вообще понимают? Куда им до тех проблем, что гложут пчел?

Напрягая остаток сил, пчела преодолела большую часть пути, когда вновь налетел ветер. Собрав всю волю в кулак, она что было мочи работала крыльями. Но коварный ветер – и откуда он берется, проклятие такое? – снова начал относить ее прочь от заветного летка в верхней части улика.

Пчела слабела с каждым движением крылышек. Силы покидали ее.

И в этот миг она ясно осознала, что если ее снова снесет к цветам, сил на то, чтобы вернуться, может уже не хватить. Даже и без ветра, а ведь ветер-то поднимается.

Решение нужно принимать сейчас. Риск или...

Она сбросила нектар. Сладкая капелька полетела вниз, и тут ветер вновь стих. Пчела выровнялась и, уже не теряя времени, устремилась к улью. Пролетая над муравьями, она посмотрела вниз и увидела, куда эта капелька упала.

Маленький муравьишка изо всех сил старался выкарабкаться из липкой сладкой массы, которой оказалось для него больше чем

достаточно, чтобы накрыть его с головой. Он беспомощно шевелил лапками, но выбраться не мог. Муравей тонул...

Пчела, ошутимо потерявшая в весе, без особых проблем добралась до улья и влетела внутрь. Ее тут же окутали темнота и мерное жужжание тысяч крылышек. И никакого тебе ветра. Хорошо и безопасно.

Некоторое время она просто сидела и отдыхала. В памяти возник образ глупого муравья, тонущего в нектаре. «Интересно, – подумала она, – успел ли он понять, что тонет? Нет, наверное. Откуда ему вообще могут быть известны такие понятия, как "утопление" и "смерть"? Глупость какая!»

От мысли, что муравей мог о чем-то размышлять перед смертью, у нее поднялось настроение. Глупая мысль. Это, наверное, от усталости. Размышляющий муравей – это все равно что размышляющая трава. Растение. Бездумное и ненужное.

Вдруг она вспомнила, что хочет пить. Неприятность. Вода есть только на улице – перед уликом лежит шершавый камень, на который капает вода. Скрепя сердце пчела подползла к летку и выглянула наружу. Тихая летная погода постепенно сменялась на ветреную нелетную, порывы ветра налетали все чаще и становились сильнее.

И тут она вспомнила про одну вещь, которую увидела еще утром. Круглая норка – в нее одновременно смогли бы пролезть не менее трех пчел, – из которой сочилась вода. Тихое, безопасное место. Лучшего не найти. И находится недалеко.

Дождавшись перерыва между порывами, пчела выползла наружу и устремилась к заветному укрытию. Круглая норка лежала в большой луже воды, но в ней самой было почти сухо.

Залетев внутрь, пчела огляделась по сторонам. Уютное место, круглое, как тельце у пчелы, но намного длиннее. Намного. Задней стенки даже не видно. Зато на дне тоненькая струйка воды. Чистой и прохладной. Отличное место для отдыха.

* * *

Приближался вечер, и ветер дул все сильнее. Телеведущая прогноза погоды, размашисто жестикулируя в своей студии за много километров от маленького городка у подножия горы, вещала, что «местами ожидаются осадки и порывистый ветер». Где эти самые «места», она, как всегда, не уточняла. Да и откуда ей знать? В конце концов прогноз погоды – вещь очень приблизительная и нужен он в первую очередь не ради пресловутого прогноза, а ради рекламы.

А вот то, что вечер уже почти наступил, а по хозяйству еще не все переделано – это факт бесспорный. Хотя и осталось-то всего-навсего полить огород и сделать домашнее задание. А еще пчелам воды налить в бак, а то он уже почти пустой.

Ворча себе под нос, девочка быстрыми привычными движениями подсоединила шланг к крану и открыла вентель. Младшая сестренка, как обычно, бездельничала, бегала по двору и топала ножками. «Беззаботное детство, – подумала девочка, – никаких проблем. Никакого домашнего задания. И огород поливать не надо. Эх...»

– Смотри! Смотри, пчелка! – радостно закричала младшая сестричка и присела на корточки, разглядывая что-то лежащее на земле.

Девочка подошла и присела рядом. В мокрой жиже из земли, песка и воды медленно ворочала грязными крылышками пчела.

– Она что – купается? Почему она мокрая? – ребенок вопросительно посмотрел на старшую сестру.

– Да, наверное, в шланге сидела, глупая. Вот ее водой и смыло, – ответила девочка и сразу же потеряла интерес к насекомому.

Да и что в них интересного, в пчелах? Подумаешь – утонула одна. Да папа их разводит тысячами и говорит, что живут они недолго. Каждый день умирают и тут же выводятся новые. Насекомые, они насекомые и есть. Примитивные и даже не понимают, что происходит вокруг. Глупые существа, каких миллиарды. Не то что люди...

И, забыв о погребенной в грязи пчеле, девочка продолжила поливать огород.

Она еще не знала, да никто не знал, что ветер принесет с собой тяжелые тучи, готовые в любой момент пролиться на землю настоящим ливнем. И что этот момент наступит как раз тогда, когда эти тучи будут пролетать над горой, у подножия которой стоит их город. И что ливень будет настолько сильным и молниеносным, что на склонах горы образуется настоящий поток. Мощный. Безжалостный. Внезапный.

И этот поток накроет их маленький город и в считанные минуты смоеет его с лица земли.

Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ, *Выкса*

БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА

Ну кто думал, что из этого желто-серого подвижного комочка уже к августу вырастет большущий гусь с мощными крыльями – и полетит. Над бескрайней тундрой с ее множеством болот, неожиданными хлопками и свистом чего-то невидимого, уходящего под ле вверх, – все это исходило от двуногих существ, которые то ли так приветствовали юного гуменника, то ли пытались так вот отпугнуть его, возможно, встревоженные его сильными уже крыльями, с наслаждением режущими тугой воздух. Большая мать гусыня и огромный отец гусак с отчаянными криками настигли своего быстро развившегося, но совсем не знающего жизни сына и увели его прочь от выстрелов ненасытных этих людей.

– Га, – коротко и строго сказала красавица гусыня, и Юнга, давайте назовем его так за необычно ярко выраженные полосы на боках, понял, что просто надо быть осторожнее.

Это короткое «га» мудрая гусыня произносит довольно часто, предупреждая своих восьмерых гусят об опасности. Хитрый песец прямо так и ошивается, простите за такое слово, но точнее, пожалуй, не скажешь, возле достаточно большой семьи гусей, все пытаюсь подползти к хоть чуть отбившемуся от братьев-сестер гусенку. И тут уже поднимается отец – удары его крыльев страшны, уже одно его шипенье не для слабонервных, а воинственный клич заставляет откликнуться тысячи гусей, которые в тундре – дома. Тысячелетиями они прилетают сюда и потому пытаются дружно противостоять врагу, посягнувшему на святое – на несмышленного еще гусенка.

Иногда опасность падает с неба. Это хищный ястреб, часами неторопливо нарезавший круги под небесами, заметил жертву, увлекшегося вкусными ягодами гусенка, и со свистом падает на него, выставив вперед свое опаснейшее оружие – когти.

Было такое нападение и на шаловливого непоседу Юнгу. И опять спас отец, хотя сам тогда здорово пострадал: ястреб нанес ему страшный удар клювом. Но пятикилограммовый гусь-великан выжил. Несколько дней к нему, почти не двигавшемуся, забивше-

муся в болотные кочки, подплывала гусыня и тревожно спрашивала: «Га-га?»

– Га, – тихо отвечал глава семьи и с трудом проглатывал щепоть сладкой и питательной болотной ряски, которую приносила в клюве гусыня, – проглатывал, чтоб успокоить свою, конечно же, прекрасную гусыню.

Подумать только, сколько лет они вместе! И ведь выжили, дремотно думал раненый гусак. Ведь насколько опасен, скажем, для гусей период линьки. Люди – ох уж эти безжалостные люди! – просто ходят по тундре с палками и убивают их тысячами, беспомощных и сейчас не умеющих летать. А Британские острова, куда некоторые из гуменников летят зимовать? Тысячелетний инстинкт и, конечно же, безмерная усталость обязательно заставят их опуститься у старинного замка. Да-да, в эту шириной в два метра речушку. Безусловно, когда-то замок стоял на берегу быстрой и весьма широкой реки. Но все умерло. И прежние хозяева, и огромные деревья, и сама река. Вот она, бежит сейчас поросшим ивняком ручьем. Но все равно изможденные гуси падают сюда сотнями. Хотя многие знают: сейчас из красного замка, где башни со шпилями, выйдет двенадцатилетний мальчишка со специальной дубинкой и начнет их, совершенно беспомощных, убивать. Бьет он гусей лет с восьми, бьет отработанным ударом – по шее. Это традиция. Тот из гусей, что так и не найдет сил оторваться от воды, попадет в замок. А самый большой – даже на праздник, он окажется на столе в качестве рождественского гуся.

А в прошлом ноябре вожак сбил летевшую углом над Британскими островами стаю вокруг себя и быстро-быстро загоготал. Надо думать, он горячо объяснял своим соплеменникам то, что, мол, хватит с них вековых людских традиций и своих опасных привязанностей, достаточно этих страшных кровопролитий и смертей у красного замка, где на шпилях красуются металлические флажки с треугольными вырезами. Летим мимо. Не выдержим? А надо выдержать. Надо миновать розовощекого улыбчивого мальчишку-хищника и добраться до ближайшего водоема.

Обессилевшие гуси прошли низко над замком – упитанный мальчишка со специальной дубинкой в руках зло смотрел вслед: гуси не опустились в ручей. Правда, пара птиц все-таки попыталась упасть у замка, но резко снизились гуси, в чьих крыльях еще были силы, и, рассекая перед слабевшей парой осенний воздух, буквально подняли ее вверх.

Стая, тяжело взмахивая большими, но будто окаменевшими крыльями, идет над залитыми ярким светом огромными городами, над дымящимися или искрящимися производствами. Ведь уже наступила ночь. «Га-га-га!» – тихо и быстро пролетало по стае – наверное, всех мучил один вопрос: где вода? Где ты, спасительная влага, что даст покой, отдых и корм?

И вдруг – она. На черной ее поверхности играли блики огня: похоже, рядом был какой-то завод. Ну и что? Водоем достаточно большой, а сил осталось совсем мало. «Га», – коротко произнес вожак, и стая пошла вниз. Это был гудрон – на заводе произошло ЧП. И напрасно отчаянно подавали сигнал беды гуси, что первыми опустились в незаастывший гудрон, шедшие на пределе птицы все падали и падали в ловушку, коварней которой, наверное, не придумает самый изощренный злой ум. Гусака и гусыню спасло то, что они опустились у самого края чудовищного рукотворного озера.

А утром на предприятии и в ближайшем городке переполох: ночью в гудрон попали сотни гусей. Сотни птиц уже погибли, сотни находились в ловушке. Спасено гусей было совсем мало. Но нашим гусаку и гусыне отмыли розовые лапы, они отдохнули прямо здесь, у завода. Поели – им привезли травы и зерна, – и полетели на привычное место, на зимовку. А что такое зимовка? Это ожидание весны, это нетерпеливое ожидание большого полета. Опасного? Опасного, но тундра – это неповторимо, тундра – это счастье, тундра – это родина. А вы пробовали когда-нибудь голубику?

...Гусь выжил. А оправившись, произнес свое «га». Сентябрь, мол, пора уходить. Есть ли места лучше тундры? А вот побывайте, несмышлениши, на Британских островах – и сравните. По мне-то, конечно, тундра – это все, но вы молодые, а молодежь, давай, мать, согласимся, она умнее. Можно ведь просто жить, скажем, в Дании, никуда не улетая. Или мигрируя в Европе. Варианты есть, и кто-то их успешно использует. Но я родился в тундре...

В сентябре гуси, сбиваясь в большие или малые стаи, пошли на зимовку. Средней полосы России достигли в октябре. Где они, озимые поля? Совсем мало их. Отдых и кормежка на воде. «Га-га!» – это клич вожака. Это он напоминает стае, что не стоит идти на глубокие озера и заросшие, нескошенные луга. Торфяные, заросшие травой карьеры неглубоки, и корм там более-менее есть. Идем на них. Мы же так поступили в прошлом году.

Судя по выстрелам, охотников было несколько. Снизившиеся над карьерами гуси падали один за другим. Вот упал старый гусак, вот уже нет прекрасной гусыни. И Юнга, видя это, косо развернувшись, уходит к лесу. Кажется, все выстрелы сосредоточены на нем, но он летит. Это невероятно, но он вырвался. Тревожно позвал мать и отца – и ничего. Отчаянно крича, сделал круг над болотом на большой высоте – тишина. Второй круг сделал, несколько снизившись. Третий совсем низко – и тут вновь ударили ружья. И что-то случилось. Кажется, Юнга крошит воздух своими мощными крыльями на мелкие кусочки, но он... Он безудержно падает, переворачиваясь и переворачиваясь через крыло.

– Готов! – доносится снизу.

Юнга раскалывает воду – брызги взметнулись к низким серым торопливым тучам, а он уходит под воду.

– Где он?

– Да прямо напротив меня упал – в двадцати метрах!

– Смотри, сейчас вынырнет.

– Да падал-то ведь камнем.

– Не, у него крыло перебито. Видел, как он вращался в воздухе.

– Все! Тихо! Смотрите.

Юнгу они не увидят больше никогда. Пройдя под водой метров пятьдесят, в траве он чуть показал свой двухцветный, оранжево-черный клюв и, набрав в легкие воздуха, опять ушел под воду. И вот он уже в лесу. Он бежит, волоча перебитое крыло. Больно? Наверное, невыносимо больно, но он, Юнга, хочет жить. У него еще не сформировалось понятие смерти, но понятие опасности ему знакомо с рождения.

– Ушел твой гусь, – охотники все пытались найти Юнгу. – Может, под кочку забился и погиб или в траве под водой. Ладно, мы и без того неплохо постреляли. Пойдем к машинам, обмоем это дело.

А Юнга, отлежавшись под можжевельным кустом, через несколько дней стал вставать: голод не тетка. Ел бруснику, благо в этих местах ее было много – глухари не успели всю собрать.

Гусь восстановил силы, и это его спасло. К нему, клевавшему бруснику, очень умело подползла лиса. А вот напасть как следует не сумела, ведь гуся, в конце концов, она видела впервые. Пытаясь схватить Юнгу за шею, рыжая попала под правое – здоровое – крыло птицы. Удар гуся крылом был так силен, что откинул лису метра на три, заставив ее перевернуться. Рыжая, не ожидавшая такого сопротивления, бросилась прочь, оставив всякую надежду вцепиться зубами в крепкую, длинную и, верно, вкуснейшую шею Юнги.

Гусь так и жил в брусничнике, но однажды этот рай кончился: в ноябре выпал снег. Гусь, повинаясь инстинкту и некоему внутреннему компасу, двинулся на запад.

Крыло у него срослось, но оно стало заметно короче, то есть летать Юнга больше не мог. А идти ему по довольно глубокому и пушистому снегу было тяжело. Но вот гусь вышел на дорогу и, конечно, двинулся по ней: дорога была наезженной.

– Смотри, гусь на дороге!

Водитель резко затормозил автомобиль.

– Даже не пытается скрыться – видно, ранен.

Мужчины выскочили из машины, один прямо-таки с какой-то волчьей прытью бросился к изваянием стоявшей птице.

Юнга, сначала не знавший, как вести себя – ведь он впервые видел человека так близко, – неожиданно быстро бросился с дороги в лес. Мужчина настигал его, но Юнга, еще недавно столь ловкий гусь, увертывался от нетрезвого любителя гусятины.

И гусь ушел. Чертыхнувшись, вернулся к «уазу» запыхавшийся ловец птиц.

– Не поймал?

– Сам бы попробовал.

– Я на тебя понадеялся. А ведь как он хорош, гусь с гречей!

– Ну поприкалывайся, поприкалывайся.

Машина ушла. Юнга же, забившийся в ельник, вдруг понял, что он нестерпимо хочет есть. Попробовал кору ели, иглицы. Попробовал сосну. Срывал видневшуюся из-под снега траву, но голод не уходил. Гусь опять вышел на дорогу – ведь она, как он понимал, вела прямо к Британским островам.

Он шел и шел. Ночью отсиживался под елью или можжевельным кустом, а днем шел. Заслыша гул автомобиля, сходил с дороги и затаивался: гуменник, пожалуй, самый осторожный гусь.

В декабре ударили морозы. И это он бы еще перенес, но вот с пищей стало еще хуже. Ну что за пища – ягоды можжевельника? Да и они-то нечасто попадают.

Поселок возник неожиданно. Прямо среди сосен. Гусь стоял на дороге и смотрел на этот совсем неизвестный ему мир. Изредка на улице появлялись люди. Раздавался лай собак – этого Юнга еще никогда не слышал. На ночь он забился под стог, что стоял почти у леса. Тут и дом-то стоял прямо у леса.

Как же он хотел есть. В общем, утром Юнга просто пошел к дому, к человеческому жилью. Застыл у порога и стал ждать, сам

не зная чего. Наверное, все-таки помощи, ведь он ослаб, он очень-очень хотел есть.

Мишка Попков, известный выпивоха, уже шел от шинкарки. За пазухой, сладко грея, лежала бутылка палёнки.

– А это еще что за привидение?! В нашем поселке гусей сроду не держали. Стало быть, приبلудный, то есть мой.

Мишка взял гуся на руки, тот не сопротивлялся.

– Ух ты, красота-то какая! Пойдешь ко мне в гости? Я тебя хлебом накормлю.

В доме Мишка накрошил в миску хлеба, влил туда же воды и поставил перед Юнгой. А тот опять застыл изваянием – за Мишкой наблюдает. Мишка же, потчует гуся, не забывает и себе палёнки наливать. Влив «в нутрё» третий стопарь, удовлетворенно произнес:

– Вот теперь все хорошо. Только ты, серый, почему-то не ешь. Может, мне уйти – станешь посмелее?

Мишка вышел на улицу. Надо было с кем-то пообщаться. О гусе рассказать, да и вообще. Первым ему встретился Василь Борисыч, семидесятилетний, но бодрый еще мужичок.

– А ко мне гусь в гости пришел, – сообщил ему тут же Мишка.

– Сам ты гусь... Опохмелился, что ли?

– На свои пью.

– Ну и пей на здоровье. Чего ты меня-то остановил?

– Гусь, говорю, ко мне пришел. Прямо к дому.

– Гусь? В декабре? Кончай, Мишк, пить, пока зеленые змеи не пришли.

– Не веришь? Ну и ладно. Я пойду к Павловне, она умная, скажет, что с птицей делать. Надо выхаживать ее – ослабла.

– Ты ай правду говоришь?

– Мне перекреститься, что ль? Огромный гусь пришел ко мне сам. Я ему хлеба давал, при мне не ел. Что вот с ним делать? Пойду к Павловне – она подскажет.

– Не знает он, что делать... Пойду-ка я посмотрю на твоего гостя.

– Иди, только не пугай его. Пусть привыкает.

– Не бойсь, не испугается.

Вернулся Мишка домой с Павловной.

– Василь Борисыч, а гусь-то где?

– Гусь-то? В чулане.

Мишка шагнул на кухню. Гусь лежал в тазу. Там же была и отрубленная голова.

КОГДА УМИРАЮТ ОРЛЫ

Как вы считаете, есть ли в нашей местности орлы? Нет? Ошибаетесь. Изредка они встречаются. Помню, как-то на охоте я поймал молодого орла руками: летал он еще слабовато, а тут кусты, палки да елки – развернись-ка с двухметровыми крыльями!

Я взял огромную шипящую птицу в руки и принес ее в машину. И, как только отпустил исполина, тут же получил свое: его когти пронзили левую ладонь насквозь – один коготь вошел с тыльной стороны ладони, другой – с внутренней. Освобождали меня, пойманного, с помощью пассатижей.

Очень красивая птица оказалась в нашей автомашине. Крылья подняла, а под ними – белое-белое перо. Орла отпустили – это уже когда он нанес мне мощнейший удар в скулу у глаза; шрам заметен до сих пор.

Так что орла у нас можно встретить. Во всяком случае, до лесных пожаров изредка они попадались. Сейчас не знаю. Наш великолепный лес пострадал здорово.

Но... Как увлеченно и влюбленно (даже не стану подбирать другого слова) жила та пара орлов, о которой хочу рассказать, в те месяцы перед пожарами! Орлы – создания здравомыслящие и, прежде чем обзавестись птенцами, не теряют головы, даже влюбленно кружа в обворожительном танце – там, высоко в небе.

Прежде всего дело. А дело – это гнездо на самой вершине дерева. И вот такое сооружение, чей диаметр – метра два, а глубина убедительна, начинает возводиться. На это отводится месяцев пять. Большие сучья орлы поднимают на вершину, скажем, сосны в когтях, те, что помельче, – в клюве. Свой дом, согласитесь, – это ведь всегда прекрасно? А если делать это с любовью и любя?

Конечно же, на любовные игры свою верную орлицу – а жила эта пара прекрасных птиц вместе уже не первый год – спровоцировал красавец орел. Своим витиеватым полетом, неожиданными пируэтными и падением сверху на нее, орлицу, которая, конечно же, в конце концов не выдержала и, выставив вперед когти, пошла на орла. Наверное, опасна орлица в нападении, но здесь-то орел точ-

но знал – это не нападение, это страсть, зов, это орлиная прелюдия перед совокуплением.

В две тысячи десятом лето было сухим и жарким. Выжил у орлов один птенец. Орел чаще всего парил в небе, высматривая добычу, а самка и совершенно еще в июле голый орленок ждали пищу. Заяц? Это и достаточно много, и, знаете ли, вкусно. Орел, а ты еще здесь? Самка бесцеремонна с отцом своего единственного драгоценного птенца. Она просто бьет мощного орла крыльями. А чего, любимый, с тобой церемониться? Неси нам пищу. Ах, ты сам голоден?! Но наш сын не попадет тебе в качестве пищи. Лети, ищи. И неси добычу сюда. Тогда, глядишь, и тебе чего-нибудь перепадет.

И чего, моя голуба, распустила крылья? Орел уже рассекает небо, он же знает, как нежна его орлица, какая она бескомпромиссная мать. Впрочем, своему орлу она доверяет полностью и потому, отлучаясь, может оставить птенца на него. А орленок так и не успел научиться летать. Не суждено ему было стать орлом. В непривычную августовскую жару начались пожары. Орлы напряженными пружинами сидели по ночам в гнездах, вглядываясь в красное небо. А пожары приближались с юго-востока. Как же быстро она шла, эта небывалая беда.

Полыхнуло Семилово – зоркий орел из-под небес видел маленьких мечущихся людей. Село Сноведь отстаивали, словно идя в последний бой. Хитрый же огонь обошел Сноведь – и вот уже полыхают сосны того старого леса, где орлы живут немало уже лет – в высоком гнезде, поправляя его из года в год. Но ладно гнездо... Верховой огонь стремителен и беспощаден. Птенец, не умеющий летать, – он приговорен. Ах ты, безвинный-безвинный пичужонок!

Огонь проглотил гнездо, сооруженное из сухих ветвей и выложенное внутри мягкой сухой травой, в один миг. Ничего еще не понимающий орленок пытался выбраться из пороховой бочки гнезда. Вероятно, он кричал, во всяком случае, орлица, метавшаяся, словно потеряв рассудок, в огненном аду, увидев беспомощно и страшно раскрытый, видимо, в крике, рот своего птенца, рванулась к фейерверком полыхнувшему гнезду – и ее не стало, такой любимой и суровой. Сгорел и орленок.

Опаленный огромный орел едва вырвался из этого всепожирающего пламени. Кружил день, другой над дымящимся лесом, кружил, ни на что уже не надеясь. Кружил неделю – над страшным черным лесом, который теперь не чадил и не выбрасывал пушечно из своих зарослей те ирреальные огненные шары.

Он остался один. Вероятно, один орел на сотни километров окрест. Пустота. Чернота. Никчемность. Осенью орел улетал на Дальний Восток на зимовку. Мог, наверное, перезимовать и в здешних лесах, но ведь и питаться-то нечем.

Весной он вернулся, сел на недогоревший сук дерева, еще в минувшем году державшего его большое и прочное семейное гнездо. Сидел долго, не шевелясь, даже не повернув золотую свою шею туда, где вдруг раздался рокот тяжело груженного обожженной сосной лесовоза. Как быстро в этом непроходимом и редко посещаемом людьми лесу образовались дороги! Лес увозят...

А автомашина была уже совсем близко. Орел сорвался с дерева и пошел сквозь поредевшие деревья прямо на медленно ползущий лесовоз. Удар в лобовое стекло был страшен. Огромную птицу отбросило в сторону. Водитель в свою очередь ударил по тормозам, по стеклу автомашины тонко струилась кровь, собираясь в красные ручейки из брызг все той же крови.

Водитель осторожно приоткрыл дверь автомашины. Осторожно подошел к птице: беркут был мертв.

– Вот это пичуга! Сроду такой не видел, – пробормотал шофер. – Глухарь, наверное. Вечером под водочку ох как пойдет!

Андрей ЕВСЕЕНКО, *Орел*

ЧЕСТНАЯ СДЕЛКА

Тусклые огоньки дежурного освещения нехотя отражались в мраморных плитах коридора. Их отблески, казавшиеся янтарными дорожками, бежали навстречу друг другу, пересекались, сталкивались и теряли силу, так и не сумев разогнать окружающий сумрак. Массивные бронзовые люстры, заснувшие поздно ночью, пока берегли свой холодный ргутный свет, чтобы через несколько часов утопить в нём гулкое эхо спешащих шагов. Вскоре людские волны ворвутся в узкий фарватер, заполнят собой всё пространство и, забурлив, разобьют о гранитные берега хрупкую тишину. Монотонный гул голосов сольётся с рекламной какофонией громкоговорителей, и Земля постареет ещё на один день.

Сергей подбросил монетку, поймал и, зажмурившись, загадал желание. Решка была внизу: сегодня обязательно повезёт. Уже смелее, он вошёл в метро, миновал турникет со скучающе-бдительными контролёрами и растворился в суете бегущих лестниц. Вот и переход. Монетка не обманула – его место свободно. Сергей расстелил на холодном полу картонку, осторожно положил футляр и достал из него закутанную, словно ребёнка, скрипку. Никто не обращал внимания на ещё одного жителя подземелья. У всех были свои дела и заботы: старушка продавала газеты, грязная женщина с маленьким ребёнком тихо и жалобно рассказывала о голоде и операциях, деловито суетились карманники. И только старенькая картонка с нетерпением ждала волшебного мига, когда она превратится в сцену.

Первые ноты, рождённые неумелой рукой, растворились в шуме толпы. Удивлённая новым звуком, она ответила звоном мелких монет. Моцарта сменила «Мурка», и футляр стал наполняться быстрее. Вскоре подошли крепкие парни, но, услышав «Владимирский централ», зашагали дальше, бросив в скрипача смятой сторулёвкой. Монетка была права. Сергея охватил азарт, смычок

веселее забегал по струнам и, казалось, ноги прохожих вот-вот пустятся в пляс, увлекаемые весёлыми тактами еврейского танца. В суете нот Сергей не услышал стука кованых набоек. Он продолжал играть и ещё улыбался, когда увидел глаза подошедшего человека. Ещё миг – и холод от их льда сковал все мышцы, куда-то пропал необходимый лёгким воздух, и Сергей опустился на картонку, поджав под себя ватные ноги. Сквозь гулкий стук крови в ушах, он услышал тишину. Нереальную, невозможную в этом месте и от этого ещё более ужасную. Всё замерло, как на стоп-кадре, и даже время остановилось на половинке секунды. Откуда-то издалека в этот миг, вдруг ставший вечностью, долетали хлопки ладоней. Набат аплодисментов, проникая в грудь, сжимал сердце и вливал в кровь липкие капельки страха:

– В-вы кто?

– Прохожий. Вы же видите: серая шляпа, костюм и туфли такого же цвета... Я один из тех, кто всегда рядом с вами.

– Прохожий?

– Да. Я вижу, вам нужна помощь.

– Помощь, мне?

– Конечно, вам. Разве вы не замечали, как стонет скрипка в ваших руках? Готовая подарить чудо, она плачет от боли.

Незнакомец забрал инструмент из непослушных рук скрипача. Тонкие пальцы нежно пробежали по грифу, и он закрыл глаза.

– Германия, XVIII век, – металл в голосе куда-то исчез, – я помню этого мастера. В свои лучшие скрипки он вкладывал душу. Он не думал о деньгах, и его скрипки рождали такую музыку, перед которой меркли бриллианты королей.

Прохожий повернулся к Сергею:

– Да, вам нужна помощь. Я предлагаю сделку. Вы убедитесь, она честная. Я дам вам талант...

– Талант?

– Не перебивайте, – прохожий щёлкнул пальцами и следующий вопрос, застрял в горле Сергея, – взамен я не требую ничего. Мы вскоре встретимся. Может, через месяц, а может, через десятилетия. Вы сами почувствуете, когда настанет момент выбора. Для таланта и вечности время не имеет значения. Тогда вы решите, нужен ли вам этот дар. И тогда вы сами назовёте цену.

Скрипач сидел на полу, а мимо спешили люди. В тесный мир перехода опять вернулись гул голосов, скрип эскалатора и надо-

едливая реклама. Пытаясь успокоиться, Сергей убеждал себя, что духота и усталость могли вызвать странную галлюцинацию. Через несколько минут ему почти удалось поверить в это, но к лежащей рядом скрипке он всё ещё боялся прикоснуться. В голове родилась спасительная мысль: «Руки трясутся, сегодня играть уже не буду!» Накрыв инструмент тряпочкой, он уже хотел положить его в футляр, но вдруг увидел незамеченную им раньше подпись мастера. Латинские буквы сплетались замысловатой вязью. Скрипач зачем-то погладил её и, не успев удивиться, почувствовал, как тепло, возникшее где-то на кончиках пальцев, проникает в него всё глубже и глубже, заполняя неведомым ранее чувством свободы и власти. Скрипка сама легла на плечо, смычок коснулся струн, и на шумный хаос перехода обрушилась лавина гармонии. Раздавленные совершенством, люди испуганно жались к стенам туннеля, но музыка и там настигала их. Послушные воле струн, они страдали и плакали. Слезы были горькими, но их горечь смывала копоть с души. А скрипач всё играл и играл. Его руки, не зная усталости, вспоминали сотни никому прежде не известных мелодий, написанных уже забытыми или ещё не рождёнными гениями.

Когда Сергей выходил из закрывающегося на ночь подземелья, все его мышцы ныли от изнеможения. Талант, пока ещё не обузданный, не хотел считаться со скромными возможностями человеческого тела.

Маэстро не ездил на метро уже много лет. Бесконечные гастроли диктовали свой ритм жизни, заставляя спешить даже его самолёт. Да и статус мегазвезды не позволял и думать о таких чудачествах. Время и имидж – это деньги. Конечно, гению не интересен бранный металл, но его очень любят продюсеры. И всё-таки однажды ступени перехода услышали лёгкий шелест дорогих туфель. Не слушая возражений, он оставил охрану у входа. Сегодня скрипач должен быть один.

То же место, та же толпа и та же скрипка. Он играл Рахманинова, когда услышал знакомые аплодисменты:

– Bravo, маэстро! Я восхищён, а это, поверьте, бывает очень редко. Ваш дар прекрасен. Да-да, не спорьте, он ваш. Стал вашим. А я только проходил в нужное время в нужном месте.

– Я решил...

– Я знаю. Но впрочем, продолжайте, скажите сами.

– Я отдам вам, вернее, я хочу...

– Да не стесняйтесь, говорите. Я слышал и не такое.

– Хорошо. Я ушёл из семьи... к другой. С женой мы давно были чужими, но дочь... Я не смог забрать её к себе, а теперь и видеть её у меня нет возможности: жена не позволяет.

– Но чего же вы хотели, ведь при разводе ваши адвокаты не оставили ей ничего?

– Я боялся, что она заберёт скрипку, и подписал все бумаги.

– Конечно, и теперь...

– Дочь часто снится мне. Это печалит меня, мешает искусству.

– Понятно. Совесть и любовь. Это легко исправить. Что-нибудь ещё?

– У меня умерла мать.

– Соболезную, но что я могу?..

– Спасибо, боль уже утихла, но когда я прихожу на могилу, возвращается и терзает. Терзает – нет мочи...

– Это скорбь. Заберём и её. Позвольте ещё добавить в список грусть, тоску, необузданную радость и трепет нежности. Ещё немного слёз и смеха. Поверьте, все это не нужно вам, маэстро. Всё это мешает вам достичь совершенства.

– Берите скорее. Я устал жить с этим грузом на душе.

– Конечно, талант обостряет все чувства. Но будьте спокойны, я помогу. Теперь будьте спокойны.

Из перехода маэстро вышел лёгкой походкой человека, идущего к цели. Его вес уменьшился всего на несколько граммов. Несколько граммов человеческой души.

РАЗГОВОР О РЫБАЛКЕ

Поезд медленно подъезжал к вокзалу. Семафоры горели зелёным, но он не спешил, не хотел громким стуком своих колёс нарушать сонный покой древнего города. Такой огромный и сильный среди бескрайних полей, здесь он уменьшился, стал как будто игрушечным. С вершин городских башен смотрели на него золоченые флюгеры и о чём-то недовольно переговаривались между собой на непонятном языке. А когда состав подъезжал к ним ближе, с важным видом отворачивались в сторону.

Старший группы уже минут пятнадцать пытался собрать возле себя туристов. Два десятка школьников устроили игру в догонялки прямо на платформе. Они радовались солнцу, теплу поздней осени, столь непривычному для средней полосы России, и, казалось, никакая сила не сможет построить их в колонну. Наконец, старший не выдержал и, вспомнив о своём офицерском прошлом, рявкнул так, что мальчишки посерьёзтели и даже на несколько минут стали послушными.

Их состав загнали на последнюю платформу. Ни подземного туннеля, ни моста там не было. Этими привилегиями могли пользоваться пассажиры совсем других поездов. Пришлось обходить длинную цепь грузовых вагонов. Потом, пропускать маневровые тепловозы и электрички. На них ругались милиционеры, путейцы грозили своими флажками, но мальчишки и не думали унывать. Они готовились к празднику.

Наконец, группа вышла к вокзальной площади. Старший пересчитал ребят и вздохнул с облегчением: «Все, слава богу!» Здесь их должен был ждать туристический автобус.

Поиски к успеху не привели, ожидание тоже. Наверное, их просто забыли встретить. Старший пытался звонить в местное турбюро, но на другом конце провода он слышал лишь короткие гудки. Волнение нарастало, но показать свою неуверенность ребятам было нельзя. Приходилось улыбаться:

– Планы немного изменились. Мы пойдём пешком. Вокзал находится в самом центре города, и самое интересное мы сможем увидеть именно так.

– А сумки?

– Мы их сдадим в камеру хранения. Спорю, вы не умеете ими пользоваться?

– Умеем, – загалдели мальчишки, – там нет ничего сложного!

– Вот сейчас и проверим!

Прежде чем выйти в город, старший ещё раз пересчитал свою группу и, немного успокоившись, сказал:

– Посмотрите на площадь. Видите высокую колонну с часами? Она будет нашим ориентиром. Если вдруг кто-то заблудится, главное – не бояться и не паниковать. Просто разворачивайтесь и идите обратно к колонне. Остальная группа вернётся сюда через три часа. Всё ясно? Тогда вперёд!

Коля, к своему удивлению, потерялся очень быстро. Он остановился всего на минутку, чтобы получше рассмотреть модель реактивного самолётика, стоящую за толстым стеклом витрины. Повернулся позвать остальных, но их уже не было. Коля совсем не испугался, но шаги почему-то ускорялись, и он побежал по улице, заглядывая за каждый угол, в каждую арку. Группы нигде не было. Узкая лента петляла, уводила за собой и, как змея, сжимала свои кольца. Поворот, ещё поворот... Ноги стучали по брусчатке тротуара, дыхание сбивалось. Высокие крыши домов смыкались над ним и, закрывая солнце. Вокруг – ни души, кругом – только стены. Эхо быстрых шагов, и равнодушный скрип флюгера на башне.

Коля сильно устал, и хотя он бы в этом ни за что не признался, ему было очень страшно. Высокая колонна с часами пропала! Она скрылась за занавесом домов, и Коля не знал теперь, куда надо идти. Отчаяние подступало всё ближе. Казалось, он навсегда запутался в паутине незнакомых улиц и чужих домов. Но в детстве никто не хочет верить в плохое, и Коля прогонял от себя эти мысли и шёл дальше.

Наконец, ему повезло. Коля увидел двух горожан. Они вели неспешную беседу, делая вид, что не замечают подбежавшего к ним мальчика. Разговор о рыбалке полностью занимал их внимание. Коля стоял и слушал речь на чужом языке. Он не понимал ни слова, но прервать взрослых не пытался. Просто ждал и радовался удаче.

Когда в разговоре возникла пауза, Коля подошёл поближе:

– Извините, вы не подскажете, как пройти к вокзалу? Я заблудился, а мне очень надо туда вернуться.

Один из горожан просто отвернулся. Другой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи, ткнул пальцем куда-то в сторону. Больше внимания на мальчишку они уже не обращали. Но Коля был рад и этому. Он побежал, вначале быстро и уверенно, потом всё медленнее и, наконец, остановился. Дома сжимались всё теснее, сеть и не думала его выпускать.

Три часа уже давно прошли, а Коля всё ещё бродил по запутанным лабиринтам древнего города. Он спрашивал редких прохожих, но они делали вид, что не понимают русского языка. Или показывали куда-то, но каждый раз в новом направлении. Тяжело в одиннадцать лет поверить, что тебя ненавидят, но ещё труднее растопить лёд в чужих сердцах.

Вечерело. Коля уже ни на что не надеялся и никого не спрашивал. Он просто шёл, потому что остановиться было выше его сил. Уставший, голодный, одинокий среди толпы, безмолвный в гуле чужих голосов.

Вдруг его позвали. Коля не сразу понял, что именно его. Но мужчина подошёл и взял мальчика за руку:

– Я вижу, ты потерялся?

– Да, я ищу вокзал.

– Далеко же ты забрался! Он совсем в другой стороне. Ладно, слушай. Пройдёшь два квартала по этой улице, потом... Хотя нет, заблудишься опять. Лучше, я тебя сам провожу.

Они ехали в трамвае, красивом и старинном, – таком же, как город, нарядившийся теперь в гирлянды ярких фонарей и больше не казавшийся Коле чужим и мрачным. Мужчина рассказывал о русском солдате, спасшем его отца из лагеря Саласпиле, о том, что любит Москву почти так же, как родную Ригу, и почему-то виновато улыбался. Пассажиры, сидящие рядом, неодобрительно поглядывали на них и, отворачиваясь, продолжали свой неспешный разговор о рыбалке.

ТРОПИНКА НАДЕЖДЫ

Ёжик спал, и ему снились фиолетовые сны. Любой другой бы на его месте удивился, подумал, не случилось ли чего-нибудь с глазами. Но ёжик только сладко посапывал и смешно шевелил фиолетовыми колючками.

От первой капельки, упавшей на длинный носик, он лишь слегка поморщился. От второй – громко чихнул и проснулся. «Ну вот, кажется, начинается дождь! – сердито проворчал ёжик: – Надо было спрятаться под листья». Продолжая что-то бормотать, он пошёл к ближайшему кусту, смешно переваливаясь на коротких лапках. И тут он услышал звук, совсем непохожий на гром или шум дождя. «Странно», – подумал ёжик и посмотрел на небо. Ни туч, ни даже маленького облака!

Звук повторился. На этот раз так громко, что ёжик даже уколол лапку, пытаясь закрыть свои ушки. «Ой-ой-ой. Как больно! Ну, погодите у меня!» – он погрозил небу кулачком. И в этот момент увидел мальчика. Он громко плакал, размазывая слёзы ладошками, и ёжик понял, почему дождинки показались ему солёными.

– Эй, ты кто?

– А ты кто? – мальчик продолжал всхлипывать.

– Я – ёжик, кто же ещё?!

– Неправда, – слёзы потекли ручьём, – ёжики фиолетовыми не бывают!

– Да? А правда ли, что ты мальчик? Может, ты девочка? Только они так реветь умеют!

– А я не реву! – малыш отвернулся, чтобы ёжик не видел, как он рукавом вытирает мокрые глаза. – Я просто потерялся и не знаю, куда идти.

– Если потерялся в лесу, то это называется: «заблудился», – Ёжик в задумчивости почесал затылок и опять укололся.

– А если заблудился не в лесу, то это как называется?

– Ну, я думаю... – Ёжик и вправду думал, что было сил, даже хмурил свой маленький лобик.

– Не знаю, – сознался он наконец, – я ни разу «не в лесу» не был.

– Ну вот, – мальчик опять начал всхлипывать, – не зря мне старший братик говорит, что я ничего не умею. Поехал по двору на велосипеде и... не то заблудился, не то потерялся!

– А что такое «ве-ло-си-пед»? – ёжик нараспев произнёс новое слово, чувствуя, как его буквы приятно щекочут язычок.

– Ты не знаешь? – мальчик посмотрел на него с удивлением, но тут же понял, что у ёжиков слишком короткие лапки. Им ни за что не достать до педалей, поэтому и велосипеды им не нужны.

– Ну, хорошо, я расскажу. Только слушай внимательно, а будет непонятно – спрашивай.

Малыш очень старался, объясняя ёжику устройство велосипеда. Устали оба. Но никто бы не смог поручиться, что картинка, возникшая в фиолетовой колючей головке, хотя бы отдалённо напоминала двухколёсную мечту любого мальчишки. Но то, что нафантазировал ёжик, ему очень понравилось:

– Как жаль, что в лесу не растут велосипеды! Вот шишек и грибов – сколько хочешь, могу и тебя угостить. А велосипедов нет. Совсем. Ни одного, даже самого маленького!

– Не грусти! Вернёмся домой, я тебя обязательно покатаю на багажнике. Быстро-быстро! Только надо очень крепко держаться. А то упадёшь, и коленки йодом намажут. А он щиплетса очень больно!

– Я буду держаться. Только покатай на багажнике! Побежали быстрее к тебе домой! – И ёжик засеменял по тропинке, показывая, как быстро надо бежать. Но вскоре остановился, снова услышав звуки, совсем не похожие на шум дождя.

– Я не знаю, где мой до-о-ом! – мальчик опять начал плакать. Ему было так горько, что он забыл, что должен стесняться своих слёз.

– Ну-ка не плачь! Ты что, разве не знаешь, что ёжики – сухопутные животные? Если ты сейчас же не прекратишь, я могу утонуть! – Ёжик, как мог, старался изобразить сердитый вид. Но на самом деле, ему было ужасно жаль нового друга. А как тяжело делать вид, что сердиться, когда хочется обнять и успокоить!

– Мы что-нибудь придумаем! – ёжик сказал это очень уверенно, хотя, по правде говоря, он совсем не знал, что надо делать.

– Нам ко-о-омпас нужен, – малыш плакал уже намного тише.

– Не надо нам никакого «ко-о-омпаса»! – Ёжику совсем не понравилось это новое слово, ведь он точно знал, что никаких «ко-о-омпасов» в лесу нет.

Вдруг мальчик посмотрел на ёжика и улыбнулся:

– Я знаю, что делать! В сказках, когда ищут дорогу, пускают впереди себя клубочек. Он катится, катится и всегда прикатывается туда, куда надо!

– А как он выглядит, этот клубочек?

– Ну, он такой круглый и... фиолетовый! Очень на ёжика похож!

Ёжик мечтательно закрыл глазки. Его переполняло чувство гордости, и он хотел, чтобы оно подольше оставалось внутри и никуда не убегало.

– Я буду самым лучшим клубочком, вот увидишь!

Мальчик взял ёжика на руки и погладил по кончикам фиолетовых иголок. Затем аккуратно опустил на траву и пошёл за клубочком по извилистой зелёной тропинке.

* * *

Полумрак и тишина больничной палаты медленным свинцом наполняли усталые веки. Пятая ночь оказалась сильнее желания ждать. Она задремала... Лишь на минуту закрылись выцветшие от слёз глаза, но она успела увидеть сон. Добежать, остановить, успеть! Нет!.. Визг тормозов, разбитый велосипед и что-то красное на её руках, обнимающих сына...

Кошмар сжал сердце так сильно, что она проснулась. Взгляд заметался по палате, пытаясь стряхнуть с себя страшную картину, увиденную во сне, и с тенью надежды остановился на тёмном стекле монитора. Что это? Неужели показалось?! Подняться не было сил, и крик застыл в горле. Бегущая по экрану тоненькая линия жизни вдруг окрепла и расширилась. Своими зелёными изгибами она напоминала теперь лесную тропинку.

* * *

Ёжик-клубочек сильно устал, но всё равно катился вперёд. Он очень хотел, чтобы мальчик вернулся домой.

Георгий ТАРАСОВ, С.-Петербург

СЕМИКЛАСНИЦА

Седьмой класс, литература, Островский... «Почему люди не летают, как птицы?»

Потом было много всего. Много. Того, что называется жизнью, про которую бают, что она, мол, борьба. Танечка здорово боролась, смело и умело. Быть моряком заграники в Союзе – очень высокий статус. Быть женой моряка – тоже немалый. Так вот, она сама в море ходила, на сухогрузе коком. И нечего думать, что девушки должны любить романтиков – отважных летчиков и моряков. Они сами тоже мечтают ими быть. Ну, некоторые из них, те, которые носились с нами по дворам с ободранными коленками, играли в индейцев, взрывали самодельные петарды и мастерили поджиги и арбалеты...

И летать Таньке довелось, но что это, прости господи, за полет? Вагон электрички, подвешенный между небом и землей, гудит, сквозняк, и пахнет неважно. И ма-а-аленькое толстенное окошечко в небо и землю. Стыд какой-то, декорация, насмешка над полетом.

Они стояли под разгрузкой в Швеции, и стивидора звали Перр, и вот надо же, весь в белом. И у тридцатилетней семиклассницы сердце ухнуло прямо в пятки, и Перр споткнулся на длинной фразе, да так и не встал – он остался стоять перед нею на коленях. Это не только они знали. Это многим со стороны видно было.

Не то чтоб команда от соли в пище морщиться стала или Перр путался в бумагах. Но сказалось, сказалось... И вот, наконец, настоящее свидание, он сразу же у трапа обнял ее за плечи, и их вынесло за ворота порта. На крыльях. Никакой мистики в этом нет, прочитав мысли, а уж желание родного человека – это в порядке вещей. Так, в принципе, и должно быть. Тачка неслась не совсем в город, а чуть левее.

– Хочешь посмотреть Стокгольм?

Она потерлась о него щекой... Вообще ж ни одного города иностранного не видела...

– Хочу...

Тачка взяла еще левее, ушла с автострады, бог мой, аэродром! И двухместная «Сессна», похожая на истребитель Второй мировой, и вот она сидит в правом кресле, и смотрит на мир не через вшивый иллюминатор штатного лайнера, а из пилотского фонаря! Скоси глаза вправо и вниз – видно рулежку, и Перр двигает сектор вперед, отпускает тормоз, истребитель прыгнул вперед, яростно загремел по бетонным плитам, ручку – на себя, и отряхнул он с себя землю. Полет!

Она летит. Летит. С НИМ...

Он что-то говорит, но она не слышит, она просто упивается его голосом. Он смеется, конечно же, он понял, им обоим просто нужен полет. Вместе. Но город-то он обещал показать! А слово мужик держит. Даже случайно оброненное. И он чуть покачивает самолет, идя над городом змейкой, чтоб при кренах ей лучше было видно сквозь стекло двери. В конце змейки он заложил приличный левый крен, идя на разворот, уголком глаза уловил что-то не то и, еще не поняв, в чем дело, заорал:

– Tanja, NO!!!!!!!

Кинув ручку вправо, он поставил самолет в горизонт и сорвал ее руку с красного рычага катапультирования. Черт бы побрал конструкторов, вклеили ж рукоятку катапульты в такое место! Как потолочная ручка в авто. Конечно, со страху вцепишься... Еще бы миг, выстрел пиропатрона – и выпорхнуло бы из кабины платьице в горошек. Ее единственное нарядное платье, которое никак не смогло бы стать парашютом и удержать Танечку в небе.

Таня поднялась на борт, команда, само собой, поджидала...

– Вот что, ребята... Вы сегодня на диете. Разгрузочный день. И вообще, переходите на подножный корм.

– Тань, ты чего?

– Полетала...

Она не торопясь пошла в каюту, чуть танцующая шальная тридцатилетняя семиклассница, а у ее ног незримой пушистой кошкой терлась мечта, готовая снова и снова взлететь со своей хозяйкой.

– Перр, я к сыну в Данию. Опять что-то начудил, паршивец!

Она сует мобилу в карман и несется к шкафу с одеждой. Перр поднимает глаза над очками и ухмыляется:

– Интересно все же, в кого он такой? Родители вроде серьезные люди...

– Рот закрой. Чмок, послезавтра буду...

Маленький истребитель несется над Балтийским морем, но летчица не ведет его по прямой. Она чуть пикирует на каждое судно, проходящее внизу, и приветственно покачивает крыльями своим братьям по морю.

А я стою на прогулочной палубе парома «Финнлайна» и подмигиваю снизу сумасшедшей летунье. Я узнал про нее только сегодня ночью от соседа по каюте, но я знаю, что это она – пятидесятилетняя семиклассница.

Владимир СЕДОВ

ВЗГЛЯД ЖЕНЩИНЫ

Иногда, когда женщина думает, что за ней никто не наблюдает, приглядевшись, можно увидеть «этот» ее взгляд. Мне удалось это сделать. Увидеть. И даже расшифровать «этот» взгляд.

Он меня потряс.

Во-первых, этот взгляд – не что иное, как вселенская печать. В этом взгляде суть и понятие главной тайны Вселенной, известной только им.

В этом взгляде все ответы на все вопросы мироздания, над которыми мужчины тысячелетия бьются, открывая законы, создавая теории и ломая свои головы.

А женщины уже все знают, им уже все известно. Но они тщательно скрывают свои знания от второй половины человечества, агрессивной, самолюбивой, самовлюбленной.

Все изобретено мужчинами. До всего додумались мужчины. Все построили мужчины... Иллюзия.

Женщины создают. Мужчины разрушают. Хотя кажется наоборот. Кажется, что женщины слабы и глуповаты. Не видят перспектив. Не стремятся в будущее.

Казаться такими – это не значит быть. Но в этом и есть их секрет.

Во-вторых, мужчина – это не что иное, как навязанная необходимость. Женщины просто терпят мужчин. Любя терпят. Ненавидя терпят. И не видя терпят.

В-третьих, в этом взгляде смирение.

Религию придумали мужчины, а создали женщины. А православная религия вообще держится только на женщинах. Они намного ближе к Богу, чем любой мужчина и даже священник.

В-четвертых, во взгляде – жертвенность.

Но не обреченная, а снисходительная. Жертвенность сильного перед слабым. Тонкая на грани фола игра в уязвимость и готовность сдать «врагу» – мужчине. Но только игра. Не более. Игра ради жертвенности. Жертвенность ради великой цели.

Жизни.

В-пятых, во взгляде – обман. Обман уже прощенный и оправданный самим Богом. Обман всех и вся. Обман ради одной-единственной правды. Правды Жизни.

Нет обмана только по отношению к своему ребенку.

В-шестых, во взгляде – спокойствие.

Что бы вокруг ни происходило, все равно будет так. А не иначе. По-другому просто не должно быть. И не потому, что женщине так хочется, а потому что так нацелен наш мир.

Это их Вселенная.

В-седьмых, во взгляде – уверенность. Будущее, бессмертие и власть в их руках. Это их поле. Это они решают. Они определяют, что, как и почему.

Они частица Бога. Мужчина, несмотря на весь мировой эпос – вторичное существо. Продукт естественного отбора природы, часть биосферы для существования женщин. Не более.

В итоге я понял, что женщинам с рождения известно, как, откуда и зачем произошло человеческое существо. И что с ним будет.

Вот так случайно пойманный женский взгляд, расставил все по своим местам. Стало понятно, почему так, а не иначе все устроено во Вселенной. Кто такой я и где Бог. И ничего придумывать и искать не надо. Надо только один раз повнимательней присмотреться к взгляду женщины, которая с тобой рядом.

Я ПОВЕЗУ ТЕБЯ В ПРОВАНС

Мы будем долго говорить об этом. Мечтать...

Ты станешь тщательно подбирать гардероб. Я – подбирать время года. И лихорадочно отменять свои планы.

Решив все вопросы, остановимся на том, что поедем, когда по всему Провансу зацветет фиолетовым цветом миндаль. Потом будем спорить, на чем добираться туда и как там путешествовать. Самолетом до Марселя, а там электричками по маленьким городкам Прованса или автобусами.

А может, взять напрокат машину? Но у тебя нет прав, а мне страшно захочется выпить прованского молодого вина. И меня, конечно, арестует строгий и совсем не смешной французский полицейский. Тыпустишь все свое обаяние, чтобы он меня простил. Он сдастся и простит. И даже пригласит нас к себе в маленькую деревушку под Авиньон, попробовать молодого вина с его виноградаря.

И мы, конечно, поедем. И там напьемся. Особенно – я. Потому что замечу, что вы симпатизируете друг другу. Я, напившись упаду в свежий стог французского сена, а ты упадешь с ним в постель.

Попутру мы уедем. Я – сердитый, ты – счастливая. Но я тебе отомщу.

Когда?

Когда будем осматривать развалины очередной римской цитадели с длинными и мрачными подвалами в Эксе. Ты увлечешься видами цветущих долин с башни римского гарнизона, а я запырну с хрупкой, тонкой гидшей в эти нескончаемые римские катакомбы.

Потом я тебя найду в сисью пьяной в кафе, где в прошлом веке Поль Сезанн пытался безуспешно подарить этому городу свою лучшую «модель» – гору Сен-Виктуар. И ты за тем же столом будешь пытаться снять и подарить свою майку с названием «Я люблю Россию» прованским студентам, облепившим тебя, как мухи, но я успею перехватить тебя в этом благородном порыве и, плачущую, уволочь в гостиницу.

Там ты будешь долго сидеть в ванной комнате в обнимку с унита-зом. Я тебя буду заботливо отпаивать и отливать водой. А утром ты, злая на меня, себя и римлян, будешь кричать, что у тебя болит горло и тебе срочно надо в Россию.

По дороге в Марсель мы как бы случайно заедем в тихий, пустой Арль. И ты опять как бы случайно зайдешь в небольшой бутик на площади и, как сорвавшись с цепи, купишь себе кучу сногшибательных нарядов. Я потрачу все деньги на моей карточке. Теперь у меня испортится настроение, и я, вспомнив ту худую, костлявую француженку, и полицейского, и студентов, и обгаженный французский туалет в гостинице, скажу, что нам пора домой.

Ты радостно согласишься, прижимая к груди раздутый, как мой кадык, чемодан. И быстро самолетами полетим домой в Россию.

А когда будем получать багаж, окажется, что твой чемодан улетел в Китай. А у меня таможенники конфискуют все мое французское вино и, как бы на смех, оставят две бутылки. И мы с тобой назло всем китайцам, таможенникам и провансальцам выпьем их прямо в аэропорту, сидя на моем чемодане. И, повеселевшие, поедем домой.

А утром, одеваясь, я спрошу тебя: «Ну, как Прованс?» И ты ответишь, потягиваясь: «Прованс? Прованс как Прованс. Я ожидала большего, мой милый».

Гость номера

ОБРУЧЕННАЯ СО СЛОВОМ

«Первую строчку поэту дарит небо, – утверждает Ирина Басова. – Но вторую он должен найти сам, и скорее угадать, чем придумать. Потому что, когда небо дарит тебе первую, то оно знает и вторую. И если вторая угадана – все в порядке, дальше в виде поощрения пишется все стихотворение».

Ленинградка по рождению, более трех десятилетий русская парижанка, автор пяти поэтических книг, среди которых «Вечерние огни», вышедшие в издательстве «Алетейя» и билингва «Римский дивертисмент», изданный в Италии. Ирина Басова выпустила в 2010-м в Санкт-Петербурге в издательстве «Вита Нова» «Избранную лирику» в трех книгах. И когда вовсе мне невольно, я ищу и нахожу спасение в стихах Ирины, – может быть, поэтому книга поселилась навеки на моем письменном столе и весьма часто гостит в моем рюкзаке, дабы в дальней дороге на службу не забыла выучить понравившиеся строки... Например, вот эти из цикла «Новгородские распевы»: «Вначале было слово. / Все – русские слова. / Душа была готова / Насытиться сполна / Родными падежами / Глаголами, корнями, / Родною чепухой ... / Ты бредишь или спишь? / Вокруг шумит Париж» (1999).

Не случайно зазубрила это, может, еще и потому, что рядом с ними, как наставление – «Нет, это не ты – это небо уходит в сторону тучею. / Это не я – это тень моя бедная падает кручею. / Это не эхо дальнее грома – рвутся объятья. / Девочка-девочка, зря примеряла ты / Белое платье» (2003).

И если в первой книге «Стихи, написанные в России», заметно влияние Анны Ахматовой, любимого поэта Ирины Басовой, то далее Ирнин голос приобретает свойственную только ей интонацию, приближаясь к ахматовской мелодии стиха. Пример – строки «Вдохновения» с эпиграфом из Ахматовой «Дьявол не выдал...»

«Оно как хмель – / И дразнит и пьянит, / Свободой манит. / Ум боготворит / Короткий миг / Высокого полета. / Я все хочу сказать. / Но кто-то, кто-то / К моим устам / В безмолвии приник» (1996) .

«Тоска по Родине! Давно / Разоблаченная морока!» и еще «Родина не есть условность территории» – цветаевские слова повторяю, думая о тех, кто по разным причинам уехал из страны. Ирина Басова признается, что уезжать не собиралась, хотя у нее были свои счеты к советской власти. Уезжала в 1981-м за мужем-художником Борисом Заборовым, замечательным иллюстратором, чьи работы получали наивысшие награды на самых престижных международных конкурсах книги, кого достала к тому времени работа графика. К слову, издатели к нему стояли в очередь. Последней каплей стал обыск в мастерской в новогоднюю ночь. Вот и читаю «Стихи, написанные в России», словно сложенные «на разрыв аорты».

Из интервью для программы «Не прошедшее время» радиостанции «Эхо Москвы»:

И. Басова. Он уехал из Белоруссии, чтобы не иллюстрировать книги. В нем всегда жило желание быть живописцем, быть художником в себе самом. Он очень любил Шекспира, Достоевского и всех, кого он иллюстрировал. Но он говорил: «Моя роль вторична. Я отталкиваюсь от текста». Ему хотелось отталкиваться от самого себя. Когда появилось слово «Израиль» в воздухе, то на Бориса Заборова стали немного смотреть – «как бы не наш». Хотя, по-моему, он Белоруссию любит больше, чем любую землю на свете. Он там родился, он там вырос, там похоронен его маленький брат.

Думаю, что ему очень непросто было расставаться с Белоруссией.

М. Пешкова. Известно, что Борис Заборов пишет прозу. Так ли это?

И. Басова. Он пишет собственные свои тексты. Я их так называю. В издательстве «Вита Нова» вышла книга, которая называется «Цепь случайностей, или Судьба». Это автобиографические тексты, честный рассказ о себе самом. Так как я еще и литературный человек, то Борис часто обращается ко мне за советом, который он тут же отменяет.

Мы очень разные люди. Я бы сказала, Борис – весь в себе, а я вся – вне себя. Одно то, что мы много лет друг друга терпим, говорит о том, что у нас есть, безусловно, очень много точек соприкосновения.

Отступлю от хронологии: в этом году Ирининой маме, Людмиле Борнштейн, исполнилось бы 100 лет. Шестнадцатилетней девочкой она стала женой поэта Бориса Корнилова, как она сама писала: «...семейная жизнь Корнилова лопнула от "политических разногласий"», его предыдущая жена Ольга Берггольц была убеждена, что «до коммунизма ее муж Корнилов не созрел». В наше время

сказали бы – она его «сдала». А красавице Люсе, увлеченной поэзией и хорошо ее знавшей, интересно было все: и сам поэт, и круг его друзей. «Он был самым ярким поэтом поколения, входившего в литературу в конце двадцатых», – считает критик Никита Елисеев.

Его арестовали в их с Люсей квартире в «писательском доме» на канале Грибоедова в марте 37-го, за четыре месяца до рождения дочери. Поэт только успел сказать беременной жене: «Если родится девочка – назови ее Иркочкой, если мальчик – Сашей!» Ирой звали дочь Корнилова и Ольги Берггольц, умершей 6-летней девочкой от болезни сердца. Ирина Басова так и считает, что живет свою жизнь и за сестренку.

Несколько лет назад Ирина побывала в квартире, той, что под номером 123, где по соседству жил Зошенко (сохранилась фотография ее маленькой с соседом), где через стенку жили Стеничи. И еще была Левашовская пустошь, где хоронили жертв сталинских репрессий, на месте захоронений даже не растут деревья, могильники засыпали хлорной известью, в одном из которых покоится расстрелянный Корнилов.

В городе Невы Петровны Ирина оказалась в связи с публикацией книги об отце, подготовив к печати воспоминания матери, а также переписку Люси Борнштейн с Таисией Михайловной Корниловой, матерью Бориса. Издательство «Азбука» выпустило в 2012 году уникальную книгу о Борисе Петровиче, названную его строкой: «Я буду жить до старости, до славы...» Убеждена, что книга не случилась бы, если бы не усилия, энергия, знания, опыт, мастерство и талант, да, именно так, и сила души плюс вера в успех ее составителя, писателя Наталии Соколовской.

37-й год. Беременная жена Корнилова оставалась без средств к существованию, на работу не берут, знакомые при встрече переходят на другую сторону улицы. Арест жены Корнилова оформлялся, в документах фигурировала грудная Ира. Ее спас друг Люсиного брата, студент Академии художеств, почти мальчишка Яков Басов, ставший впоследствии Люсиным мужем, давший девочке свою фамилию и отчество. Война, эвакуация – после войны Ленинград, где Ирина пошла во второй класс, потом Крым, куда семья переехала в 46-м, в связи с Люсиной болезнью, туберкулезом, который сжег ее в 46 лет. О том, что Борис Корнилов ее биологический отец, Ирина узнала после смерти матери, когда из города Семенова Горьковской области мать Бориса Корнилова Таисия Михайловна прислала внучке переписку с Люсей, ее мамой. Ирина не раз при-

езжала в Семенов, где ей были рады. И мне так и сказала: «Вот где настоящие люди!» Именно в доме родных Ирина познакомилась с Ольгой Берггольц.

Из интервью для радио «Эхо Москвы»:

И. Басова. К писанию стихов меня подталкивала мама. Помню, какие-то стихи были опубликованы в школьной стенгазете. Поэзия начинается, когда человек взрослый, когда начинаются у него какие-то отношения с трагедией, человек счастливый писать стихов не будет, а если будет, то будет писать плохие стихи.

Была главная трагедия, с которой мы жили, – это болезнь мамы, мы выросли в семье, где это стало постоянной войной. Главной задачей было, чтоб это меньше всего касалось нас. В семье не было облака этой тяжелой драмы. Для меня мамина смерть была первой трагедией.

Вторая трагедия – эмиграция. Я не могла себе представить, что приду к нашему отцу и скажу, что уезжаю, мне легче было умереть. Я человек не политизированный, но я абсолютно четко чувствую несправедливость, какого она ни была бы происхождения.

Для меня это была большая трагедия и драма. Потому что я не была готова никуда уезжать. Мне было хорошо в моем Крыму. У нас были замечательные друзья в Минске. Их имена сейчас знает вся Россия. Это был Василь Быков, Григорий Бородулин, это был Наум Кислик, Федя Ефимов, это был Валентин Тарас, кто первым перевел «Осень патриарха» на русский язык.

Первые мои стихи, которые сама ценю, были написаны, когда над нами висело слово «эмиграция». Так что можно сказать, что я родилась именно в тот момент.

М. Пешкова. А в Париже тоже писались стихи?

И. Басова. В Париже я почти сразу начала работать в еженедельнике «Русская мысль», где проработала 10 лет в замечательной компании. Не всегда все было гладко, не всегда все было ровно и согласно, но в те годы – это был 1982 год, – «Русская мысль» была единственным рупором российского правозащитного движения. Я работала вместе с Натальей Горбаневской, с Аликом и Ариной Гинзбург, Вадим Делоне заходил к нам, приезжали Быковские. Иловойская, естественно, нас всех взяла под свое крыло. Конечно, для меня эти десять лет были временем мужания, становления такого. Они, конечно, очень мне мешали входить во французский язык и в парижскую жизнь. Но я об этом не жалею, но стихи не писались. Нельзя уходить из газеты в 12 ночи, а потом садиться и писать стихи. Это была другая школа, которая, думаю, мне не повредила.

Ирина Басова, выросшая у Черного моря, мечтала стать генетиком, окончила с отличием биофак МГУ. Ее мечту реализовала их дочь Марина, живущая в Чикаго. На момент отъезда из Минска ей было 19 лет. Сын Кирилл, окончивший школу в Париже, стал композитором, его произведения исполняют на различных музыкальных фестивалях, на радио, в числе его сочинений – вариации на тему Шостаковича к фильму «Встречный» (всем знакома песня на слова Б. Корнилова «Нас утро встречает прохладой» из этого кинофильма – много лет твердили, что слова народные). У Заборовых четверо внучек, Ирина, выросшая в Крыму, гордится тем, что всех их научила великолепно плавать.

Еще до отъезда из Минска Ирина работала в Академии наук, на киностудии «Беларусьфильм»... Ею написаны сценарии к нескольким научно-популярным лентам. К слову, Ирина в «Русской мысли» была не только редактором, но и членом редколлегии, публиковала очерки, эссе, интервью, подписываясь «И. Заборова». Что касается стихов – они опубликованы на страницах альманаха «День поэзии», журналов «Нева», «Грани», «Мосты», «Время и место» (Ирина – член редколлегии этого издания). С ее стихами можно познакомиться также на сервере Стихи.ру.

Борис Заборов – всемирно признанный художник, крупнейшие музеи мира почитают за честь приобрести его полотна. Так, его работа в галерее Уффици «Художник и его модель», прописанная там в 2008 году, поступила в коллекцию музея после парижской выставки «Я! Автопортрет XX века», пресса долго комментировала это «важное в музейном мире событие». В коллекции Эрмитажа отныне и полотно Заборова «Инфанта». О Забове пишут монографии, защищают диссертации. Грандиозным событием стала выставка художника в Национальном художественном музее Республики Беларусь, о нем снимают фильмы, телепередачи. Борис Заборов снимает кино, так, он создал ленту «Сонет» с участием Шарлотты Рэмплинг, исполнительницы главной роли в «Ночном портье». Художник, считающий своей родиной Россию, Беларусь и Францию, сумел покорить придуманным им методом страны и Запада, и Востока. С его работ на вас смотрит ушедшее время, предки словно вопрошают: «Что вам удалось в жизни сей, дети мои и внуки, что останется после вас?»

*Майя ПЕШКОВА,
обозреватель радио «Эхо Москвы»*

Ирина БАСОВА, *Париж*

Из книги «Стихи, написанные в России»
1968–1979

* * *

Лгала, молчала, берегла
Покой, печалью озаренный,
И притворялась невлюбленной,
Пока могла и как могла.

Но лгать бумаге – выше сил,
И все раскрылось, все открыто,
И белой нитью правды шито,
Все то, что бедный ум таил.

* * *

Ничего не хочу объяснять.
Разлюбила? Не знаю. Быть может.
Эта новая благодать
Мое сердце так сладко тревожит.

И поет, замирая в тиши
Предрассветного зябкого часа
Одиночество малой души,
Возвышаясь до вещего гласа.

* * *

Наполнить дыханием мысль,
Поднять, отпустить ее ввысь,
Ребенком следить за движеньем.

Но взрослой печали полна,
Смотрю, как взлетает она,
Без радости и удивленья.

* * *

А.З.

Ни дать ни взять – зима,
А ведь октябрь всего лишь.
Проселком в глухомань...
Как душу ни неволишь
Дать телу чуть тепла –
Бесмысленное дело.
Дорога, да и та
Уже заледенела.

* * *

Ф.Г.

Мы – дети осени,
Мы – сироты цветенья,
Мы – пасынки тепла.
Живую дымку нашего рожденья
В холодный воздух выдохнула мгла,
В сырую скудность убранного сада.
Нам невдомек, что где-то лето есть
И тучно налегают на ограды
Удача, щедрость и благая весть.
Наш мир – стерней покрытые поля.
Но легкий свет осеннего разлива
Мы пьем, пьянеем и шумим игриво.
И пусть другим взбухают тополя.

Мы – дети осени.
Но как румянец ал,
Багрян, червонен в пору листопада.

Не зная большего, нам большего не надо...

Крым

Памяти мамы

Но как не любить тебя в ясные дни
Февральской погоды, когда на поляне
Фиалки цветут и вдоль берега тянет
Тончайшим из запахов – это они.

И как не любить тебя в мартовский день –
Без солнца и тени, прозрачный и чистый.
Лежит на горе еще снег серебристый,
Но морем уж правит весенняя лень.

И разве забудешь апреля сады
С их легкою зеленью первых побегов.
И вот уже парус цветенья победно
Летит вдоль подножия Крымской гряды.

А в мае восторгом встречаешь грозу,
Нежданно пришедшую в гости с Фороса,
И теплый поток обнимает без спросу
Тебя, и деревья, и дом, и лозу.

Июнь – то застенчив, как в первые дни
Курортники, бледные, что повилики.
То шумен и ярок. И желтые блики
Швыряет сквозь толщу листвы и воды.

И царственно светел горячий июль,
Капризный и властный. И нет перехода
От солнечной и безмятежной погоды
До летних циклонов иль попросту – бурь.

Но августа зрелость и мудрость ясны –
Последней любви безоглядная ласка.
И как милосердие сбывшейся сказки
Свеченье вдоль тела бездонной воды.

Сентябрь еще летом и людом живет,
Дарами осыпав и пляж и базары.
Лук сладкий, инжир и кизил темно-алый,
Шашла, помидоры, орехи и мед.

Но только в октябрь вызревает мускат
И берег пустынный дарует свободу.
А надо так мало. И глядя на воду
Я даже забыла про свой виноград.

Ноябрь. Знаю только, что он одинок,
Он – сам по себе, ни тепло и ни холод.
Но именно он утоляет мой голод
По детству – так царствует школьный звонок.

Декабрь, как и должно, как всюду – зима.
И короток день. И на камнях прибрежных
Нетронутый снег. За чертой белоснежной
До самого неба чернеет вода.

А что же январь?
Я о нем промолчу,
Хоть он не виновен, доподлинно знаю.
Но эта могила у самого края
Обрыва...

Из книги «Вечерние стихи»
1996–2009

* * *

Б.З.

По лесенке к небу –
Довольна крута.
Отстала, устала –
Дай руку...

Вот так потихоньку
Идем в небеса,
Неся за спиною разлуку...

Тюильри

Н.С.

Может, смертью откроется что-то –
А пока что вслепую бредешь.
И нашаривая верную ноту,
о споткнешься, а то упадешь.

Вдруг возникнет сиянье из мрака –
Как зарница на том берегу.
Торопись восклицание знака
Ухватить и поставить в строку.

И опять вдоль аркады холодной –
Справа меркнет заснеженный сад –
Озаренная мигом свободы,
Не оглядываясь назад.

* * *

*А по небосклону**Всё ласточки, малиновки, стрижи...*

Как тебя выманивала – но крепки засовы,
До сих пор высвистываю – сизнова и снова.
Смотришь непонятливо, сизый сузив глаз.
Песнею печальною
Жалуюсь подчас.

В небе стайки вольные –
Вверх, вниз.
Лишь одна, безвольная,
Села на карниз.
Села и высвистывает –
Вот беда:
Никуда не вылетишь,
Никогда.

Внутри эпохи

Алексей МЕЛЬНИКОВ,

г. Полевской, Свердловская область

В ОСЕННИЙ ВЕЧЕР, ПРОГЛОТИВ СТАКАН ПЛОХОГО АЛКОГОЛЯ...

(Воспоминания о Борисе Рыжем)

Текст, фрагмент которого мы сегодня публикуем, сам автор определяет как скорее художественное произведение, нежели документальное повествование. Человек, выступающий здесь в роли анонимного мемуариста, действительно существовал, жил в Екатеринбурге, писал стихи и тесно общался с Б. Рыжим. Их отношения реконструированы А. Мельниковым по рассказам земляков-уральцев, в числе которых уже ушедшие поэты А. Азовский, М. Анкудинов, Н. Ашатаян, Н. Мережников, А. Решетов, В. Станцев, Р. Тягунов, художник Б.У. Кашкин, прозаик А. Чуманов, драматург А. Чичканова. Данный текст – некая сумма их устных рассказов, поэтому «воспоминатель» остается неназванным.

Борис Рыжий родился в Челябинске 8 сентября 1974 г. В 1980-м семья Рыжих переехала в Свердловск. В 1997-м окончил Уральскую горную академию, проходил практику в геологических партиях.

В 1992 году – первая публикация стихов Б. Рыжего, в «Российской газете». Затем печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «Звезда», «Знамя». Лауреат всероссийской литературной премии «Антибукер» (номинация «Незнакомка») 2000 года. В 2000 году выходит из печати его первая (единственная при жизни) книга «И все такое...» 7 мая 2001 года Б. Рыжий повесился в Екатеринбурге.

В 2000–2013 гг. только в России увидели свет 5 книг Б. Рыжего: «На холодном ветру» (СПб.: Пушкинский фонд, 2001), «Стихи 1993–2001» (СПб.: Пушкинский фонд, 2003), «Оправдание жизни» (Екатеринбург: У-Фактория, 2004); «Типа песня» (М.: Эксмо, 2006); «В кварталах дальних и печальных» (М.: Искусство – XXI век, 2012).

Борису Рыжему едва исполнилось двадцать три года, когда мы оба услышали о нем от А.С. Кушнера. В какой-то телепередаче по телеканалу «Культура» тот сказал: «Есть молодые поэты в Екатеринбурге, есть! Например, Борис Рыжий». Тут мы с супругой удив-

ленно переглянулись. Рыжего никто здесь тогда не знал! Уже потом мы выяснили, что были стихи в журналах «Уральский следопыт», «Урал» (Екатеринбург) и «Звезда» (Санкт-Петербург). Не говоря о свердловских газетах и малотиражных сборниках. Кстати, Александра Семеновича Борис только уважал, а Евгения Борисовича (имеется в виду поэт Е. Рейн. – *Ред.*) даже немного любил...

Двумя годами позже, в сентябре девяносто девятого года, мне внезапно позвонил Роман Тягунов: «Мы с Рыжим точно знаем! У тебя в гостях – Александр Еременко. Мы к тебе сейчас приедем...» Я ответил Роме очень твердо: «Не надо ко мне приезжать! Мы же тут убьем друг друга. Я даже в дверь вас не пушу...» – А. Еременко уехал в день рождения Б. Рыжего – восьмого сентября, когда Борису исполнилось двадцать пять. Но я тогда еще не знал об этом совпадении...

Прошел примерно месяц. Имеет место презентация очередного номера журнала «Рифей». Я сижу в президиуме и вижу поверх голов, что по вестибюлю ходит необычный человек. И он очень похож на поэта. Потом этот человек подходит ко мне: «Ну, так что ты нам про Ерёму там?...» – «Тебе чего, парень?» – «Ерёма – отстой! Это прошлый век. Пошли драться...» – «Тебя как зовут?» – «Борис Рыжий». – «Ты мои стихи читал?» – «Рифмы там есть, а стихов нет!» – «А твои стихи?» – «Я не покажу!» Затем Рыжий позвонил мне на работу. Извинился хриплым и высоким голосом. Голосом с такой мокрой хрипотцой...

Тот же год, и снова – презентация «Рифея». На этот раз – в «Доме кино». Я там читал с ужасной дикцией: «В полдневный жар в долине Дагестана...» После выступления вышли мы втроем: я, Борис, Константин. Боря тут же начал «телеги гонять» про уголовных авторитетов, которые на него наезжают. И позвал нас: «Пойдем, пивка попьем!» Я с ними не пошел...

Через два дня к нам домой (на улицу академика Чернова) является Б. Рыжий с тремя гвоздиками. То есть в первый же раз, когда моя супруга его увидела, он пришел с цветами. Для Рыжего потратить деньги на букет цветов вместо бутылки пива – это реальный подвиг. Но тогда моя супруга этого еще не знала. Борис с порога заявил нам обоим: «Вы тут читаете много! Мартина Хайдеггера, к примеру. А надо быть – самим собой...»

Короче, стал он очень сильно на нас обоих наезжать. Обычно я сам так веду себя в чужом доме. Но чтобы кто-то вел себя так в нашем доме! «Вот это круто», – думаем мы оба, я и супруга. Нет, своих

стихов Рыжий и в этот раз не прочел. Читал стихи Д. Новикова: «Реет в небе усталая летчица, // Ей остался до пенсии год. // Жить не хочется, хочется, хочется, // Камень точится, время идет...»

Денис Новиков умер в Израиле от героина. В девяносто седьмом году он выпал из окна. А родился Денис в шестьдесят седьмом году в СССР. Лучшая книга Новикова – «Караоке», вышедшая в свет в год его гибели. Помнится, Рыжий знал наизусть все стихи из нее. Боря даже вырезал (вырывал? выдергивал? выдирали?) из журналов подборки стихов Д. Новикова. Воровал их из библиотек. После стихов Рыжий спросил: «Слушай, ты какое-нибудь слово запустил в язык?» – «А ты, Боря?» – «Я запустил слово "кенты"!»

«Писать стихи?» Рыжий никогда так не говорил. «Я тут пару стихов наваял!» Вот так он предпочитал выражаться. Очень любил словечко «Во-о-от...» Расскажет о чем-нибудь и добавит задумчиво: «Во-о-от...» С первой же встречи у нас дома, еще до чтения своих стихов, Рыжий заговорил о мемориальной доске и бронзовом памятнике...

Прошло несколько дней. Рыжий позвонил по телефону и начал читать стихи. Я тут же понял, что это – супер! Сразу позвал супругу. Мы включили громкую связь. Эта музыка, этот голос, это все – просто слов нет. Он читал, пожалуй, час подряд: «Я работал на драге в поселке Кытлым...», «Был городок предельно мал...», «Четвертый день нет водки в Кытлыме...», «В деревню Сартасы, как лето прошло...»

Скоро Боря стал часто у нас бывать. Мог позвонить ночью – и три часа беседовать по телефону. Возражал против культового отношения к Иосифу Бродскому. Видимо, не желал попасть в число эпигонов! С другой стороны, Б. Рыжий посвятил И. Бродскому ряд стихотворений, например: «Прощай, олимпиец, прощай навсегда...» Боря горячо говорил о Слуцком, читал свои стихи: «До пупа сорвав обноски...» Думаю, дело в том, что Борис Слуцкий был поэтом не первого эшелона! Рыжий его как бы спасал. Но Боря прекрасно знал и других советских поэтов тридцатых–сороковых годов. По-моему, Рыжий знал всех русских и всех советских поэтов. Но мало кого хвалил – ругал он гораздо чаще...

Помнится, однажды Борис и Олег вслух читали вместе «Калевалу». Если Олег от нее тащился, то Борис крыл в ней абсолютно все. Рыжий горячо хвалил Александра Леонтьева! Думаю, Боре нужен был кореш. Говорил, что Рейн – это круто. Посвятил ему стихи: «Евгений Борисович Рейн уходит в ночь...» Не любил общих

рассуждений, вы же помните: «Утомленный мыслями о мета-// физике и метафизиках...» Часто Рыжий повторял: «В моем углу – только Аполлон». Как доза для наркомана – стихи для Рыжего не были ГЛАВНОЙ вещью в жизни. Они были ЕДИНСТВЕННОЙ вещью в жизни, которая его волновала по-настоящему. Волновала «без дураков», если использовать его собственное выражение...

Осенью девяносто девятого года был самый первый случай, когда моя жена сопровождала Борю домой. Он тогда трезвый был – утренняя похмельная трезвость. Поехали на такси – и позже всегда ездили на такси. Ни на каком общественном транспорте Борю нельзя было перемещать. Он бы тут же купил пива, а задача была в том, чтоб довезти его трезвым до дома родителей. Боря тогда сказал моей жене: «Я – больной человек!» Она до этого алкоголиков вблизи не видела никогда. Поэтому моя жена не понимала, что это за болезнь...

И родители тоже не вполне это понимали. Мама Бори – медик, но из санэпидстанции. Родители всегда Бориса вычисляли: «Где он, что с ним, как он?» И Маргарита Михайловна частенько нам звонила. Вообще-то Боря был хорошим сыном. Он им, как правило, сам отзванивал: я по такому-то адресу, я в гостях у того-то. Бывало, Маргарита Михайловна нам звонит: «Боря покушал? Покормите его, пожалуйста...» Моя жена отвечает, что Боря уже домой собирается. Маргарита Михайловна просит: «Проследите, чтобы он ничего по дороге не выпил...»

«Пьяному мне не верь, а трезвого я себя ненавижу!» Это его слова, моя жена их твердо запомнила. «Тысяча личин – во мне!» Тоже его слова. В общем-то, моя жена всегда знала, что талантливые люди – почти сплошь шизофреники. В постоянной трезвости Боря жить не мог. На шесть месяцев зашьется, а потом уйдет в запой. Кроме родителей у Бори был другой дом – Ирина и Артем. Но там в подпитии он не показывался. Всегда находились добрые дома и добрые женщины. Его все время кто-нибудь сопровождал...

Зимой девяносто девятого – двухтысячного года у нас была идея – издать книжку: девяносто девять стихотворений. Будет три автора, но их фамилии – лишь на обложке. А в книге стихи будут перемешаны! Пускай читатели ломают голову. Рыжий, я сам, Тягунов – мы втроем формировали эту книгу. И втроем мы дали клятву, как три брата Горация в Древнем Риме. Положили три руки – кисть на кисть. Дело было на этой самой кухне. Моя жена эту сцену видела своими глазами...

Я нашел деньги для типографии, уже можно было выпускать тираж. И тут Рома Тягунов заартачился – он испугался. Чего? Я не знаю. Ведь он был ненормальный, он был больной на самом деле: порезы на шее, порезы на руках. Несколько раз он пытался покончить с собой. Если Рыжий всего лишь играл в общение с урками, то Тягунов конкретно общался с ними. С уркаганами самого низшего пошиба. И вот – пора сдавать стихи в печать, а Рома Тягунов все тянет время. Тут объявляют шорт-лист премии «Антибукер»! Рыжему все это стало не надо, и книжка не вышла...

«Трезвого я себя терпеть не могу, а пьяному мне не верьте!» Что он хотел этим сказать? Что он всегда готов приврать! В телепередаче СГТРК «Магический кристалл», посвященной Рыжему, он говорит, что сумма премии «Антибукер» – четыре тысячи долларов. На самом деле (он нам говорил по большому секрету) только две тысячи. Рыжий прибавлял всегда. Да-да-да, в искусстве нет лжи, в искусстве есть миф...

Именно премиальные деньги позволили Рыжему купить компьютер и подключить Интернет с электронной почтой. А пока ее не было – мы общались по телефону, включали громкую связь. Вели все разговоры втроем: я сам, Боря, моя жена. На что Рыжий жил до «Антибукера»? Ему всегда родители деньгами помогали, и не только деньгами...

Например? В мае девяносто седьмого года не Боря, а его папа окончил Горную академию. И горную аспирантуру тремя годами позднее закончил папа, а не Боря. В Академии геофизики тоже работал Борис Петрович. А Рыжий всюду числился и деньги получал – впрочем, всегда невеликие. И карманных денег у него вроде как никогда не было. Зачем нужны деньги, если в гостях поят и кормят? Свои деньги он тратил – только когда наши кончались! Если у нас нет ни копейки – вот тогда Рыжий лезет в карман...

Но обижаться на него было нельзя – Рыжий был дико обаятелен, отказать ему было очень трудно. Я терпеть не могу пить водку. Но мне пришлось напиться с ним несколько раз. Как это было? Ну, сначала мы читали стихи. А потом все терялось в тумане. Какие стихи читали? Например, те самые девяносто девять стихотворений, что планировались для общей книжки: Рыжий, я сам, Тягунов...

Весной двухтысячного года я скормил Рыжему шесть или семь пакетов одного порошка. Ну, в общем, это ЛСД. На мозги так воздействует, что «открывается верхний этаж». Я тоже принял пор-

цию, мы сидим на кухне, смотрим друг на друга. Вошла моя жена, сказала нам: «Может быть, мне лучше уйти? Вы же друг на друга смотрите влюбленно...»

Немного еще посидели вдвоем, и вдруг Боря кинулся ко мне с кулаками. В подобном состоянии такое сделать трудно, а он нарочно это сделал! То есть он почувял, что на него влияют. И, стало быть, «его разыграло ретивое». Боря с правой руки заехал мне в ухо. Я продолжал сидеть, никак не реагируя. Придя в себя, мы заспорили на любимую тему: «Слушай, поэзия – превыше всего! Выше нее – нет ничего...» – «Боря, над поэзией кое-что имеется! Над ней есть знание, высшее знание...» Думаю, после этого случая Рыжий написал стихи: «Зеленый змий мне преградил дорогу...»

Рыжему верить было нельзя! Не потому что он все врал, а потому что он всегда давал ответ по ситуации. С тем, чтобы себя продвинуть! А я себя не продвигал, я всегда думал: надо будет – все случится само собою. Рыжий ясно понимал – продвигать себя надо! Знал, что у него мало времени? Может быть! И готов был на все, включая сделку с совестью...

Например? Отношения Рыжего с Александром и Еленой, мужем и женой. Боря же понимал: полное фуфло – все, что она пишет. И, однако, он писал ей письма, хвалил ее стихи. Хотя все они – ниже плинтуса. Страдал ли Боря от этого? Конечно, страдал! Сначала ты вопреки совести сделаешь что-то, а совесть потом тебя мучить начнет...

Если же Боря начинал хвалить, то не мог остановиться: «Слушай, ты поэт! Ты через пять лет будешь писать такие стихи! Как Пушкин!» – «Боря, да пошел ты! Кто такой, чтобы мне говорить такие слова?» – «Слушай, можно я скажу тебе, словно Пушкин – Дельвигу?» – «Боря, не надо так говорить!..»

Позже Боря поразил меня, начав общаться с нашей бывшей землячкой, что стала столичной штучкой. Когда ее стали печатать в Москве – он вдруг ее начал ценить. «Борис, ты что? Она же писать не умеет! Мы ж это обсуждали...»

Он отмалчивался. Все-все-все отношения с литераторами – Боря строил от ума! Какими книгами он не бросался дома? Тот же Юра, профессор из университета: «Говно!» И хлоп об стенку. Но, если надо, когда был трезвый – он мог грамотно выстроить отношения с тем же Юрой...

Однажды Боря меня в губы страстно целовал. В кабинете Николая Владимировича, главного редактора «Рифея», будучи дико

пьяным! Я до Бори с мужиками не целовался ни разу. Но я сам виноват – похвалил стихи Бори. Там фонетика была классная. И Боря полез ко мне с поцелуями...

В минуту откровенности Рыжий мне рассказал как-то раз: еще в девяносто втором году он искал «другую дорогу в большую поэзию». И почтой послал свои стихи Е. Рейну и А. Кушнеру. Типа он как молодой Пушкин подыскивал для себя пожилого Державина. Надо же было до этого додуматься – восемнадцати лет отроду...

Весной двухтысячного года Борис Рыжий с моей женой по телефону – проговорили двенадцать часов! Начали в восемь вечера, закончили в восемь утра. Я ушел спать, я успел встать – а они все еще говорят! Боря тогда сказал жене моей – уже по утрам: «Спасибо за ночь...»

Боря часто повторял: «Есть десять секунд отчаяния! И хорошо, если кто-то окажется рядом. Если нас двое – эти десять секунд пережить можно...» Но когда-нибудь так могло получиться, что никого не окажется рядом! Седьмого мая двухтысячного года...

В апреле двухтысячного был мой день рождения, у нас сидели гости, чинная такая компания. Пришел Рыжий с дипломатом. Он его открыл, и моя жена – астролог со стажем – впервые осознала, что означает Дева. Карандашики, авторучки, резиночки – все располагалось в идеальном порядке. Я никогда в жизни не видела такого дипломата у мужчины. Карандашики – в ряд по мягкости...

Весной того же года, наверное, в конце мая, однажды я и Рыжий шли пешком. От него, с Московской горки, ко мне, в микрорайон Ботанический. Гляжу, кругом цветы – одуванчики желтые на зеленой траве. «Боря, ты посмотри, небо – синее, земля цветет! Что бы со мной ни творилось, когда я вижу такое – все плохое сразу пропадает...» Рыжий в ответ: «Я ничего не замечаю! Я слишком много потерял...»

В мае двухтысячного Рыжий у нас бывал ежедневно или даже оставался ночевать. Тогда же он стал бывать у Натальи и Игоря, что были мужем и женой. Жили они на улице Профсоюзной. Рыжий у них нашел то же самое, что у нас, – чету благодарных слушателей. По нашим впечатлениям, в последний год жизни (от мая до мая) Рыжий почти не бывал дома. Ни у родителей, ни у Ирины. В основном он курсировал между двумя улицами – Чернова и Профсоюзной. Борис Петрович нередко приезжал за ним на такси. Иначе бы Рыжий не дошел до родительского дома. Где бы он ни оказался – Боря всюду напивался...

В мае двухтысячного года (накануне поездки в Голландию) жена моя много сил положила, чтобы Борю «прокачать». Ну, когда через уголь всю кровь прогоняют! Дорогое удовольствие, но ведь папа – академик, это значит – деньги были. Родители Бори давали жене моей деньги на такси, потому что сами мы очень бедно жили – двое маленьких детей. Тогда же я переводил на английский стихи Бори, и тот спросил: «Почему ты сам не едешь в Голландию?» – «Боря, я не хочу...»

Туда же нужно было пробиваться! И несколько братьев-писателей Боря «опустил», чтобы они туда не попали. Сознательно! Нет, имена не назову – пускай время пройдет, сейчас еще все живы. Про Голландию мы точно не знаем, но про подготовку к ней можно долго говорить. Сколько было положено сил, чтобы Борю туда отправить! Протрезвить, постричь, отмыть, одеть. И люди для этого снова нашлись – так же, как и всегда! Грубо говоря, Боря находил тех, кто приглядит за ним, после чего уходил в запой. Но отдавал он тоже немало...

У него был потрясающий голос – по телефону особенно. Такой голос – это редкость! Он просто очаровывал – богатый мужской голос! Рядом с Борей всегда были женщины: жена Рейна, жена Кушнера, заведомо поэзии из журнала «Знамя». Все, все, все дамы от девяноста до пятнадцати лет – все его любили. Он умел очаровывать и, кажется, делал это вполне сознательно! Важно ведь что понять? На Борю нельзя было обижаться...

Он обижал очень сильно людей, а ему на раз прощалось все! С моей женой никогда в жизни никто не обращался так, как это сделал он. Как-то ночью он ее вызвал к себе, зная о двух маленьких детях, при живом муже – тоже поэте. За свои деньги (их было мало) она приехала на такси. Позвонила в дверь, он не открывает! Оставил женщину прямо на улице. Жена моя даже это ему простила, потому что вскоре он позвонил и начал читать стихи – своим потрясающим голосом...

Многие его стихи все еще не опубликованы. Быть может, Боря их уничтожил. Он все время, так сказать, просчитывал свое посмертие. Что будут о нем рассказывать? Вызвал, обидел, позвонил, простила...

Настал день, когда в нашем доме появилась первая (единственная при жизни!) книга Б. Рыжего: «И все такое...» Стихотворения (СПб.: Пушкинский Фонд, 2000. 56 стр.). Боря подарил нам три экземпляра. Мне самому, моей жене, нашему сыну. И на каждой

книге Боря сделал надписи. Больше всего (двадцать пять пометок) оказалось на экземпляре моей супруги...

В сентябре двухтысячного года Артем, сын Бори, первый раз пошел в первый класс. Мне кое-что показалось странным: «Борис, у тебя есть ребенок, а ты с ним почти не бываешь! Я же вот могу – и стихи писать, и детей растить...» Как Боря отвечал? Да никак вообще! Покивает, переждет, пробормочет: «У тебя своя судьба, у меня – своя!..»

Январь две тысячи первого года. Звонок в двери – уже около полуночи! На пороге стоит Наталья, а под мышкой у нее что-то имеется. «Что это, Наталья?» Это Боря! По дороге он пытался подраться с несколькими людьми. Боря, будучи пьяным, тащил Наталью на Вторчермет – к своему другу Сереге. Она, будучи в здравом уме, сумела его повернуть на Ботанику...

Всего один раз жена моя была в поездке с Борей по местам боевой славы – на Вторчермете. Весь экстрим ее жизни оказался собран в эту поездку! Рядом с Борей было трудно находиться. Он цеплялся к каждому встречному и поперечному. Посетили Серегу, того самого друга. Жена моя насмотрелась на такое, чего раньше в жизни никогда не видела! Хотя сама выросла в Омске, в таком же примерно райончике – амурскими их называли. Что такое Серега? Наркоман – вообще, квартира – страшная, пиво – бодягами, литров по пять, плюс тупые беседы. И тут же – поэт сидит настоящий, который поэзию знает как никто другой. Зачем Боря это делал? Ведь он же знал, что жена моя – журналист. Вот и подкидывал материал, видимо...

Март две тысячи первого года. Жене моей надо ехать на сорок дней к папе. И тут приходит Рыжий – в ботинках Salamander, пьяный в дым, в белой сорочке, залитой кровью. Видимо, после драки. «Боря, иди домой! В дорогу собираемся...» Он мне в ответ: «Слушай, ты – такой поэт!» – «Твои дифирамбы не к месту сейчас...» В общем, мы с женой его выставили. Но это было дико трудно! Даже такому Борису – возражать было сложно...

С другой стороны – на сорок дней раньше, когда жене моей сообщили, что папа умер, а она позвонила Боре, – он примчался немедленно! Если кому-то надо – Боря срывался с места. Тягунова на разборку он вызвал так же точно! Да, Боря был способен на рыцарский поступок...

Весной две тысячи первого года была одна жуткая сцена. Рыжий сидел у нас в гостях – не очень сильно пьяный. Тут позвонил

Борис Петрович. Надо сказать, когда у Рыжего появилась известность, это оказалось очень приятно для Бориса Петровича. Возникла гордость за того, кого он породил на свет. И оживился интерес к нам, высоко ценившим Боря как поэта...

Борис Петрович иногда со мной беседы заводил. Потому что со мной завести было можно, а с Борисом – нельзя. Воздействовать через меня на Боря? Это было невозможно, Борису Петровичу просто поговорить было интересно! Вот он звонит и спрашивает: «Скажите, а вы топором, например, умеете владеть?» Да, говорю, я в армии четырех человек зарубил. Ну, чтобы Борис Петрович не думал, что мы с супругой вообще ничего не умеем. Типа интеллигенты там, поэты и все такое...

Затем Борис Петрович сказал: «Мы приедем за Борей». Пожалуйста, говорю, приезжайте, не знаю уж, как вы его заберете, ведь это будет довольно трудно. Тем не менее он приехал. На такси, тут недалеко. Я Борису Петровичу начал внушать: «Если вы что-нибудь не сделаете, все закончится трагедией, это же очевидно!» Я умею говорить «железным» голосом, я беседовал с Борисом Петровичем именно так. «Вы обратите внимание: ваш сын конкретно гибнет! Очень скоро его жизнь оборвется...»

Я рассказал про сон, что видела моя жена. Как поздней оказалось – ровно за год до смерти. Женский голос крикнул в трубке телефонной: «Борис повесился!» Борис Петрович в ответ: «Ну, там может быть, но мы хотим, чтобы...» Я ему опять: «Сделайте что-нибудь, вы же – отец! Я для Бориса – кто такой? Я не могу воздействовать. А отец – это отец». Тут Боря попытался меня поколотить...

Любая ли подлость оправдана ради поэзии? Вот что его мучило в последние месяцы жизни, в апреле и мае. Боря рассказывал, моя жена слушала, сидя у стола – с той самой пишущей машинкой. Много очень курили и часто пили чай. Иногда она передергивала плечами. Но ни слова не произносила, не давала никаких оценок...

Иначе бы Боря с собой что-нибудь сделал. Все его монологи – это голимая совесть! Перед самой смертью он вспоминал подлости. Например, из детства. Мужик стоит возле забора, справляет малую нужду. Пацаны со спины – подбегают к нему с арматурой. И х...т мужика – в аккурат по почкам. И тому подобные истории...

«Когда в ватниках трое рабочих подмолотами били меня?» Так его не били! Эти стихи – вымысел. Вернее, мучительная игра, которая очень часто становилась слишком серьезной. Портились

отношения с женой, с близкими, с родителями! Боря мог пойти против совести – ради некоей цели...

Но ведь совесть не переставала существовать – и грызла его снова и снова, опять и опять! Боря много вспоминал о подготовке к поездке в Голландию. О том, как топил братьев-писателей, чтобы самому туда поехать. «Ну что, ну что мне делать? Я опять зашился – снова буду трезвым! Я же стану монстром...» Он понимал, что опять будет давить братьев-писателей, а его совесть снова будет ему возвращать...

Совесть его мучила, часто мешала уснуть. А засыпает Боря – война ему приснится! Маргарита Михайловна много сыну рассказывала про эвакуацию. Например, едут они в теплушке. У нее есть сестра, обе едят только яблоки, нет ничего другого из еды. Сестра в дороге умирает. Первая мысль Маргариты Михайловны: «Мне больше яблок достанется...»

Расскажет Боря что-нибудь и добавляет: «Знаю, тебе не нравится слушать, а ты терпи, терпи!» Жену мою иногда коробило от Бориных рассказов. Елена позже сказала ей: «Ты ему год жизни лишний подарила! Без тебя он ушел бы раньше...» Боре всегда нужна была энергия. Это было неизбежно – высасывать ее из кого-нибудь, чтобы писать и чтобы жить. Естественно, чаще всего это Борису давали женщины...

Нет, загулы Бори начались до знакомства с нами. Сам он говорил – с двенадцати лет начались. Наверное, приврал немного. Скорее всего, лет с пятнадцати. Боря говорил моей жене, что все плохое в жизни началось, когда они переехали из Челябинска. Папа, не зная города, из нескольких районов выбрал Вторчермет. Ну да, сейчас эта пятиэтажная хрущоба убого выглядит, но в восемьдесят первом году она сгодилась для академика...

Нет, с переездом никаких загадок не было. Борису Петровичу предложили работу в Горном институте. А в Челябинске такого института не было. Боря убеждал жену мою в том, что этот переезд – серьезный перелом. Как хорошо было в Челябинске, какой хозяйственной была их бабушка, как хорошо она готовила! Бабушка умерла уже в Свердловске. И все сразу стало плохо. Жена моя знала, что у Бориса было две старшие сестры. Обе они его обожали – он же младший в семье. Но вот об этом Боря не говорил в последние месяцы...

Боря мог сказать: «Слушай, я болен». Но о лечении он не желал говорить. «Помни: не верь мне пьяному, а трезвый я себя

терпеть не могу!» У него была аллергия на солнце! Можно себе такое представить? Фраза Бори, сказанная в мае, за неделю до гибели: «О, лето опять! Лето, солнце, ужас...» Борис показывал моей жене шрамы на венах, он однажды разрезал их в ванне. Потом позвонил Олегу, и тот приехал сразу. В другой раз Рыжий пытался кинуться в окно, это моя жена видела своими глазами. Мог ли быть его суицид попыткой привлечь внимание, попыткой, которая зашла слишком далеко? Да, наверно, мог. Жена моя уверена: кроме нее о последних днях Бори Наталья много знает, но не говорит – еще очень больно! Елена тоже молчит – по той же причине...

В конце апреля Боря снова зашился. Седьмого мая ему должны были снять швы. В эти дни надо было с ним кому-то находиться. Елена и жена моя, меняя друг друга, дежурили там. Бывало, мама Бори позвонит – моя жена сразу едет. Нет, в эти дни Боря уже не писал ничего. Обычно он писал стихи между запоями! Стало быть, самые поздние его стихи – это март две тысячи первого, никак не позже. «Гриша-поросенок выходит во двор...», «Твои губы на том берегу...», «Амбалы в троечках...», «Свернул трамвай на улицу Титова...», «Отмотай-ка жизнь мою назад...»

И по дому в эти дни Боря ничего не делал. Жена моя проводку ему починила. Чтобы настольная лампа горела. Борис Петрович, заметив свет, сказал моей жене: «Видите, Боря все соображает!» – «Борис Петрович, это я вспомнила молодость в общежитии! И починила лампу настольную». Жена моя часто у них готовила. Мама Бори вообще-то готовила не очень умело. Полуфабрикаты в лучшем случае. А жена моя, например, жарила им пирожки, которые они запивали кофе «Гранд» – дешевым, но вкусным. Помните, этот кофе Ивар Калныньш рекламировал по телевидению...

Ночью с шестого на седьмое мая Боря входил к родителям в комнату, только они оба были на снотворном, разговор не сложился. Еще Боря звонил Олегу! Он и нам, и еще многим позвонил – он прощался со всеми! Жена моя была у Бори за два дня до этой самой ночи. Видела там его сына – Артема и его друзей-детей. Боря был в потрясающем, приподнятом состоянии. Видимо, он уже все решил – поэтому так горели глаза! Жена моя прежде уже видела мальчика с такими глазами. За полчаса до того, как мальчик погиб под машиной. Сам я побывал у Бори шестого мая, прямо накануне этой самой ночи. Когда я уходил, Боря меня обнял. Один раз обнял в прихожей и еще раз – возле лифта...

Седьмого мая рано утром позвонил Борис Петрович: «Боря умер!» Они его очень быстро нашли. От двери балкона, на ручке которой Боря удавился, можно было дотянуться до машинки на столе. Боря заранее вставил лист бумаги в машинку. Просунул в петлю голову. Достал рукой до клавиш. Настучал эти строчки: «Мое хладающее тело // побудь еще со мной // не в этом дело...»

Даже в петле Боря – написал стишок! И в кайф ушел, словно заснул. Там кайф бывает при удавлении! Перелома шейных позвонков у Бори не было. Эякуляция, дефекация – ничего этого не было тоже. Он не повесился – нет, он удавился. На полусогнутых ногах Боря повис на дверной ручке. С помощью пояса от кимоно. Просто затих...

Как повис на ручке, если был высоким? Боря был не так высок, как порой казалось. Всего сто семьдесят пять сантиметров. Просто Боря ходил в длинном пальто. И всегда он был очень худой...

«И на моей могиле ты положишь желтые цветы...» Через знакомую (или родственницу?), что была флористом, мы успели найти желтые тюльпаны к похоронам Бориса. От себя флорист добавила две орхидеи. С этими цветами мы просидели всю ночь до самых похорон. Псалтырь мы не читали – ведь Рыжий был самоубийцей! Читали свои любимые стихи из Бориной книги «И все такое...», передавая ее по кругу. Олег прочел «Мы здорово отстали от полка...» Елена прочла «Мальчик-еврей принимает из книжек на веру...» Жена моя прочла «Мотив неволи и тоски...»

В день похорон? Ну, я пришел, сказал у гроба негромко: «Боря, ты дурак!» И ушел сразу – у меня в тот день были пары. Что меня поразило: присутствие множества людей, вообще не знакомых с Рыжим! На всех лицах – жадный интерес. Жена моя ехала с похорон на коленях у Юры (профессор из университета). Он сказал еще: «Видел бы это Борька!» Да нет, никакой романтики – просто в машине было тесно...

После похорон мы сидим на кухне. Я сам, жена моя, Елена, кто-то еще. Пьем чай, состояние – можно понять. Тут вбежала та самая землячка, что стала столичной штучкой. Села она к столу и говорит: «Ну, господа, кто виноват?» Я отвечаю: «Да вы же дура!» Как она обиделась! «Я вам никогда это не прощу...»

В самую первую зиму после Бориной смерти я подобрал во дворе щенка. Он у матери один был в помете – рыжий, а не серый. Выгуливал я его, и родились стихи: «Замаял Рыжий – пес на по

водке. // Устал таскаться, сука, смерть в руке. // Пускай поносятся, понюхает мочу – // Запах свободы, б.., домой хочу...»

В апреле третьего года журнал «Знамя» опубликовал «Роттердамский дневник» Б. Рыжего. Вообще-то мы с супругой любили Борю очень сильно, совершенно бескорыстно, даже во вред себе. В этом дневнике – ведь он гадость написал, особенно про жену мою, но мы его простили. Впрочем, Боря этот текст написал «в стол». Да, может быть, он сам не стал бы его печатать. Или напечатал бы – но без имен...

Да бог с ним, мы его простили, потому что любим! Его нельзя было не любить (тогда и сейчас), ведь он так этого хотел! Когда ребенок просит напиться – ну кто не даст ему воды? Да каждый даст! Вдобавок Боря был очень талантливым и обаятельным ребенком...

Ведь что он делает в стихах? Он гнет синтаксис по-своему, и очень ловко это выходит. Он речью владеет – супер! Он летает в готовом пространстве, образованном русской поэзией. Но летает так, как никто еще не летал. Голубой огонь поэзии, который был у Сергея Есенина, его так много у Бориса Рыжего! Некий верхний предел языка...

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

ВИКТОР КОНОВАЛЕНКО ВНЕ ИГРЫ

О том, что в горьковской хоккейной команде появился новый молодой вратарь Виктор Коноваленко, я впервые узнал на целине в сентябре 1957 года из какой-то добравшейся до нашего студенческого вагончика центральной газеты. Речь шла о традиционном осеннем турнире на призы газеты «Советский спорт». И Коноваленко называли в статье открытием этих соревнований, предрекая ему большое спортивное будущее.

До появления у нас дома первого семейного телевизора «Рекорд-3» о горьковском «Торпедо» я знал только из газет. Жить на поселке завода Вторчермет, ездить учиться на Свердловку да еще находить время, чтоб посещать хоккейные матчи на открытом зимнем стадионе на Автозаводе – было уже слишком, физически не успевал. Телевизор у нас появился на новый 1961 год, самый замечательный год в истории горьковского «Торпедо», когда команда заняла второе место в чемпионате СССР и стала финалистом Кубка страны, уступив лишь ЦСКА, который выиграл и чемпионат, и Кубок. Но зато в активе «Торпедо» была победа над московскими армейцами. И я видел, как это было, – по телевизору. И по телевизору познакомился со всеми игроками той поры и, конечно, с Виктором Коноваленко.

На следующий день после победы, перед повторным матчем, тренер ЦСКА Анатолий Тарасов вышел на подтаявший мартовский лед стадиона, потрогал его рукой и покачал головой – «Не годится!» И увел команду в раздевалку. Всем стало понятно, что он опасается второго кряду поражения от горьковского «Торпедо». И лед – только повод, чтобы избежать игры. Торпедовцы же выкатились на площадку, показывая всем, что они готовы к тому, чтобы еще раз победить чемпионов страны. Стадион распался, назревал скандал. И он разразился пожаром! Кто поджег и почему огню дали похозяйничать на трибунах, так и осталось загадкой. Впрочем, пламя могло возникнуть из-за чепухи, из-за непогашен-

ной спички, из-за вспыхнувшей зажигалки. Но этот огонь как бы ставил точку в споре – вот вам! И разогретым болельщикам это было более по нутру, чем просто так разойтись, не дождавшись пламенных схваток на льду...

Потом, когда я стал работать на телевидении, в дни трансляции хоккейных поединков приходилось ехать на автозаводской стадион в качестве редактора и стоять на верхотуре рядом с комментаторской кабиной и по ходу состязания о чем-то информировать комментатора, подсказывать ему, давать советы, следить за оговоркам и поправлять их. Тогда я и познакомился с тренером Дмитрием Николаевичем Богиновым, с Игорем Чистовским, Львом Халаичевым, Робертом Сахаровским. Помните такую тройку нападения «Торпедо»? Этих ребят и в сборную СССР приглашали. К тому времени относится и первое общение с Виктором Коноваленко. Чаще встречаться с ним мы стали после победы нашей сборной на чемпионате мира 1963 года.

Виктор тогда просто героически выстоял весь чемпионат. Но самым тревожным выдался последний матч – с канадцами. Нам надо было обязательно выиграть с разницей в две шайбы. И буквально до самого конца игры мы вели в счете с отрывом даже в три гола, но за четыре секунды до финальной сирены канадцы нам забросили вторую шайбу. И розыгрыш на пяточке у наших ворот. Стоит игрокам патера Бауэра еще раз нам забить – и не мы, а они чемпионы мира. По-моему, это были самые длинные четыре секунды в моей жизни! Они никак не хотели уходить в прошлое. За эти четыре секунды канадцы как минимум могли два раза поразить наши ворота. Но Виктор ложился под шайбу, принимал ее на себя и таки не дал ей пересечь линию ворот. Все! Мы – чемпионы мира!..

Через два дня Виктор должен быть дома, а это значит – гостем нашего эфира. Так мы с ним условились еще перед отъездом на чемпионат. Яша Фридман с кинооператором Олегом Ярчевским поехали встречать Коноваленко на Московский вокзал. Там собрались спортивные журналисты из газет, из кинохроники «Поволжье». Поезд пришел, восьмой вагон на месте, а Коваленко – нет.

– Так он же в Дзержинске вышел! – сообщила проводница. – Там его автозаводцы встречали. Он мне сказал, что из Дзержинска он раньше до дому доедет.

Я стал звонить к нему домой. Застал. Поздравил с победой и говорю:

– Уговор дороже денег! Сегодня ты должен быть у нас в «Горьковских новостях».

– А сколько времени дадите? – спрашивает он.

– Двадцать минут! Целый хоккейный период. Говорить с тобой будет твой любимый Миша Марин, собкор «Советского спорта».

– Саша, ты понимаешь, какое дело... Я же чемпион мира, и поэтому сегодня меня принимает наш автозаводский директор Иван Иванович Киселев, потом наш спортивный начальник Бузуев ведет меня в партком, в профком. Везде будут чествовать. Когда же я к тебе попаду?

– А ты им всем скажи: меня ждут все болельщики города Горького и области. Три с половиной миллиона человек. Они все за меня переживали. И я должен им сказать чемпионское спасибо!

– Ой, как ты хорошо сказал!.. Буду просить, чтобы они меня долго не держали... Вот что, приезжай ко мне домой в пять часов вечера. К восемнадцати тридцати мы всяко успеем доехать...

– Договорились, в 17.00 я у тебя дома...

Приехали на нашем студийном «уазике» минут за десять до оговоренного срока. Зашел к Виктору домой: там только мама Виктора и его жена Валя.

Мама говорит, путая украинские слова с русскими, но когда волнуется оттого, что Виктора до сих пор нет, переходит на украинскую «мову».

Валя успокаивает свекровь: «Он сейчас придет!» А мне рассказывает, что во время матчей с участием нашей команды и Виктора его мама так переживала, что не могла смотреть телевизор и находиться в доме, она выбегала на лестничную площадку, ходила там от стены к стене и кричала оттуда Вале: «Какой счет?» И только когда он достигал внушительных показателей в нашу пользу, успокаивалась и заходила в квартиру.

Было уже начало шестого, а Виктор так и не приходил. Я вышел на улицу, где стояла у подъезда наша машина, тоже волновался. Но на помощь пришла местная детвора: «Дядя, мы вас по телевизору видели, вы за Коноваленко приехали, а он в подвале с истопником разговаривает. Вот по лестнице спуститесь вниз, там они...»

Я бросился вниз, перепрыгивая через ступеньки, и застал такую сцену: напротив друг друга на старых табуретках возле обшарпанного то ли стола, то ли ящика, накрытого клеенкой, сидят Коноваленко и мужик в телогрейке. Перед ними бутылка водки, несколько кругляшей колбасы, разрезанный пополам кислый огурец. Истоп-

ник крутит самокрутку с ядреным табаком и слушает, как Виктор на «чистом русском языке» делится впечатлениями от чемпионата мира по хоккею. Мужик тоже смотрел матчи по телевизору и в ненормативную лексику Виктора, ничуть не уступая ему во владении этой лексикой, вносит свои соображения, так сказать, со зрительской точки зрения.

– Витя! – крикнул я. – Нам уже пора ехать...

– Сашка, а как ты меня нашел?

– Ребята во дворе помогли. Уже шестой час!

– Извини, пожалуйста! Мы тут заговорились. Валя не знает, что я здесь?

– Нет.

– Давай сделаем так. Ты идешь ко мне домой и ждешь: что-то Витя в парткоме задерживается! Чего они его никак не отпустят? А я прихожу – ты радуешься: вот, наконец, Витя пришел! И мы едем...

Все было сделано, как он просил. Мы разыграли такую сцену радости, что ни у кого никаких подозрений по поводу нахождения в парткоме не могло возникнуть.

– Прошу, чтоб отпустили, говорю – мне пора, меня ждут. А они – ну еще минуточку...

Оказалось, что Валя ни разу не была на телевидении и готова поехать с нами. И не прочь поучаствовать в разговоре с Мишей Мариным в эфире. Мне это понравилось. И мы поехали.

Миша Марин – Михаил Исаакович Меллер – был лучшим спортивным журналистом в истории Горького – Нижнего Новгорода. Не просто репортер – философ спорта. О чем бы он ни писал, читать было интересно, и мне всегда слышался его голос. На телевидении он был совершенно домашним собеседником, располагающим к себе человеком. Михаил тоже был выпускником нашего университетского истфила и поэтому на ТВ был в своей среде.

Режиссером передачи вызвался быть Михаил Робертович Мараш. В самый последний момент выяснилось, что Марина не будет и разговор поведёт Лёва Вайнштейн, наш спортивный комментатор, конструктор автозавода. Валю тоже пригласили к беседе. Мараш называл ее Валенькой-Коноваленкой. И она помогла Виктору раскрыться в эфире, рассказывала о каких-то подробностях спортивной жизни, которые по-своему интересны, если подходить к ним с точки зрения жены вратаря. Тогда были разговоры, что Коноваленко потому так успешно отражает

броски даже с ближнего расстояния, что, в отличие от других хоккейных голкиперов, встречает удар с открытыми глазами, не моргает в момент броска. Когда об этом был задан вопрос по телефону, Виктор ответил, что никогда не отдавал себе отчета в игре – моргает или не моргает, – некогда анализировать, иначе можно «проморгать» гол. Вообще-то в самый трудный момент надо быть зрячим, чтобы реакция была мгновенной. Говорят, что футбольные вратари своей мимикой, взглядом могут воздействовать на атакующего игрока, вывести его из равновесия. Лицо хоккейного вратаря закрыто маской, а за ней эмоции не видны. Правда, маски иногда изготавливают устрашающие, но ведь это всего лишь маска!

Когда мы на нашем же «уазике» отвозили чету Коноваленко домой, на проспекте Ленина Виктор показал мне на какое-то светящееся окнами в темноте здание: «А вот здесь я учусь...» Потом проехали еще с полкилометра, и он внес правку: «Нет, я здесь учусь...» Мы с Валею рассмеялись: «Когда ты там был в последний раз?» Тут и Виктор улыбнулся: «Давно. Ты знаешь, все время занимают тренировки и игры. Выпадает свободная минута – просто хочется поваляться на диване. А учиться приходится в межсезонье. Скопом сдавать зачеты и экзамены. И вспоминать, где ты занимаешься и на каком курсе... Корочки-то все равно надо иметь, ведь не будешь же всю жизнь стоять в воротах...»

– Кстати, а где легче стоять – в «Торпедо» или в сборной?

– В сборной и ты бы постоял – за такими спинами!

И я представил себе эти «спины» – Рагулин, Эдуард Иванов, Кузькин...

У Виктора была какая-то неясность в произношении, то ли легкая шепелявость, то ли какие-то звуки получали дополнительные оттенки. Но это несколько не мешало с ним общаться, а, наоборот, соответствовало всему его облику и добавляло новые краски в его этакую угловатость и незыблемость.

С 1963 года наша сборная выигрывала шесть лет подряд и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. И после каждого успеха Коноваленко приезжал к нам на телевидение. Встречались мы и на соревнованиях в Горьком. И мне всегда было интересно с ним общаться, потому что он, безусловно, был оригинальной личностью, мастером своего дела и имел по разным поводам суждения, которые могли быть присущи только ему.

Однажды я спросил его:

– А правда, что в ЦСКА у Тарасова хоккеисты в рот не берут спиртного? Анатолий Владимирович говорит, что у армейцев сознательная самодисциплина!

– Правда, – ответил Виктор. – Она у них с утра до вечера. А как спать пойдут на базе, так пьют... под одеялом! И Тарасов про это знает, но делает вид, что ничего не происходит.

– Ты мне скажи, как ты вообще себя там чувствуешь, в сборной, ты же один из провинции, а все остальные москвичи, со столичным апломбом, с высшим образованием. Вон братья Майоровы и Старшинов собираются сдавать кандидатский минимум...

– Да нормально себя чувствую! Все они простые ребята, только вы, журналисты, из них сверхчеловеков делаете. Им и приходится изображать себя такими, какими вы их придумали. Стоит на базу кому-то из прессы заявиться, так Слава Старшинов, Боря и Женька Майоровы сразу учебники английского языка достают и между собой по-лондонски разговаривают.

Между прочим, как-то я и Евгения Майорова спросил: «Коноваленко-то вы там в сборной в черном теле не держите? Он ведь один у вас из периферии, а вы все столичные жители...» Евгений не дал мне договорить: «Это его-то в черном теле? Да тот дня не проживет, кто с нашим московским менталитетом этого провинциала обмануть ухитрится! Он над нами и подшучивает, и разыгрывает нас. А мы по наивности верим. Это он только с виду простачок. А правду-матку от всей команды тренерам говорит только Витя. Ему можно: ему нет замены...»

Я знал, что Коноваленко не раз приглашали к себе столичные клубы. Тарасов хотел его видеть в ЦСКА, Чернышев – в «Динамо». А он в эти «военизированные» команды идти не хотел. И сидел у себя дома в «Торпедо» не столько из патриотических соображений, сколько из-за того, что был реалистом, а не романтиком. В Москве с тамошней конкуренцией можно было при случае уйти на вторые роли. А в «Торпедо» ему надолго обеспечено основное место в составе. А значит – и в сборную отсюда его возьмут охотнее, чем из столичных «Крылышек» или «Локомотива». Разве Тарасов или Чернышев простят, что к ним не пошел, а стал москвичом в другой команде! Это был своеобразный парадокс нашего хоккея, который тренеры охотно культивировали: «Всех в Москве собрали, а вратаря выманить не можем! Такой у него характер!..»

Бывало и такое, когда Коноваленко отчисляли из сборной. Как-то он отпросился в Горький на несколько дней побыть с семьей,

дочка была еще маленькая. И вернулся в Москву с опозданием на день или на два. Тарасов, даже не выслушав его объяснений, не вдаваясь в причины, указал Виктору на дверь.

Конечно, ангелом Коноваленко не был и «режим нарушал». По этому поводу тоже получал тумачи и шишки. Но равных ему не было, и после «показательных мер» воздействия, которые по времени не приходились на решающие соревнования, когда наступали главные для сборной дни в году, тренеры снова призывали его под ее знамена. Сменилось несколько поколений игроков, несколько составов, а вратарь оставался все тот же. До тех пор, пока не утвердился Владислав Третьяк, который считал и считает Виктора основным своим учителем. Между прочим, у Коноваленко всегда были нормальные отношения со своими дублерами и в «Торпедо», и в сборной. В «Торпедо» его сменщиком в воротах был Фуфаев. Помню, Михаил Марин ценил его очень высоко. И говорил мне, что заслуга Фуфаева в том, что он знает, что он второй, а не первый, но всегда готов заменить первого и сыграть на уровне. И Виктор, когда мы с ним говорили на эту тему, тоже с этим соглашался и высказывался, что в сборной у него такого дублера нет. Виктор Зингер из «Спартака» хорош, но играет нестабильно. Один матч проведет так, что дух захватывает от того, что он творит в воротах, а следующий... Как будто этот вратарь со вчерашним вовсе и незнаком!

Как-то я сказал Коноваленко, что в нашей стране второго такого вратаря, чтобы был восемь раз чемпионом мира и два раза имел олимпийское золото, больше никогда не будет. Но он не согласился:

– Будет! Владик Третьяк. Он все мои рекорды превысит...

И оказался прав.

В 1964 году после второй подряд победы на чемпионате мира, которая была одновременно и олимпийской победой в Инсбруке, Виктор приехал на телевидение без Вали. На мой вопрос, почему на этот раз один, ответил несколько раздраженно:

– Я же чемпион мира, а она моя жена!..

И вообще был какой-то растерянный, сосредоточенный. Я не вытерпел и спросил:

– Что случилось? Такое впечатление, что ты проиграл и чемпионат, и Олимпиаду.

Виктор махнул рукой:

– Да одно расстройство с этим чемпионством. Боюсь – в армию загремлю!

– Да ты что – твой год уже давно отслужил. Кто тебя сейчас в армию возьмет?

– Понимаешь, вчера в Кремле на приеме подошли ко мне Хрущев с Малиновским. И Никита Сергеевич говорит: «Как ты думаешь, Родион Яковлевич, хороший из Виктора пограничник получится?» А Малиновский отвечает: «Отличный! Я на него уже давно глаз положил!» – «Ты это учти, у тебя в министерстве таких пограничников нет! А есть они только в Минавтопроме!» – рассмеялся Хрущев. И предложил чокнуться бокалами за то, чтоб Коноваленко надежно охранял границу. Мы выпили шампанского, они отошли, а у меня все настроение испортилось. Вот ведь как подзалетел – «пограничник»...

Я слушал его, видел его грустные глаза и чувствовал, что не могу оставаться серьезным.

– Ты чего смеешься, – огрызнулся Виктор, – у меня вся жизнь из-за этого Никиты поломаться может. А тебе смешно!..

– А чего мне остается делать? Только смеяться, что ты шутку Хрущева воспринял всерьез. Он же имел в виду песню из фильма «Вратарь», помнишь, «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот! Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!..» И Малиновский тоже эту песню имел в виду. А ты юмора не понял и расстроился.

– Ну, ты, Сашка, даешь! Неужели они говорили про песню? – глаза его оттаяли, лицо посветлело. – Ну, ты меня, кажется, успокоил... Сейчас позвоню Вале...

И стал привычным Виктором Коноваленко, которого я знал. На эфир принесли телефонный аппарат, подключили его, и ведущий передачи Лева Вайнштейн пригласил телезрителей пообщаться с Коноваленко. Тот брал трубку, сам озвучивал вопрос, который ему был задан, и отвечал на него и по телефону, и в эфир.

Раздался еще один звонок, и в голосе Виктора появились игровые нотки:

– А это кто говорит? Лена? А какая Лена – молодая или старая?

Мы замерли: может быть, какая-нибудь давняя поклонница или знакомая, которую Виктор узнал по голосу и заигрывает с ней. А он продолжал:

– Нет-нет, а вы скажите, сколько вам лет!.. Одиннадцать! Ну, значит, молодая...

Не помню, какой вопрос задала девочка. Она сейчас тоже не помнит, о чем спрашивала, просто хотела поговорить со знаменитым

вратарем. Та самая Лена – Лена Леонова – работала потом у нас на телевидении и провела цикл передач памяти Виктора Коноваленко. Тогда и рассказала, что это она в одиннадцать лет разговаривала с ним по телефону в телеэфире...

После товарищеских игр в Швеции Виктор был в гостях у знаменитого нападающего «Тре Крунур» Свена Юханссона по прозвищу Тумба. Тумба был весьма богатым человеком, владел бензозаправочными станциями. Делясь впечатлениями от гостевания у друга и соперника, Коноваленко удивлялся сам и интриговал нас:

– Что необычно, у него есть специальная комната для поддачи! Краники в стене. Открыл один – тебе пиво такое, открыл второй – тебе пиво другое. Есть краники для вина. Оказывается, по ту сторону стены в погребе вмонтированы бочки... Я набрался так, что меня сон сморил. И тут я должен тебе, Саша, и всей твоей журналистской братии сказать, вот вы пишете, что капиталисты обманывают народ, воруют у народа. Так вот, меня из этой комнаты для поддачи проводили в спальню, в другую часть дома. Ночью я проснулся и вспомнил, что пиджак-то мой в комнате для поддачи остался, а в боковом кармане у меня там доллары, обменный фонд. Я пиджак на спинку стула повесил после того, как случайно едой забрызгал. И Тумба сказал: «Оставь, его почистят...» Лежу и думаю, а вдруг обчистят меня. А утром пришел в комнату для поддачи. Висит мой пиджак на спинке стула – на нем ни пятнышка. Я сразу сунул руку в боковой карман. Все на месте! Вот видишь, Тумба – капиталист, а честный оказался!..

Скажете, Коноваленко был наивен. Нет, он просто был человеком из нашего города, из рабочего поселка, которому наша пропаганда внушила некоторые стереотипы. Но был случай, когда он воспользовался ими, так сказать, на высшем уровне.

Чемпионат мира 1969 года. После событий в Чехословакии в августе 1968-го противостояние сборных наших стран в хоккее носило сугубо политический характер. Чехи стремились взять на льду реванш за наши танки на их площадях. И в предпоследнем матче чемпионата это им удалось. За считанные секунды до конца игры Иржик забил решающий гол. Сборная ЧССР вышла в лидеры. Я смотрел этот матч по телевизору, видел восторг чешских хоккеистов, слезы Иржика и его поднятые вверх кулаки. И в этот момент Голонка подъехал вплотную к Коноваленко и что-то ему сказал. Коноваленко отмахнулся от него клюшкой. И поехал на лед к центральной линии. После того как прозвучал гимн и поднялось

знамя ЧССР, чехи никак не могли успокоиться, они обнимались, что-то кричали. Наши игроки незаметно ушли с поля. И трансляция была прекращена.

Для того чтобы сохранить звание чемпионов мира, нам надо было выиграть последний матч у канадцев, но в то же время необходимо было, чтобы шведы обыграли чехов, хотя на их турнирном положении эта победа уже сказаться не могла и стимулов у них для нее не было. Разве только чисто спортивное желание победить в последней игре чемпионата мира.

Все именно так и произошло. Сборная СССР вчистую обыграла канадцев, а шведы лишили сборную Чехословакии всяких надежд на первенство.

И вот заключительные кадры чемпионата мира. Награждение победителей. В центре, на самой высокой ступеньке пьедестала почета, Борис Майоров поднимает главную серебряную чашу и связку золотых медалей. За ним выстроилась вся команда, а первым у него за спиной стоит Виктор Коноваленко. Справа от Майорова, на второй ступеньке пьедестала почета, капитан чехов Голонка. Он держит над головой серебряную чашу поменьше и связку серебряных медалей. Широко улыбается на телекамеру. У него за спиной выстроилась его команда. И в это время правая рука Коноваленко тащит Голонку за рукав, и чешский капитан на мгновение наклоняется к советскому вратарю. Тот что-то ему говорит. Голонка выпрямляется, и на его лице нет больше ни улыбки, ни радости...

Когда Виктор вернулся в Горький, то первый вопрос, который ему задали у нас в эфире, звучал так: «Что сказал вам Голонка после игры, которую вы проиграли, и что вы сказали Голонке после чемпионата мира, который вы выиграли?»

– Голонка подъехал ко мне и сказал: «Учитесь, коммунисты!..» А потом, когда шло награждение, я дернул его за рукав и сказал в ответ: «Учитесь у коммунистов!»

– А шведов вы как отблагодарили? Ведь они вам обеспечили успех...

– Чернышев сказал: «Устраиваем совместный банкет за наш счет для двух команд – шведской и нашей!» И мы устроили банкет. Шведы напились так, что потом лежали, как львы у Ирины Бугримовой.

– А вы что делали?

– Тоже лежали!..

Осенью 1972 года Виктор Коноваленко прощался с большим хоккеем. Переходил на работу в спортклуб «Торпедо». Церемонию

расставания решено было провести во Дворце спорта перед матчем «Торпедо» – ЦСКА. Сценарий чествования было поручено готовить Михаилу Марину, Михаилу Марашу и мне. Все прошло очень сердечно и празднично, хотя и немного печально. Был в нашем сценарии один момент, с каким Виктор не согласился. Мы хотели, чтобы он надел спортивную вратарскую форму и на пятьдесят минут встал на свой обычный пост, чтобы потом игру прервать и с почестями унести его с поля.

– Не будет этого! – сказал Коноваленко. – Вы понимаете, это календарная игра. И устраивать из нее представление нельзя. Это неуважение к спорту! Профанация какая-то. Если я встану в ворота, то ведь никто из армейцев по-серьезному по ним бить не будет. Значит, будет игра в поддавки, потому что и наши тоже не будут иметь морального права забивать шайбы Третьяку.

Это была позиция большого спортсмена, который, перефразируя слова Станиславского, любит не себя в спорте, а спорт в себе...

Договорились, что Виктор наденет свой обычный костюм. Прикрепит к пиджаку все свои награды – и государственные, и спортивные. На ноги – ботинки с коньками. И вот так он выедет на лед перед началом игры. Вся церемония с благодарственными речами, с чествованием и награждением, с подарками на память должна занять не больше двадцати минут, так сказать, предварительный период перед матчем. После торжеств хоккеисты обеих команд уносят триумфатора с поля. И начинается игра.

Все так и было. И матч был настоящий – бескомпромиссный, и борьба на льду была жаркая, о чем свидетельствовал счет – 5:5.

Лирический портрет

Евгений СЕМИЧЕВ,

Новокуйбышевск, Самарская область

ПРИРАСТАЮ РОССИЕЙ...

Ослик

Лихо дьявол танцует чечётку.
Мечет искры в кромешном аду.
Я пошлю его, рыжего, к чёрту
И другою дорогой пойду.
Той дорогой, что всеми забыта,
Где надрывно в лихую грозу
Не грохочут, а плачут копыта,
Вышибая из камня слезу.
И пускай обо мне скажут после,
Что он жизнь не ценил ни черта!..
И был глуп и упрям, словно ослик,
На себе вывозивший Христа.

* * *

...И пришёл Кучум на Чувашский мыс.
И кровавой тучей над ним завис.
И вонзил Кучум свой волчиный клык
В заповедный град – Золотой Кашлык.
Бикбулата бил и Ядкара бил,
И из черепа Едигера пил.
На костях неверных поставил вал
И Сибир-Искером его назвал.
Трижды в день топтал на валу траву

И плевал на царственную Москву.
Вознося Московии похвальбу,
Говорил, что видел её в гробу.
И со всех народов – куда ни глянь! –
По Иртыш-Тоболу собирал он дань.
Чтоб исправно слали ему ясак,
Вырезал он данников, как собак.
Укрощая местных худых князьков,
Забирал в заложники их сынков.
И несчастных княжских забитых жён
Уводил в полон на аркане он.
Обращал язычников в мусульман.
И кровавый плыл над землёй туман.
Говорят, с тех пор на крутом ветру
Кровенеют сосен стволы в бору.
И в рассветном мраке, огнём горя,
Над Тобольском кровью сочит заря.
А в урочный час, благодатный час,
Из воды всплывает Пречистый Спас
И являет миру Господний лик,
Чтоб напомнить людям, как Бог велик.
Он для всех на свете надёжный щит.
А икона кровью мироточит.
Из времён далёких до наших дней
Белый ангел Божий парит над ней.
И стоит у ангела на крыле
Белый град Тоболеск в былинной мгле.
Осеняет светом иртышью водь.
Так его задумал создать Господь.
Белый град Тоболеск свечой стоит.
И небесным светом Сибирь хранит.
Он Сибирским Ангелом наречён
И Вся Сибирь за его плечом.

...И пришел Ермак на Чувашский мыс.
И, как царский сокол над ним завис.
И вознёсся он над Кучум-ордой,
Над Иртыш-водой, над волной седой.
И пять тысяч лучников он узрел.
А в колчане лучника тридцать стрел.

И сказал тогда атаман Ермак,
Рассекая взором кромешный мрак:
«Мне дерьмо татарское не впервой
Боевой вычерпывать булавой.
Это вам не мёд пить из пьяных сот.
И на всё про всё казаков пятьсот.
Ты прости меня, Свята Божья Мать,
Или смерть примать, или срам имать!»
Как сказал Ермак, так и сделал он.
И услышал вдруг колокольный звон.
Ни одной черквы за сто вёрст окрест.
Видно, Сам Господь знак подал с небес.
Значит, славный будет чертям улов
Изо всех орудий и всех стволов,
Развернув бортами свои стружки,
По татарам вдарили казаки.
А когда рассеялся едкий мрак,
Казакам своим подмигнул Ермак,
Свистнул острой сабелькой над собой
И шагнул с борта в рукопашный бой.
А за ним попрыгали казаки
В ледяную воду Иртыш-реки.
И лихие сабельки казаков
Распоролы саван седых веков.
Содрогнулась в страхе Кучум-орда.
Разбежались стражники – кто куда.
Потому что нету страшной беды
Закипевшей в драке Иртыш-воды.
...А Кучуму снился намедни сон,
Что над ним разверзся небесный склон.
И ему привиделась Божья Мать,
И велела город искерский сдать.
А иначе он попадёт в беду –
Как собака, в грешном сгорит аду.
...Трижды вёл Ермак в рукопашный бой
Боевых товарищей за собой.
Трижды били пушки с казачьих струг
И редел товарищей кровный круг.
А когда повел их в четвёртый раз
Из глуби речной всплыл Пречистый Спас.

И тогда сказал казакам Ермак:
«Это Сам Господь подаёт нам знак».
И в Искер-столицу они вошли,
Но Кучума в городе не нашли.
Прихватив с собою казну и жён,
Свой бесславный город покинул он.
...И багряно вспыхнули облака.
И протяжным гулом зашлась река.
Глубоко в земле разразился стон.
И поплыл во мгле колокольный звон.
Ни одной черквы на сто вёрст окрест.
Видно, Сам Господь знак подал с небес.
И взошла заря на крутой крови.
И в бору заплакали соловьи.
А потом, калёным дымя ядром,
Раскатился в небе вселенский гром.
И уверовал весь сибирский люд –
Небеса палят Ермаку салют.

Опальный колокол

На верёвках волоком
До Тобол-реки
Притащили колокол
Бунтовщики.
Чтоб, немой, в Сибири
Он перемог
Самый долгий в мире
Опальный срок.
Засадили глухо
Его в тюрьму.
Отрубили ухо
И язык ему.
Принародно били,
Чтоб смирился он.
Душу загубили.
Растоптали звон.
«Ты, разбойник лютей,
Будешь знать, урод,

Как на бунт и смуту
Поднимать народ.
Получай собака, –
Угличский смутьян».
Был палач, однако,
На расправу рьян.
И плетью поруган.
И клеймом клеймён.
По сибирским вьюгам
Под кандалный звон
На верёвках волоком
До Тобол-реки
Дотащили колокол
Бунтовщики.
И на три столетья
Он сел в сугроб.
И на три столетья
Он впал в озноб.
И на три столетья
Свой звон забыл.
И тобольский ветер
В нём волком выл.

* * *

Туча вздыбилась хмуро.
С неба валится снег.
Здравствуй, Перминов Юра,
Дорогой человек.
Над заснеженной ширью
Воздымается дым.
Прирастаю Сибирью
По стихам, по твоим.
Снег искристый и жёсткий
Засыпает мир сплошь.
Как ты там, в своём Омске,
Мой товарищ, живёшь?
Ходят в гости медведи.
Чай с малиною пьют,

Иль китайцы соседи
Из винтовок их бьют?
Хмурым небом влекомы
Сквозь ненастную бредь,
Все мы русские – Комы.
Ком – наш предок медведь.
Над отеческим кровом
Стонет бурый буран.
Даже если блин комом –
Комам, стало быть, нам.
Твои щёки тверёзо
Обжигает мороз.
Под окошком берёза
Индевет от слёз.
Воют лютые волки
На таёжном ветру.
Мой привет тебе с Волги,
Мой собрат по перу.
Над округою синей
Дым клубится рябой.
Прирастаю Россией,
Прирастая тобой.

Из будущих книг

Андрей ИУДИН

ИНИЦИАЦИЯ

Из романа *FALLOUT*

...Они остановились на опушке. Впереди было что-то вроде полянки, усеянной тусклыми лужицами. При взгляде на эту тихую темную воду, местами прикрытую ряской, у Рыжего заныло в груди; он понял, что пришли на болото.

– И где орехи? – прозвучало грубее, чем он сам хотел. Но Илия не обиделся.

– Орехи? А вон, – ткнул пальцем в сторону, – лещина, по краю. Там много. Не провались только. Хочешь, нарву?

– Не хочу.

– Ну ясно, не хочешь.

– Думаешь, боюсь болота этого?

– Не болота, меня боишься.

– Да с чего ты взял?

– Так вижу же. Не обижайся, не ты первый, я уж привык. Только раньше мне это нравилось, да и бизнесу на пользу было. А здесь уже ни к чему.

– Это что ж за бизнес – людей пугать?

– Бизнес как бизнес. Урегулирование конфликтов, если просто сказать.

– Рэкет, что ли?

– Уж сразу и рэкет. Нет, мы клиентов не искали, они сами к нам приходили. Антирэкет, скорее.

– А в чем разница?

– А в том, что если ты не дурак и не шибко нервный, то всегда можно заставить человека задуматься. Тут главное – первый запал сбить, пока он дров не наломал. А дальше и поговорить можно.

– Так ты бандитов словами вразумлял?

– Я же говорю – если ты не дурак и не шибко нервный... – повторил Илия медленно, с нажимом.

Подождал.

– Вот ты и задумался, не задираешься уже. Я, конечно, не депутат с языком по колено, но тут много слов и не надо. Главное – сомнение внести в человека: чтобы почувствовал – стена перед ним, не ушибиться бы. У меня получалось.

– Ты что, один этим занимался?

– Когда как. Но и ребята были, тренировались вместе.

– Так ты рукопашник? – догадался Рыжий. – С поясом, небось?

– Были и пояса, по молодости гнался. Только пустышки это все – пояса, даны, сертификаты всякие... Вроде бирки, чтобы продаться подороже. А я в сенсеи не рвусь, очередную школу изобретать не собираюсь, мне эти фантики ни к чему. Да понимающего человека этим и не купишь. Я серьезного бойца и так сразу вижу, а он – меня. А на стрелках да терках – все эти звания по барабану, там стена нужна. Я и был стеной.

– И что, бандиты так сразу и отпадали?

– Не сразу, конечно, разве что совсем мелкота. Как первый пыл собьешь, базар начинается – а вы под кем, да знаешь того, да сего, да ваш клиент по всем понятиям козел последний... Но это уже другая стадия, вялотекущая. Тут от клиента зависит заручками обставиться – в УВД ли, ФСБ, а то у других бандитов – уж где ему ближе. Мы подсказем, кому занести. Так и жили. Не бедствовали, в общем, но и не наглели – брали по-божески.

Илия присел облепленный мхом пенек.

– А потом? – Рыжий понял это как приглашение к разговору, пристроился на поваленном стволе напротив.

– Потом? Да как обычно. Во вкус вошли, в клиентов впиваться начали, в бизнес влезать. Только там свои игры, да и времена уже не те, и бизнес позубастее. Кто половчей, сумел зацепиться, кто попроще – сжевали. Тот сел, этот спился... Разбрелись, в общем. А мне не то чтобы запахло – скучно все это стало. Вроде чего-то хочется, а чего – не знаю. И все вокруг чего-то хотят, все за чем-то гонятся, пихают друг друга, хватают, хватают... И я хватал. Была у меня мечта, с детства еще, – белый «мерседес», – купил. Квартира – заказной дизайн, мебель итальянская... А радости нет. Чего бы еще? Ага, все дома строят за городом, – дай и я. Уже и участок присмотрел с домишкой под снос, архитектора нашел... тут все ухнуло. Надежда пришла. И ушла.

- Надежда?
- Ну да, да, – с нетерпением проговорил Илия, – Надежда, жена моя. Та самая – с тобой говорила...
- Так как же ушла, если она тут?
- А я за ней пошел.

Мы как познакомились? Я давно цигуном интересовался, а тут как раз мода пошла на все китайское, и в спортивном клубе, который у нас вроде базы был, мы его опекали, надумали набрать группу тайцзицюань для чайников. Набрать набрали, а с инструктором что-то не сложилось. Меня упростили выручить на пару занятий, пока другого найдут. Там ее и встретил.

Тайцзи – штука для драки бесполезная, чтобы на улице применить, надо не один год заниматься, зато смотрится красиво – движения медленные, плавные как в танце, и названия форм загадочные: «дракон выходит из воды», «аист расправляет крылья», «облака обнимают луну». Женщинам нравится. Они на занятия как на смотрины ходят, во всей красе – штанишки в обтяжку, купальники с колготками. А Надежда в какой-то майке балахончиком, брючки свободные, видно, не особо выбирала, надела, что подвернулось, как в лес за грибами.

Я первые формы показываю, они повторяют – шаг, откат, «поглаживание гривы». С виду ничего сложного, но ни у кого, конечно, не выходит. Тайцзи штука такая, там не в движениях дело, а в том, что их направляет, во внутреннем ощущении – особой легкости, покоя. Не мешать этому – самое трудное, годами учатся. Но чтобы не мешать – сперва услышать надо. Про то горы книжек написаны – гармония, пустой ум... – Илия махнул рукой. – В общем, все зажатые, а она больше всех, хотя видно – старается. Может, думаю, из-за одежды комплексует, фигуры стесняется – пухленькая такая, взбитая, хотя роста невеликого и тяжелой не кажется. Короче, подошел я к ней и стал легонько движения подправлять, за локоть взял. Она еще больше напряглась, засопела и локоть выдернула.

– Щекотно! – говорит. Смотрит на меня, и в глазах смех, как у девчонки. А дама не сказать чтоб юная.

Я, не подумав, ее опять за локоть беру – есть у меня такая черта баранья, я ее за собой знаю и обычно давлю, но тут что-то задел меня ее смех.

– Нет, вы лучше так скажите! – Она опять руку выдергивает и краснеет, как школьница. Как будто я пацан и руки распускаю.

А смотрят на нас.

– Хорошо, – говорю. – Постарайтесь расслабиться, освободите ум... – Ну, и все такое – что уже раз десять тут говорил и опять твержу как попугай. Глуповато как-то. Но надо же китайскую невозмутимость проявлять.

– Ладно, – пытаюсь по-другому, выдумываю на ходу, – давайте так. Толкните меня. А теперь еще раз – только как бы не сами, а представьте, будто это вообще не вы, а что-то иное, невообразимо сильнее нас с вами, перед чем мы пылинки, – толкает меня через ваше тело. Услышите это, впустите силу в себя – она сама все сделает.

Понимаю, что бестолку, но как еще скажешь.

– А что представить? – Она смотрит серьезно, старается вникнуть. – Что это за сила?

– Ну, скажем, Космоса. Или Земли.

– Земли? Земля должна вас толкнуть?

– Ну да. Толкайте. Смелее. – Чувствую, пора заканчивать, затянулось уже. – Ну, как хотите.

В глазах у нее что-то изменилось, я не успел понять. Она толкнула – я бы улетел, наверное, если б не рефлексы. Успел повернуться, и вскользь прошло, но все равно мотнулся.

– Вот, уже лучше! – киваю, сохраняю лицо, сам думаю: хорош наставник, чуть на полу не оказался от бабьего толчка – то-то реклама клубу. – Занимайтесь, и дело пойдет. Ну, продолжим...

Веду занятие, пытаюсь понять, что это было. На нее не смотрю, но как не смотреть, совсем же не отвернешься. А я периферию хорошо вижу, бойцу без этого никак. У нее по-прежнему ничего не получается – движения такие же деревянные. А я еще след от толчка чувствую, не на коже, внутри. Ощущение такое, будто ее ладони сквозь ребра прошли и чего-то там шевельнули. Лицо ее маячит по краю зрения, белое, облачное какое-то – не женское, девичье лицо. Чудится в ней растерянность, а может, кажется мне.

После занятия в вестибюль вышел – и она из раздевалки...

– Случайно, – догадался Рыжий.

– Ага, – Илия не захотел заметить иронии. – Улыбается, словно я ей тут свидание назначил. Я поинтересовался, как занятия, не тяжело ли. Нет, отвечает, все нормально. А та штука, с толчком, – вообще что-то особенное, так странно... ну, вы понимаете.

– Да, разумеется, – делаю вид, что понимаю, – но тут важны ваши ощущения.

– Ну, я как бы потеряла тело... В него вошло, хлынуло – через ноги, в позвоночник, так ярко, остро... и толкнуло. Как будто я не сама толкнула – я лишь присутствовала, а тело... Тело было не моим.

– Так чьим же оно было, – допытываюсь, – кому принадлежало?

– Как – кому? Вы же сами сказали – Земле.

И смотрит растерянно. И вижу, не врет.

Вот так, думаю, – можно полжизни заниматься восточными практиками, и книжки читать, и самому обучать, и рассуждать об энергетических каналах, боевых трансах и всяких таких диковинах – и ничего не ощущать. А тут...

– Как ничего? – не понял Рыжий. – А всякие там прана, ци? У вас, у восточников...

– А, – отмахнулся Илия, – разговоров больше. Я по молодости тоже все ждал, по ночам на звезды медитировал, – вот сейчас наверху краник отвернут, канал откроется, и хлынет... Потом понял, разговоров больше, сказок красивых. Не то чтобы совсем ничего такого – медитация, конечно, штука хорошая – нужный настрой создать, тело ощутить, релакс опять же. Когда в это углубляешься – сам себя убеждаешь, вроде и вправду начинаешь чувствовать что-то: тепло там, или холодок, или ладони покалывает, но чтобы всерьез... лажа все это. И с бойцами сколько ни говорил – с реальными бойцами, не теоретиками, – то же самое. Спорить никто не спорит, может, что-то такое и есть, книжек же вон сколько написано... Но полагаться на это смешно. Нет – тренировка и только тренировка. Ну, и практика, само собой. А остальное – упаковка, фантики для лохов... Так и привык. А тут – на тебе: какая-то дамочка со скуки забрела в зал и так, между делом, запросто к Земле подключилась, как штепсель в розетку воткнула. С моих же слов, в которые я сам не верил...

Думаю, может, слишком внушаема? Не в себе малость, или что-то такое? Да нет, не похожа она на ущербную и уж точно не восторженная дурочка. Взгляд чистый, спокойный. Сама полновата, оттого и платье свободное, но очень даже ничего собой. Бледновата, правда, – лицо тонкое, прозрачное, как облачко в погожий день... Да и что бы она там ни навывдумывала, толчок-то я на себе ощутил. До сих пор ощущаю.

– Расскажите еще, подробнее.

– Ну... это как вспышка, только не слепящая, а наоборот. Я, кажется, каждую пылинку в воздухе видела, каждую клеточку ощущала – в себе, в вас...

– Во мне?

– Ну да, – она смешалась, будто что-то лишнее сказала. – Показалось, наверное...

– А сейчас, – спрашиваю, – сейчас что-нибудь чувствуете?

Она смотрит на меня, и взгляд такой, будто теперь я неловкость сказал.

– А вы? Вы не чувствуете?

– Вот так и... – Илия махнул рукой. – Встретились, в общем.

Она тогда с весом боролась. Уже перепробовала аэробику, фитнес, бодифлекс, диеты всякие. К нам пришла по объявлению в газете: там помимо всех прочих плюшек обещалась «коррекция фигуры и веса». Но и тайцзи тоже не привилось – результат нескорый, да и не по характеру ей все эти китайские тонкости, скучновато, не по натуре. Тут я ее понимаю, сам проходил, разные школы пробовал: от джиу до киокушин, китайские стили, вьетнамские... Любая система хороша до поры, но ни одна не рассчитана на конкретного человека. И если человек серьезный, рано или поздно доходит до края, за которым никто из наставников ничего ему больше дать не может – только он сам. Не каждый, конечно, доходит, мало таких, да и не каждый из них решится дальше двигаться – боязно в одиночку, мало ли куда забредешь. Еще вернешься ли. Проще в системе остаться, все привычно, отлажено – и ты хоть и винтик, да не из последних. Вот и копят свои даны, смешивают старые школы под новыми вывесками, обрастают учениками...

– А ты дальше пошел? – не утерпел Рыжий. – За край?

– Может, и пошел бы, да не успел. Повели меня.

– Кто повел?

– Надежда. Она и повела. Вот и завела, да... – Илия замолчал, прислушиваясь к своему, усмехнулся себе же в ответ. – Но это уже потом.

Переехал я к ней, в ее двушку, от развода осталась. Они с мужем по-людски разошлись, он ей чего-то оставил, да еще в одной его рекламной фирмочке числилась, дома тексты сочиняла, переводила. Сыну ее лет двадцать было, сам крутился, жил отдельно с подругой. Я тоже один, дети при бывшей жене, да взрослые уже... в общем, переехал.

Даже странно – время кругом подлое, а нам хорошо было, спокойно. И дела мои в этом времени шли неплохо.

Я предложил: у меня квартира побольше, давай переедем ко мне, а хочешь – сменяемся на одну. Отнекивается:

– Я там все переделать захочу, на свой лад.

– Так переделывай, какие проблемы.

– Ты не понимаешь, не обижайся только. Я ведь женщина, увлекаюсь, это такое занятие... счастливое. Не ко времени, не главное это.

– А что ж главное?

– Не знаю, ищу...

Не хочется ей говорить, стесняется, что ли. Я мягко, как могу:

– Ты это про вес? Да не бери в голову. Все эти курсы, биодобавки, диеты экзотические – просто бизнес, и больше ничего. Кто придумал, что женщина тощей быть должна? Те, кто на этом деньги зарабатывает. Создают спрос и втюхивают товар. Такая же индустрия, как мода или там лечение наркоманов. А тебе зачем? Здоровье в порядке, вот и будь какой природа создала. Я тебя такой люблю, ты вон какая красивая.

(И не вру, правда красивая, а насчет объемов, это как посмотреть. Полная – да, но не грузная, походка легкая, плавная. И лицо тонкое, облачное какое-то... ну, я говорил уже.)

Усмехается:

– Красивая?

– Красивая.

– Красота – это то, как ты меня видишь. Но не то, что ты во мне любишь, не главное, ведь так? Другие вот смотрят – и видят толстуху.

– Да кто это смотрит? Ты только...

– Не перебивай, я не о мужиках, вообще говорю. Я сама себя толстой вижу. Значит, что-то во мне не так, во мне самой. Все ты верно говоришь – насчет, бизнеса, товара и прочее. Я и сама это знаю. Я другого понять не могу, почему этот товар мне не впрок. Сколько всего перебрала, а толку нет. Может, дело тут не в фигуре, не в весе, понимаешь? А в том, главном, что ты один во мне видишь. Может, с этим главным что-то не так? Мне мой вес не тело – душу тяготит.словно сама душа зажирела и целлюлитные складки под кожу выперли.

– Ну уж, выдумашь. – Не нравится мне разговор. – Откуда на душе жиру взяться?

И вдруг мысль дурацкая: «А сам не чувствуешь – на своей?» То ли подумалось, то ли показалось – она меня хочет спросить. Не спросила.

– Не знаю, вырос незаметно... а может, всегда был. Жила себе, жила – и вот хватилась. Может – для того и жила?

Соображаю, что сказать; уж больно повело ее куда-то.

– А давай вместе режим установим и строго по нему жить будем – пробежки полегонечку, парилка, питание и все такое. Вдвоем оно веселее будет, точно поможет.

– Ты не понял, – качает головой. – Всю жизнь на диете да упражнения – это опять борьба с телом получается. А дело не в нем, я жизнь на него тратить не собираюсь. Надо, чтобы это ушло, и все – и чтоб я дальше жила и не вспоминала, со свободной головой.

– И как же это? – Вижу, задумала что-то.

– Есть способ.

– Какой?

– Не есть совсем.

Ясно, думаю, это она в Интернете начиталась. Я, конечно, слышал про всяких праноедов и бретерианцев и таких, кто от Солнца заряжается, но живьем ни одного не встречал.

– Да бог с тобой, – пытаюсь вразумить. – Это ведь тот же чертов бизнес – книжки, курсы, консультации. А все эти блоги да форумы – либо реклама, либо вранье. Хочется людям, чего в их жизни нет, в сказку поиграть, они за аватаркой спрячутся и врут: один, понимаешь, колдун страшной силы, сам себя боится, другой сны вещи видит, этот в астрале чертей гоняет, тому ангелы откровения диктуют... Это как ролевая игра, только на словах, заочная. Еще до того заврут, что и сами верят.

– Врут, конечно... но не все же. Я это чувствую. – Взгляд у нее, как у ребенка, который не может взрослому объяснить. – Я должна, понимаешь?

И я понимаю: она давно об этом думает, только сказать не решалась. Боялась, что отговаривать начну. Но раз теперь сказала – значит, все: вбила в голову, не свернешь. Я уже знал, что она такая.

– И что же – просто перестанешь есть? Насовсем?

– Ну, может, не сразу – насовсем. Пока на время. На три недели. Это телу урок, что оно может жить и без еды. Переход как бы, инициация.

– А потом?

– Пока не знаю. Я ведь не ставлю цели – совсем не есть. Просто зависеть не хочу. Дело тут не в еде, понимаешь? Это только средство, шаг куда-то, ступенька.

– А дальше?..

– Не знаю. Что откроется... – И снова глаза как у ребенка, который в витрине игрушку увидел и понимает, что дорогая, и оторваться не может. – Это путь.

Я как могу осторожнее:

– Путь? А если не твой?

– А если не мой, то другого нету.

И я вижу: одно неверное слово – и потеряю ее. Может, не враз, но сейчас, но... Она спорить не станет, а только закроется, пройдет между нами трещинка – и не замазать уже, не зарастить.

– И когда думаешь начать?

– Завтра. Сегодня – с полуночи. Поможешь?

Вот так. Либо я с ней, либо – без нее.

Ладно, успокаиваю себя, пусть начнет, поголодает под моим присмотром. Может, раздумает еще по ходу, а если что – вмешаюсь.

– Помогу, конечно. Что нужно – вода дистиллированная? Соки, мед – капать по чуть-чуть?

– Ничего пока. Первая неделя – сухая.

Я чуть не упал.

– Да ты что? Неделю – без воды? Это же невозможно! Любой врач скажет!

– А кто врачу сказал? Другой врач? А тот откуда знает? Из учебника?

– Но есть же примеры...

– Примеры всякие есть, в той же Библии говорится...

– Ты серьезно? – Уже сдержаться не могу. – Еще на Интернет сошлись – там небось таких, кто святым духом питается, пруд пруди. И всему верить?

– Интернет, Библия – не в том дело... Верит человек, во что привык верить, к чему приучили. Сказали врачи: три-четыре дня без воды – и человек умирает. И он умирает – потому что готов умереть, потому что так положено, наука велит. Но ведь не все умирают, есть и другие случаи – по неделе, по полторы. Исключения? А что такое исключение? Выходит, что одному человеку правда, другому – ложь. Все запреты у нас в голове. Пока они там, они – правда. А если их из головы выкинуть, глядишь, и окажутся старой, бывшей правдой, попросту ложью. Вот только

выкинуть легко не получается. Глубоко вросли – вырывать надо, с корнем...

Да, думаю, крепко ты себе голову забила. Ясно, что все мои доводы заранее известны и отмечены.

Она вдруг:

– Думаешь, я тебя сейчас убеждаю? Себя... – И улыбка слабая такая, с какой не то прощают, не то прощаются.

Но я прощаться не хочу. Понимаю, со мной или без меня – все равно она это сделает. Ей самой страшно – но сделает. И я своими уговорами только навредить могу. Когда человек в таком настрое, его одним сомнением легко пошатнуть, погубить даже. Особенно от близкого. А кто ближе меня?

– Помогу, конечно, все сделаю. – У самого на душе кошки скребут. – Так что готовить-то?

– Себя, – она без улыбки. – Ты не пугайся главное. Даже если покажется что-нибудь...

– Что покажется?

– Ну, не знаю... За меня не пугайся.

– Да уже боюсь, – хмыкаю, чтобы хоть как-то разрядить.

– Вот не надо, – она серьезно, так маленьких уговаривают. – Тогда и я испугаюсь. Ты мне светлый нужен.

Неожиданно как-то прозвучало. Нашла, думаю, светлого, – один бизнес мой чего стоит. Она его только в общих чертах представляла, в детали я не вдавался, но ведь не школьница, догадывалась. Да дело не в том, какой я там, главное – какой я для нее, верно? А прозвучало так, будто она меня светлым видит и другого не ждет... И нет бы сказать «спокойный», или там «умиротворенный», что ли. А то – «светлый»... Слово будто обычное, а врасплох меня застало.

– Я эти дни в спальне одна буду. Ты тут на диванчике поживи, ладно? – В щечку чмокнула. – Ну, поздно, пойду. Пожелай мне...

И дверь за собой прикрыла.

И остался я на своем диванчике. Все прислушивался: как там, за стенкой? Тишина. А что там может быть? Посидел-посидел, в мыслях кавардак... Надо разгребать.

Полез в компьютер, чуть не до утра шарился по неедским сайтам да форумам. Там как обычно – одни продвинутых изображают, поучают с важным видом, другие их облизывают, совета просят и делают вид, что верят, – чтобы их тоже по шерстке погладили. Третьи «продвинутых» опровергают и со своими советами лезут. Пересобачатся, потом вспомнят, что все они духовные по самое

некуда, – и друг друга сердечками осыпают... Забавно со стороны, будто взрослые люди ролевою игру затеяли в эльфов и волшебников. Но попадаюся и адекватные посты, без выпендрежа; некоторые даже врачами представляются, описывают ощущения, симптоматику – выглядит вроде грамотно. Нашел нужные ссылки: да, та самая схема – три недели без еды, первая неделя и без воды тоже. Это меня малость обнадежило: по крайней мере, Надежда не первая, кто такие штуки проделывал. И потом, она же сказала, что совсем не есть – такую цель себе на ставит. Три недели – срок, конечно, долгий, а неделя без воды... Может, передумает еще? А самому вдруг неловко от этой мысли – будто поражения ей желаю.

Прилег на диване под утро, слушаю: как там, за стенкой?

Тишина.

Кажется, и во сне слушал...

Я в те дни старался дома быть. Но отлучаться все равно приходилось, бизнес никто не отменял, да и просто три недели дома не просидишь. В магазине выйдешь, чай вдруг кончился, – и сердце не на месте: все думаешь, может, вот сейчас, пока ты тут у кассы топчешься, там с ней что-нибудь... да на кой тебе этот чай!

И дома не спокойнее. Она в спальне, одна, я в гостиной, один. Ничего не готовил, чтобы едой не пахло. Да есть и не хотелось, консервы откроешь, яблоком похрупаешь, и ладно. Вроде хоть какая-то солидарность. Телевизор не включал, от него одно раздражение и в мозгах мусор. Не знаешь, чем заняться, тыкаешься в Интернете или в книжку какую-нибудь уставившись, а сам слушаешь...

Редко Надежда прошелестит мимо в ночнушке, в туалет или в ванную рот полоскать, и сразу назад. Не утерплю: как, мол, дела? Присядет, улыбнется через силу, и видно, что не до разговоров ей, а только чтобы меня успокоить.

– Сам-то ешь что-нибудь? – Глаза тусклые, голос тусклый, губы сухие, в трешинках.

– Да все нормально, ложись уже... – Встану проводить ее – качнет головой: не надо. С порога улыбнется, без силы, глазами, и дверь тихонько прикроет.

И опять тишина.

И мысли точат: а может, ты тупой совсем? Может, вся эта философия про «жир на душе», про «путь» – только тебя успокоить, а сама – чисто по-женски, похудеть хочет? Чтобы красивей стать и тебе еще больше нравиться? А ты того стоишь? Сидишь дураком,

в монитор пялишься, пока она жизнью рискует, дикие эксперименты над собой ставит. Может, сама уже не рада, что затеяла, а остановиться самолюбие не дает. Ждет, что ты вмешаешься, своей мужской властью.

Глупо, конечно, не та она женщина, чтобы за мужика цепляться, даже самого любимого. А уж власть, хоть мужская, хоть какая, – это точно не про нее. И стыдно мне от этих мыслей, и опять не по себе.

Случись с ней что – себе не простишь. Помешаешь, собьешь с «пути» – она не простит. Что так, что эдак – все равно предательством попахивает. И сидишь сиднем – что от тебя толку? А что делать-то?

«Светлым» назвала...

На четвертый день пришлось съездить в клуб, собирались по текущему мероприятию. На обратном пути цветы у тетки купил. В квартиру вошел – тишина. И опять эти мысли: а вдруг с ней что-нибудь? У двери спальни, постоял, послушал – тихо. Окликнуть? Может, задремала – разбуду понапрасну... Ладно, загляну потихоньку, цветы же принес.

Дверь приоткрыл – она лежит на кровати, в ночнушке, лицо заострилось, скулы торчат. Форточка нараспашку, в комнате свежо и лимоном пахнет – на прикроватном столике салатница с водой и апельсиновыми корками, под плевательницу приспособлена.

Надежда лежала лицом ко мне, но не шевельнулась, глаза открыты. И выражение в них... Это как если бы человек ночью в окно смотрел, смотрел, все ждал кого-то – да и устал ждать, отошел. Свет в квартире горит, а окно пустое...

Я наклонился, со своими цветами, убедиться, что дышит. Тут в ее глазах что-то отозвалось – тень в окне, вернулась.

– Солнышки... – Губы сухие, шуршат как бумага.

– Что? – я тоже почему-то шепчу.

– Цветы ... – выдохнула она с усилием, погромче. – Ромашки – как солнышки...

И в лицо мне запах – кислый, тяжелый, с ацетоном. Я и раньше его чувствовал, когда она мимо проходила, но не так сильно как сейчас, вплотную. Да еще по контрасту с цветочной свежестью. Я уже достаточно подковался, знал, что это организм внутренние запасы сжигает, расщепляет жиры, оттого и запах, так положено. И все равно сердце защемило: что она с собой делает?

Улыбаюсь:

– Ну да, ты же их любишь. Тетка в теплицах работает, таскает, видать, потихоньку.

– В воду поставь.

Я-то их нарочно в пустую вазу сунул: зачем ей вода перед глазами – лишнее мучение. Но сходил, налил.

– Не думай, пить не буду.

– Я и не думал такого, – говорю.

– Не буду пить, не буду, – повторяет, словно не слышит меня. – Дождусь...

– Чего дождешься?

– Разрешения.

– Разрешения? – Я цветы на туалетный столик поставил, обращаюсь. О чем это она?

Смотрит вроде на меня, но взгляд мутный, расфокусированный, будто сквозь меня кого-то еще пытается рассмотреть. Я даже глаза скосил – никого. Да что с ней?

– Другую вазу возьми, – вдруг слышу. – Высокую, на кухне на шкафу стоит.

Вижу, взгляд у нее прояснился – больной, страдальческий, но теперь прямо на меня, не сквозь. И про вазу – это она точно мне, кому еще? Сходил, поменял. Спрашиваю осторожно:

– Что за разрешение?

– Когда пить можно будет.

– Так по схеме же, на седьмой день с утра...

– Нет, – шепчет, – уже не так. Теперь – как разрешат...

– Кто разрешит? – А сам думаю про тот ее взгляд – сквозь меня. – Ты говорила с кем-то? Он еще тут?

– Ушел. Но придет. Он обещал.

– Кто? – Пытаюсь сообразить: может, чего доброго, с моим бизнесом связано? Крючок на меня готовят – из нее? – Как он вошел? Ты ему открыла?

– Не знаю. Забылась вроде, а потом вижу – он тут стоит. И говорит: так слишком просто – если знаешь, сколько терпеть. Каждому своя мера... твоя еще не отмерена.

– То есть – не на седьмой? Еще позже?

Смотрит, молчит. У меня сердце защемило.

– Да как он мог войти? Может, ты сама ему открыла, не помнишь?

Сам пытаюсь вспомнить, как дверь была заперта: на два оборота или только на защелку? – не могу.

– Кто он? Ты его разглядела? Какой из себя?

– Он такой... светлый...

– В смысле, волосы светлые, блондин?

– И волосы светлые... и сам... Зыбкий только, как в мареве...

– В мареве?.. – Теперь понятно, думаю: не попей-ка четыре дня – не такое померещится. Тоже, конечно, мало радости, но уж лучше, чем наши клиенты.

– По-твоему, приснилось мне?

– Конечно, – говорю. – Задремала, вот и привиделось. И не надо никакого разрешения, попьешь в срок, как собиралась. Ты как себя чувствуешь?

– Жарко. Горю вся.

Я ее руку взял – кожа сухая, шелушится, но не горячая. Об этом я тоже читал у неедов: человека будто печет изнутри, в морозилку готов залезть, а температура нормальная. «Эфирный жар» называется; вроде как шлаки выгорают, больные клетки расщепляются и организм обновляется.

– Давай компресс сделаю?

– Нет. – Надежда встает, шатает ее от слабости. – В ванну, под душ...

Отвел я ее, помог в ванну забраться. Она холодный кран отвернула до упора – а на улице конец ноября, вода ледяная. Дальше сама, выйди. – Да ты же еле стоишь, упадешь еще, и будто я тебя всякой не видел. – Нет, говорит, это не то. И слезы наворачиваются – так не терпится ей. Долго плескалась, я под дверью сторожил – вдруг упадет. Но вышла она сама, и видно, что полегчало ей. Замерзла? – спрашиваю, – давай под ватное одеяло.

– Какое одеяло! – И лицо тихое, умиротворенное. – Такая чудная водичка... я бы в ней жить могла.

Но пока до кровати дошла, опять погрустнела, будто прежние мысли ее там дожидались.

– Знаешь, – говорит, – что труднее всего? Во рту полоскать. Глотать нельзя, ни капли, и страшно – вдруг само глотнется? За каждый глоток – еще день без воды... И не полоскать нельзя: налет копится, противно.

– Ты молодец, – подбадриваю, – здорово держишься. Ничего, немного осталось, сейчас уже вечер, – два дня, считай.

– Это если по схеме...

– Да конечно по схеме – на седьмой день. А ты сомневаешься? Все из-за того сна?

– А если это не сон? Что, если он и вправду приходил – предупредить? А я не послушаюсь, нарушу... и все зря? – Она опять на шепот перешла, слабенькая. – Нет, не могу.

– Да ты что? Когда же теперь пить-то?

– Не могу... – Она будто не слышит. И опять этот взгляд: сквозь меня, мутный, ищущий – но уже не здесь, не в этой в этой комнате, а дальше, словно вообще не в этом мире... Застыл. (Нашел?)

– Он скажет. Он придет. Он обещал... – И глаза закрыла. Устала.

Я вспомнил про лимоны, салатницу взял, воду обновить. В ней шапочки слюны, красные – еще и десны у нее кровоточат... Сполоснул, новых корок накрошил, на столик поставил; Надежда вроде бы задремала.

Все пытался вспомнить, как же замок был заперт – как положено, на два оборота, или только на язычок-защелку? Если на защелку – то, может, вправду кто-то в квартире был и, уходя, просто дверь прихлопнул. Но как вошел-то тогда? Надежда впустила? С чего бы – незнакомого? Если спала, то пока он в дверь звонил – а наш звонок мертвого разбудит, – она бы точно в себя пришла и тут уж не забыла бы, как в прихожую брела, как отпирала...

Значит, пригрезилось ей.

Будь это кто-то, у кого со мной счеты, – просто так не ушел бы. Нет, точно – на два оборота было закрыто, иначе я бы заметил, когда отпирал, не мог не заметить.

Пригрезилось, пригрезилось.

Тогда другая проблема: как это ей объяснить, пока себя жадой не уморила?

Не знаю, не могу придумать.

На другой день она раза три в ванную выбиралась. Я настороже, зашевелилась за стеной – встает, значит. Дверь откроет, качнется за порог; я уже рядом, поддержать если что. Она ручку отпустит и бредет через гостиную – волосы спутаны, глаза запали, черным обведены, смотрит перед собой. Как через пустыню бредет – одна, без дороги, за миражом...

Наплещется, выйдет счастливая, глаза искрятся, то ли от слез, то ли от воды, – только что не мурлычет. Но недолго: в спальне присядет, поникшая, откинется на кровать – медленно, со вздохом, будто в сумерки уплывает.

Раз обронила:

– Господи, ну почему мне так тяжело? У других все легче проходит...

Я на нее смотрю и о том же думаю. И все меньше верю этим докам на неедских форумах: врут, врут! сказками друг дружку убаюкают! Просто игра такая – вроде секса в чате. Точит меня эта мысль, но Надежде как сказать? Я дипломатично заезжаю:

– Может, они постепенно начинали – по дню-два? Да наверняка. А ты без практики – да сразу на неделю. Может, и тебе на первый раз...

– Нет. – Надежда к стене отвернулась. – Не говори дальше, пожалуйста... Ты мне светлый нужен.

Опять это слово – как занозу всадила. Вдруг подумалось: если я не светлый, то какой? Темный, что ли? Тот, кто искушает? А я – не искушаю? Сам уже не знаю, и гложет меня эта мысль.

– Я должна, – шелестит Надежда и в стену смотрит. – Не потому что уже пройденного, этих дней, этих мук жалко... нет, не в них дело. Это не в магазине: оплатил – получи обещанное. Тут главное – не в жертве, не в страдании, а в готовности к ним – без оглядки, без счета... Я не знаю уже, что получу, что хочу получить, но – готова... Потому что чувствую... или верю? – не знаю, все равно... это как просветление, понимаешь?... – что должна, что так правильно. Это дороже того, что я получу или не получу... или чем там все кончится... – Во рту у нее пересохло, пытается сглотнуть, а слюны нет.

Я не спорю, бестолку – ее уже не свернешь, еще и в отступники попадешь. Тогда замкнется, совсем одна останется... в своем *просветлении*.

До волос ее дотронулся, по щеке тихонько глажу: кожа шуршит, как лист сухой, – сердце щемит.

– Я с тобой, – говорю. – Только смотреть тяжело, как ты каждый раз на кровать будто в землю ложишься.

– А что земля? – Надежда лицом повернулась, и улыбка на губах, слабая, тлеющая. – Земля нас с тобой соединила, помнишь?..

Это она о том занятии по тайцзи, где мы впервые встретились.

– Помню.

– Чего ж ее бояться? Земля – мать, благословила... Спасибо ей.

Утешила.

На седьмой день еще до рассвета лежу на своем диванчике, слушаю – как там за стенкой? Не проснулась еще?

Сам спал паршиво, мысли мутные. Если бы не это ее видение, ей сейчас уже пить можно... вот бы гора с плеч! Что впереди еще

две недели без еды – уже ерундой кажется, семечками, – лишь бы пила... Наверняка она сейчас лежит и о том же думает. Колеблется, мучится... Зайти? Подтолкнуть? Это искушение будет? Но ведь я помочь хочу...

Рассвело, а Надежда не выходит. Десять часов. Одиннадцать...

И вдруг всхлипнул кто-то. Меня как снесло с дивана; вскочил – откуда звук? из прихожей, вроде?..

Вот опять: «тили-тили» – жалобно так, по-детски... Тьфу – это же Надеждин телефон разрядился. Надо же так себя накрутить – телефон жены не узнал. Сам ей выбирал, сам настраивал... да сто раз его слышал!

Пока шел за ним в прихожую, искал зарядник – опять этот звук... нет – другой. Не телефон – сирена экстренной службы. Заныла и оборвалась где-то неподалеку.

Я вышел на лоджию – она застеклена, но сектор обзора больше, чем из окна. Фургончик «скорой» замер на переходе у ближайшего перекрестка. Несколько фигурок (две из них в белых халатах) сгрудились над чем-то, лежащим у самого бордюра, другие проходили мимо, бросая короткий взгляд.

«Тили-тили», – захлюпал Надеждин мобильник в моей руке. (Я так и не поставил его на зарядку, отвлекся на «скорую».)

В этот момент среди кучки людей возникла еще одна, тоже в белом, – очевидно, это был врач; до тех пор он сидел на корточках над телом, скрытый за спинами остальных, а теперь выпрямился в рост. И по тому, как он пошел к машине и как двинулись за ним другие в белом, стало ясно, что их миссия исчерпана.

Я вернулся в гостиную, поставил мобильник на зарядку. («Тили-тили», – успел он всплакнуть напоследок.)

– Что-то случилось.

Надежда стояла в дверях спальни, держась за дверную ручку.

– Да ничего, – говорю. – Рамы вот проверял, не сквозит ли. (Не хватало еще ей про труп на дороге докладывать.)

– Что-то случилось, – повторяет Надежда, и я понимаю, что это не вопрос.

– С кем случилось? С тобой?

Она помолчала.

– Не знаю... Наверное, со мной тоже. Не пришел он.

– Кто не пришел? – И почему-то знаю ответ. Не нравится он мне, не хочю, но уже знаю. – Тот, из видения?

– Он шел... я чувствовала. Уже близко... И все оборвалось.

– Ну, что ж тут такого? Задремала, потом проснулась... Я, наверное, на лоджию выходил, зашумел.

– Нет, – качает головой, – не дремала я. Вообще глаз не сомкнула, ждала разрешения. А он не пришел...

– И как же теперь?

– Не знаю... – Вижу, что не уверена, колеблется. И если сейчас в эту щелочку влезть, найти нужные слова – может, отговорю? Ищу эти слова, уже рот открыл... И тут словно кольнуло меня: *отступник*. Но ведь ради ее же блага! Или *своего*?

Замешкался на какую-то секунду, не успел. Она раньше заговорила.

– Нет, знаю, знаю... – частит, торопится (чтобы мне не дать сказать?). – Дальше пойду...

– Одна? – спрашиваю, и понимаю, что говорю я про того мужика из ее сна, который как бы не пришел, и теперь она пить не может. Говорю так, будто я сам теперь верю, что он и вправду был и мог прийти. Но не придет.

– Почему одна – ты же рядом.

Вот так вышло, что не я ее – она меня поддержала. Удержала. Теперь-то подумать – если б я успел, поймал ее на слабине, сбил с этого чертова пути...

– Почему «чертова», хочешь спросить?

Потому что уходит она от меня по этому пути. Все дальше – и не догнать.

Но тогда я об этом не знал. И хорошо, что не знал.

Седьмой день был, наверное, самый тяжелый. Для меня точно. Потому что он вехой был – шесть дней Надежда без воды отмучится, а на седьмой пить можно. А дальше, на воде, да соки помаленьку, – уже не так страшно вроде. А что теперь? Пить ей нельзя, до особого разрешения. И когда его ждать? И главное – кто его даст, это разрешение? Призрак из видения?

А если он не призрак, если он вправду приходил? И опять шел и не дошел... почему не дошел? Что-то случилось? Под машину попал?... Чушь какая-то.

Чушь, конечно, но все равно об этом думаю.

А чего тут думать – город большой, каждый день люди под колеса попадают. Тот случай, что я утром с лоджии наблюдал, лишь тем и примечателен, что произошел почти у нашего дома и по вре-

мени совпал с Надеждиным ощущением, что этот «призрак» уже близко. Последнее тоже неудивительно – она в напряжении, всю ночь разрешения на питье ждала, глаз не сомкнула, сама говорит... Говорит-то говорит, но могла же и задремать незаметно – вот и пригрезилось. А тут я на ложию пошел, дверь тугая, – она проснулась и вышла. Да еще мобильник запиликал... нет, он раньше. Ну да, сперва я его услышал, не сразу понял. Пока сообразил да искал зарядник – тут сирена, это скорая приехала. А телефон замолчал.

Хотя нет, не замолчал... Я вспомнил вырастающую среди кучки людей фигуру врача в белом халате. Перед тем как он выпрямился над телом, мобильник всплакнул, это я помнил четко. Выглядело так, будто телефон констатировал смерть. Одновременно с врачом. И больше голоса не подавал. Невероятно, конечно, но если допустить это как предположение, то и первый его сигнал, заставивший меня вскочить с дивана, мог тоже что-то означать... Момент наезда? А потом прибыла «скорая», быстро, тут их станция недалеко.

Черт, ну какая может быть связь между сбитым бедолагой и этим телефоном?

Связь...

Оборвалось – так она сказала?

Мне представилось: глухой удар, отлетевшее тело, лужа крови под головой... и *все оборвалось*.

Остался только телефон.

Надеждин телефон.

Вот тебе и связь...

Бред. Я бы рассмеялся – если ты не тишина за стеной. Эта тишина поселилась в спальне неделю назад и с каждым днем Надеждиного поста все росла, набухала. Ей не мешали мелкие домовые шумы, звуки улицы, просачивающиеся сквозь стеклопакеты. За неделю эта тишина заполнила всю квартиру; временами казалось, я ею дышу, как мягкой, тончайшей пылью, что от нее уже скрипит на зубах, что задыхаюсь...

Темнеть начало. Я вышел на кухню заварить чаю. Последние дни обходился водой, и то по минимуму: как-то совестно пить, когда за стеной самый близкий тебе человек чахнет от жажды, – каждый глоток будто у него украденный. Но мне требовалось прочистить мозги. Надо было что-то решать, пока не дошло до *крайности*. (Удобное выражение, верно? – звучит вроде честно, грозно, ответственно, а в то же время оставляешь себе лазейку. Ведь «крайность» даже если и наступит, то она еще только «крайность»,

а еще не конец – ну, не совсем конец, не то окончательное... ты понимаешь, какое слово страшно произносить. Как будто за «крайностью» еще маленький люфтик припасен, последняя заначка – крошечный, но все же какой-то шанс, возможность исправить, спасти, прежде чем случится это, уже окончательное. И значит, пока можно еще малость подождать – вдруг все само разрулится?)

Я налил себе горячей заварки, отхлебываю потихоньку. И когда мобильник пискнул – я небо ошпарил. Надеждин, опять... Но сигнал на этот раз другой: сообщение пришло. Я ртом дышу, а сам в гостиную, где его заряжаться оставил. Спам, наверное, рекламная рассылка очередная, но надо проверить. Да, эсэмэска, только странная – пустая, без текста. И непонятно, кто отправил: обратного номера нет. Шутка чья-то? Или рекламщики где-то напортачили, забыли текст ввести? Но об анонимности позаботились, не забыли. Не нравится мне это.

Вроде какое-то движение в спальне. Надежда встает, купаться надумала? Жду – тихо. И все равно что-то такое – не движение, не звук даже, а в воздухе что-то... будто тишина изменилась. Я дверь приоткрыл: Надежда лежит на кровати с открытыми глазами и смотрит на меня.

– Придет... – прошелестела – без голоса, одними губами. – Придет...

Взгляд мутный, и сквозь эту муть радость брезжит, тихая, от который комок в горле.

– Откуда, как он может? – это я от растерянности. Словно знаю, о ком речь, и знаю, что не может он прийти, не сможет уже. Но она-то не в курсе, ей я про сбитого пешехода не говорил. – Откуда ты узнала? Когда?

– Вот только что. Словно кто-то сказал... или подумал – где-то далеко-далеко: «Не бойся, не кончилось, жди»...

– Уверена? Может, ты сама...

– Это он, он... Я чувствую.

– И сейчас чувствуешь?

– Нет, оборвалось... все быстро так. Словно трудно ему... или далеко очень. Но он обещал, придет...

– Придет, – киваю. – Тебе что-нибудь нужно? Может, купаться?

– Нет, полежу пока. Спасибо тебе.

– Да за что?

Она глаза закрыла. Умиротворенная такая, словно все теперь позади и в туннеле свет открылся, и она к этому свету плывет.

А я? Мне что делать?

Вернулся на кухню.

Ясно: она будет ждать этого человека из видения, пока он ей пить разрешит.

И кажется, я сам начинаю верить. Еще не верю, но странно все: утреннее Надеждино видение – и ДТП на переходе. И телефонный плач – словно по душе отлетевшей. А теперь, как раз в тот момент, когда Надежде ободрение почудилось, – эта эсэмэска, неведомо от кого. Очередной сеанс связи – с кем? С покойником?

(трудно ему... или далеко очень)

Не обязательно быть покойником, чтобы отправить анонимное сообщение. Из ванной, чтобы потише, я позвонил одному подполковнику из ГУВД; у нас с ним дела. Он обещал проверить.

Едва успели договорить, Надежда надумала купаться. Плескалась в ледяной воде с полчаса, я опять ждал под дверью. До ночи еще раз пять купалась, донимал ее жар. Ни о чем почти не говорили. Так и прожили седьмой день.

И восьмой.

И девятый.

Странно – в эти дни Надежда внешне уже не менялась. За неделю она заметно похудела. Я знал, что под кроватью она держит напольные весы, и хотя результаты взвешиваний были темой деликатной, я-то видел, как ее убывает с каждым днем. Но теперь этот процесс стал менее заметен, будто жажда выпарила в ее теле все клеточки до сухого остатка, из которого нечего уже не выжмешь, не высосешь. Но я понимал, что процесс все равно идет. И непонятно было, как она еще в состоянии двигаться, вставать с постели, добираться до ванной – по-прежнему сама, хоть и под моим присмотром.

На девятый день Надежда попыталась вынести свою плевательницу, с водой и лимонными корками, но я услышал бряк, отобрал: береги силы, говорю.

– Не мои они, моих уж не осталось... не мне и беречь.

У меня самого было ощущение, что если не сама Надежда, то тело ее смирилось и живет не по своей воле, по каким-то чужим правилам, черпая силы не в себе, а откуда-то еще. Вот только источник уж больно ненадежный, едва-едва капает... а если иссякнет?

Смотрю на нее: лицо серое, истонченное. И какое-то выражение на нем, не поймешь – то ли новое, то ли раньше было, да я не замечал, – а теперь все минутное, суетное слетело разом как пыль,

и проступает глубинное, будто твердая порода в выветренной скале, – такое, чего, может, и она в себе не знала. Какая-то непонятная красота – чужая, незнакомая. И я не знаю, радоваться мне или тосковать, потому что не знаю, что это значит и что дальше будет. Только чувствую: замерла она на самом краю, на черте, за которую шагнет – и я не уже дотянусь, не достану...

Да что там – уже уходит, с каждой минутой дальше.

А я – отпускаю...

Потому что поздно. Потому что нутром чую: даже верни я ее сейчас, с полпути, – прежней она уже не станет. Но твержу себе, что я настороже, что все под контролем и если потребуется, тут же вмешаюсь – хоть силком напою, лишь бы жива была.

Вот еще подполковник мой позвонит, может, что прояснится...

Он позвонил на десятый день, из кафе напротив.

Надежда как будто спала, так что врать не пришлось. Очень не хотелось ее оставлять, но приглашать подполковника в квартиру было совсем неуместно, да и разговор-то минутный. Куртку накинул и дверь за собой запер на два оборота.

Подполковник сидел за столиком в углу, отодвинув тарелку с недоеденным лангетом, и скучал за минералкой.

– Водички хочешь? От изжоги хорошо... – Я отказался. Он достал блокнотик. – Так, что у нас тут по этому твоему... ага. Пятьдесят восемь лет, сухощав, но сложения крепкого, и на вид больше пятидесяти не дашь. Моложавый такой жмур. – Отхлебнул минералки. – Волосы светлые, лицо овальное... ну, это ладно...

– Погоди, волосы светлые – значит, блондин? Или седой совсем?

– Был бы седой, так бы и записали. Светлые – значит светлые. Может, крашенные, конечно, кто будет разглядывать. Но не думаю, по одежке – не тех недостатков мужик, чтобы на краску для волос тратиться. В квартирке у него шаром покати, в холодильнике – одни кастрюли со льдом да какая-то трава в морозилке. Компьютер старый, правда, был. А так даже мыла в ванной нет – не мылся, что ли... Что еще? Не работал, не сидел, не привлекался... А тебе-то этот тип зачем? – вдруг спросил он.

– Да любопытно. С лоджии глянул – труп на перекрестке, вот и...

– Впечатлился, значит? Ясно... Вообще-то присматривали за ним. Мутный мужик.

– В смысле? Кто присматривал?

– Не мы. – Подполковник царапнул взглядом.

– И чего он мутил?

– А типа еды ему не надо. Воздухом питался или светом, что ли. – Захлопнул блокнот. – Да, видно, не хватило ему свету – машину и не заметил.

– Водителя нашли?

– Не установлен. Мало ли придурков гоняет, всех не перело-
вишь. Начальство считает, есть поважней приоритеты.

– Номер машины есть? Приметы водителя?

– Нет, – отвечает подпол, и я понимаю, что он врет. – Ничего толком нет. И вообще, говорю же, не наше это дело. Это уж я так, по своим источникам...

– Как не ваше? А чье же еще?

– Ты что, не врубаешься? – он усмехается, но вижу, и напрягаться начинает. – Сам-то раскин: человек говорит, что не ест. Правда, не правда – хрен его знает. Минздрав ему не верит, он – Минздраву, обследоваться не дается – только, мол, у независимых экспертов, и непременно с иностранцами. А кому это надо – за границу сместить? Да это бы еще ладно... Вот ты сам подумай. – Подполковник наклонился через столик и заговорщицки понизил голос. – А вдруг не врет? Это что же за гражданин такой, которому даже еды не надо? А расплодятся такие нееды – это же вся экономика рухнет. Да что экономика, они и государство пошлют подальше, зачем им государство – ушел в лес и живи себе без всякого начальства. Им, видишь, только свет подавай! И что государству делать – на свет монополию не введешь. Ни работать, ни служить народу незачем будет. И кем тогда управлять? Какая власть допустит? А этот твой – ладно сам не ест, черт бы с ним, так он другим пример подает, да не просто пример – пропаганду развел в Интернете, наставляет, инициации какие-то устраивает. И что с ним делать? В психушку упечь – не те времена, сажать – тоже боязно, сразу в мученики попадет. Да хоть Порфирия Иванова вспомнить – как с ним органы намучились... А тут вдруг – машина, раз – и нет проблемы.

Подполковник отстранился и подмигнул:

– Да шутка, шутка. Просто переходил, понимаешь, в неполюженном месте – ну и...

– Там же переход, светофор...

– Ну, значит, не на тот свет шагнул. Или на тот, выходит... Точ-
но минералки не хочешь? А то в животе уже булькает.

– Родня есть? Его похоронили?

– Невостребован. Обычно таких неделю в морге держат, но этого – вне очереди. Сегодня вроде... уже и закопали, наверное.

– Поскорей, значит, пока не востребовали... – Ну да, концы в землю, и ни лишнего шума, ни следа, кроме столбика с номером где-нибудь в особом секторе кладбища, а через пару лет и номерка не останется.

Опер нейтрально вздохнул.

– Как хоть звали-то? – Я вдруг сообразил, что ни имени, ни фамилии он не называет.

– Вот не записал, – огорчился он, – спешил, видно, извини...

– А фотографии нет? Мне взглянуть только.

– И фотки нет. И просить мне не с руки. Ты же понимаешь, не мое это дело. И не твое – это я тебе как старый опер говорю. И так уж по дружбе лишнего... – Он помолчал. – А что, так уж надо?

– Надо.

Подполковник постучал ногтем по бутылке с минералкой, выматривая пузырьки.

– Ладно, там напротив конторка одна, деньги раздает всем желающим, у них камера на входе. Видео долго не хранят, но, может, они фотки оставляют для архива – бывают такие схемы, с интервалом в пять-десять секунд... Поинтересуюсь. Но ты мне не звони, я сам. Все, заболтались, барабан меня ждет, психует...

– Постой, а что насчет той эсэмэски на мой телефон?

(Мобильник Надежде я сам дарил, на меня и записан, но подполу это знать ни к чему.)

– А, да... Ни номеров отправителя-получателя в базе оператора нет, ни текста, естественно.

(Что эсэмэска пустой пришла, я тоже не уточнял. Но эсэмэска-то была!)

– То есть вообще ничего? Как это возможно?

– Никак. Если по Интернету отправили, то IP сохранился бы, но и его нет. Говорю же, вообще ничего. Не было такого сообщения. Может, глюк какой.

Войдя в квартиру, из прихожей увидел, что дверь в спальню открыта. Метнулся в гостиную: Надежда сидела на полу и смотрела на свой мобильник.

– Что с тобой? – посадил ее на диван.

– Всё... – Она смотрит на меня и слов не находит. – Все хорошо. – И в глазах слезы, счастливые. – Он разрешил, понимаешь?

– Разрешил? – Я уже не спрашиваю, кто. – Значит, пить уже можно?

– Через три дня.

– Через три?.. – Не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, хоть какая-то ясность. Но еще три дня этой муки... вынесет она?

– Так он был здесь? Ты его видела? – (Входной замок был заперт на два оборота, я нарочно убедился, когда отпирал.)

– Вот как тебя сейчас. Только я лежала, в спальне... – (Дремала, догадываюсь. Значит, все же галлюцинация.) – Открыла глаза – и он передо мной.

– Ты его хорошо видела?

– Да... Нет... Зыбко все, размывается, как отражение в воде, но я как бы не в него вглядываюсь, а в то, что за ними, понимаешь? В того, кто отражается.

– И где же он?

– Где-то далеко-далеко, словно он вообще не отсюда... из другого мира. И так тяжело, трудно ему достучаться, пробиться оттуда – сюда, ко мне...

– А на полу-то как оказалась?

– Это потом уже. Мы с ним говорили, и он сказал: через три дня. Так и повторил: через три дня. И улыбается... хотя я лица не вижу – но чувствую, что улыбается. Сегодняшний и еще два. Я поверить боюсь, думаю... – Надежда носом хлопнула, – снится, может. Зажмурилась – и все равно его вижу. И тут – мой мобильник, в гостиной!.. Звонит и звонит. А он стоит передо мной, у кровати, улыбается, ждет... А я боюсь встать – тогда его задену: вдруг все же – видение? рассеется? Тогда... сама не знаю... не вынесу больше! Он понял, отодвинулся: возьми, мол, телефон, ответь. Я встала, мимо него прошла, качает меня. За порог шагнула, голова закружилась, я за косяк уцепилась – и он подхватил, придержал и мягко так опустил. Очнулась – никого. Сажу на полу с телефоном в руке, он все звонит. Включаю, слушаю: *четверг, шесть утра... всё...*

– Значит, конец твоим мучениям! – И вдруг понимаю: «всё» – это о другом, о другом... И понимаю, о чем. Но стараюсь понатуральнее, увести от темы: – Ну слава богу! А ты голос хорошо расслышала – мужской, женский?

Она на меня смотрит, силится вспомнить.

– Издалека очень, будто сквозь гул... или из-под земли. А может, и не голос – будто подумал кто-то... не знаю уже! *Четверг,*

шесть утра... всё... И все дальше, тише... Но слова точно эти – иначе откуда они взялись!.. Я вот теперь думаю: что значит – *всё*?

– То и значит: три дня – и конец твоей жажде. Что ж еще? – Вижу, она опять напряглась, стараюсь отвлечь. – Пора думать, как из сушняка выходить будешь. Сок – апельсиновый или грейпфрутовый лучше?

Она качнула головой.

– Что значит – *всё*? Он умер, да?

– Да почему? С чего взяла? И как он может, если он...

– ...галлюцинация?

– Не в этом дело...

– А в чем?

Она смотрит, я стараюсь не моргать. А в голове все смешалось. Что ни ответь – все неправильно. Если он галлюцинация, значит, пить ей по-прежнему нельзя. И она не будет... пока не умрет? Силком поить, как ненормальную? Сорвать ее с *пути*, убить мечту? И что между нами останется?

А если скажу, что человек, – значит, сам приму всю эту мистику: видения, общение с покойником, звонки из загробного мира... Сам поверю, увязну в этой каше.

А еще не поверил?

Не знаю. Но она смотрит, и я знаю, что лгать не могу. Не только ей. Себе.

– Не знаю, – сказал я. – Но был один человек.

– Был, – она кивнула. – Значит...

– Его машина сбила, три дня назад. Насмерть.

– Кто он?

Я рассказал.

– Значит, я с покойником общалась, – Надежда вроде и не удивляется, просто думает вслух. – Но в первый раз он на четвертый день появился, когда еще живой был. Так он был здесь или нет?

– Не знаю. Дверь заперта была. Если только ты ему открыла. Или он сквозь стены проходил...

– И на седьмой день – он тоже ко мне шел, я же знала, чувствовала... И оборвалось. Не дошел. Но потом, вечером уже, я услышала, помнишь? – *не бойся, не кончилось, жди...* Словно с огромным трудом, из последних сил пробился откуда-то...

– *Откуда?*

– Постой, постой...

Ладно, молчу. А Надежда ровно, без эмоций, мысли по местам расставляет, как посуду на кухне.

– Пробился, чтобы меня поддержать, укрепить на пути. То есть тяжко, трудно – но как-то мог еще достучаться, проявиться. А сегодня разрешение дал и – всё. Почему всё? Что сегодня случилось?

– Сегодня его похоронили. Может, у него теперь и связи нет... оттуда?

– Не может не быть. Все в мире связано. – Она подумала. – Или в мирах... и миры между собой.

– Откуда ты знаешь?

Она пожала плечами.

– А как иначе? Если мы о них думаем – разве это уже не связь?

– Но думать и знать – не одно и то же. Может, их и нет совсем? Может, и его больше нет?

– Есть. Просто далеко он теперь. Может, и пытается сказать – да я не слышу. Не готова еще. Понятно тогда, почему раньше – все так тихо, зыбко... Тогда я тоже была не готова – но он еще не так далеко был. А теперь... Но я услышу, если ближе подойду. Просто идти надо. Дальше идти.

– Да куда, господи? За ним, что ли?

– По пути, по своему. Каждый – по своему.

А я? – думаю. Мне – куда идти? Здесь оставаться. Где – *здесь*?

– Три дня – долго еще... – это я вслух говорю.

– Ничего... – и улыбается, она – мне, сквозь слабость, сквозь свой сипящий шепот, да так хорошо, по-девчоночьи. Я уже и забыл, как она улыбается. – Дойдем. Почти дошли уже.

Эти дни она как огарок дотлевала. Я только молился, чтоб фитилька хватило. На кровати повернется – и пульс за сто сорок, и дышать больно. В ванну ее на руках относил. Она кожей пила, а лицо вверх, чтоб, не дай бог, не брызнуло, капельку не проглотить – да все равно не смогла бы: губа сомкнута, будто спеклись намертво. Да и в горле все спеклось – говорить она перестала, только дышала. Но от ледяной воды ей полегче становилось. И в спальне рамы открытыми держали, хотя декабрьские морозцы начались, в комнате колотун, но ей все жарко.

При этом тихая, умиротворенная была. Словно все решилось наконец – кто-то за нее решил, и она вверилась без оглядки. Только я-то так и не знал, кому он вверилась – галлюцинации или... не знаю. Не мог решить.

Даже мысль шальная была – найти это чертово кладбище. А дальше что – кости выкопать? И что мне с ними делать – у них не спросишь. Да и номера могилы я все равно не знаю.

Подполковник мне фотку на телефон сбросил, позвонил с незнакомого номера:

– Увеличили как могли, но все равно не очень. Больше ничем не могу, извини...

Снимок с камеры слежения был нечеткий, далеко все же. Вокруг левого глаза сплошное пятно от щеки до волос, лицо скорее угадывается – простецкое, скуластое, как бы застывшее от какой-то внезапной мысли. Волосы – да, светлые, это хорошо видно на фоне черных ботинок и брюк врача, срезанных сверху белой халата.

Фотку я в компьютер перегал, попробовал было поконтрастить и бросил. Не спец я в этом, да и зачем? Что толку от снимка, если сравнить его не с чем – мне-то призрак не являлся.

Прав старый опер, не мое это дело. Нечего кости мертвых ворошить, когда с живыми проблем выше крыши. Двенадцатый день уже, к ночи; дожить бы до завтра, до Надеждиного питья.

Все заснуть не мог, прислушивался, как там, за стенкой? Тишина.

Проснулся от тоски детской, беспомощной. И не вспомнить никак, что привиделось, только болит душа от невозвратной потери, будто там, во сне, отняли у меня что-то самое дорогое, вырвали из рук, а самого вышвырнули назад, в явь, и уже не вернуться, не вернуть отнятое. Лежу в потемках, сердце щемит... и звук какой-то – стон? всхлип?

Я вскочил, к Надежде в спальню – пусто, и дверь открыта. Упало что-то... на кухне? Да там же свет горит – я-то думал, сам забыл выключить...

Надежда скорчилась на коленях возле опрокинутой табуретки и вздрагивала от позывов сухой рвоты. На полу лужа воды, в ней опрокинутый стакан. Видно, уронила, потянулась за ним и сама оказалась на полу.

Я усадил ее на табуретку. Подол ее ночнушки намок и лип коленям.

– Что?.. Что сделать? В спальню, ляжешь?

Надежда мотнула головой, навалившись на стол. Там стояла бутылка мягкой воды с отвинченной крышкой. Она смотрела на эту

бутылку и все еще вздрагивала от горловых спазмов. Но продолжала смотреть. Глаза были красные, воспаленные, она выглядела оглушенной.

– Налить? – Я не знал, что делать.

Она кивнула.

Я налил из бутылки в чистый стакан. Надежда попыталась отпить и подавилась, плеснула на стол.

Она не может пить, подумал я. В горле спеклось настолько, что оно не пропускает воду. Оно забыло, как глотать. Надо как-то смочить, чтобы оно заработало...

В кухонном шкафчике я нашел соломинки для коктейлей.

– По капельке, не глотай, рассасывай... – Прислонил ее спиной к стене и держал перед ней стакан; у нее тряслись руки.

Вода сочилась из ее рта, но что все-таки оставалось, впитывалось в глотку, пищевод... я очень на это надеялся. Так продолжалось минут пять. Спазмы как будто утикли. Но она вдруг устала, эта мелкая работа губ забрала у нее остатки сил. Голова упала на грудь, и я подумал, что если она свалится в обморок, то я точно не смогу ее напоить.

Я подхватил ее под мышки и опустил с табурета на пол.

– Встань на колени. – Поставил ее на четвереньки. – На локти обопрись.

Она подчинилась с остановившимся взглядом; она казалась невменяемой.

Я приподнял ей подбородок и вставил соломинку в рот. Я надеялся, что в этой позе с вытянутой шеей ей удастся проглотить, ссохшиеся ткани слизистой сдвинутся, разомкнутся и пропустят воду. Я не врач, не физиолог, другого придумать не мог.

Она попыталась всосать через соломинку, но как-то вяло, словно ей не хотелось. Вода закапала на пол, и она стала валиться набок. Я подумал, сейчас она потеряет сознание, или хуже.

Я взял ее за волосы и влил воду в рот прямо из стакана. Она захлебнулась, закашлялась, и я перегнул ее через колено головой вниз, чтобы вода вышла из трахеи. Потом снова подsunул стакан. Она стиснула зубы, и вода пролилась, но все же она сделала глоток. Я понял это по тому, как она замерла, вслушиваясь в себя. Я опустил ее, чтобы наполнить стакан.

– Желе... – выдавила она, не поднимая головы, и опять закашлялась.

– Что?

– Вода – как желе...

На четвереньках, по глотку, с большими перерывами, она высала через соломинку полстакана воды. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем рискнула отпить прямо из стакана.

– Ну как? – спросил я.

– Как кисель... божественный кисель!.. – Ее воспаленные глаза повлажнели, но влаги на слезы не хватало.

Только к концу второго стакана вода перестала казаться ей густой. Его она пила уже сидя за столом, потом я отвел ее в спальню. Временами она задремывала, но тут же просыпалась, боялась пропустить очередное питье. Потом ее вырвало, я едва успел подставить салатницу с лимонной водой, там остались какие-то сгустки с примесью крови. Началась резь в животе, ломило в пояснице, ее трясло от озноба. Я закрыл окно и потащил ее в ванну отогреться, потом контрастный душ... Вроде помогло, она заснула и проспала полсутки.

А проснулась – в другой жизни...

Илия замолчал. Ныли комары, в сомкнувшейся ночной немоте их нытье казалось единственным звуком на планете. На миг Рыжим овладело чувство, будто это не самостоятельный звук, а лишь слабый отголосок тайного вселенского гула, скрытой мощью своей пробивающего завесы между мирами, будящего смутное томление и тоску в каждом атоме, в каждой клетке живого вещества.

– В смысле – другим человеком? – прервал он тишину.

– Нет. Человеком – тем самым, каким ей положено быть... по пути ее положено. Просто – в другой жизни. Не моей.

Но это я теперь понимаю, а тогда не заметил. Не хотел замечать, долго не хотел...

Елена КРЮКОВА

БЕЛЛОНА

Фрагменты из романа

*Всем детям, пережившим войну.
Их глаза глядят на меня*

(нью-йорк февраль вдова)

Там и сям каменные дома, домищи, домишки. То железом крытые, то черепицей, то залитые серой мглой бетона, и птицы, мимо летящие, свободно и весело испражняются на крыши покатые и островерхние, плоские и бугристые. Птичий помет засыхает и становится цвета неба, невидимый глазу.

В ранний час эти худые, обтянутые черными чулками ноги в высоких шнурованных ботинках выходят на крыльцо большого серого каменного мешка; мелко, скромно и опасливо перебирая, спускаются по ступеням. Эти руки, облепленные черными ажурными перчатками, – в ажурные дыры видна кожа мертвенного цвета белых бабочек или их личинок, – хватаются сначала за дверную медную ручку, потом за перила, потом за воздух; руки слепые, а ноги зрячие, пусть лучше ноги видят и идут.

Ноги идут. Ноги идут. Ступни поют – они хорошо отдохнули за ночь. Туловищу кажется, что ноги идут бодро и быстро; это ошибка. Ноги дрожат и чуть подламываются на несоразмерно высоких каблуках. Каблуки непрочно держатся, гвозди расшатались, клей разохся, вот-вот отлетят, и тогда ноги захромают и испуганно остановятся. Но пока идут, идут.

Пальцы ощупывают острые локти. Теплое старомодное пальто защищает локти, запястья, плечи от пронизывающего океанского ветра. Запах сырой пустоты. Он обнимает ноздри и вползает в них, и забивает их, и вливается в легкие, и нельзя дышать, а можно только растарашить глаза и раздвинуть губы в жалкой улыбке.

Улыбка не жалкая, нет: торжествующая. Та, кому она принадлежит, жива. Еще жива. Жизнь, разве это не торжество? Жизнь сложена в старую картонную коробку с размахренными, обгрызенными мышами, ветхими краями: тут все самое дорогое, милое и любимое – карандаши красные и синие, желтые и зеленые, розовые промокашки из школьных тетрадей в клеточку, вырезанная из киножурнала чудненькая кудрявая головка популярной актрисы с улыбкой, где лишь яркий вишневый жир помады, слоновый лак ровных, как на подбор, зубов, и крохотная родинка, почти черненькая мушка, над чуть вздернутой верхней губой; высохшие жуки-навозники с жестоко воткнутыми в спинку иглами – чтобы умерли скорей и засохли быстрее и стали красивой ребячьей, для хвастовства перед подругами, летней коллекцией; ломкие стрекозы, призрачные бабочки – крылья прозрачны, вся пыльца осыпалась давно, и лишь слюда несбыточного сна посверкивает между золотистых, еще не истлевших узорчатых нитей; а вот перламутровые пуговицы в виде цветков ромашки, вот старинная сломанная брошь в виде лягушки, вот японский веер – развернешь, а он порван, а им обмахивались в театре, в темной ложе, и алебастровая рука – на красном бархате, и маленький бинокль обтянут черной свиной кожей; а тут аккуратно сложенные в стопочку билеты – на новый фильм и на новый спектакль, а тут программки концерта заезжего знаменитого музыканта и буклет вернисажа знаменитого художника; а на самом дне коробки – вязальные спицы, костяные крючки, разбитое зеркальце офтальмоскопа, разбросанные линзы, две толстых лупы без оправы, рассыпанные таблетки – кто пил лекарство, когда, какую боль утишал? – и, Боже, почему здесь ее рисунок лежит. На самом дне. Почему здесь. Для ее рисунков существует отдельная папка. Почему здесь?!

Легкий, еле намеченный мягким грифелем профиль. Чуть вздернутый нос. Чуть раскосые глаза. Сетка морщин. Морщинистая вуаль ниспадает на лоб, закрывает брови и веки, сползает на щеки; за серой прозрачной сеткой не видно былой красоты восточного дерзкого лица. Ноги идут, а лицо летит. Оно летит отдельно от торса, от груди, от тщательно, на людях, на вечной публике, подобранного, поджатого живота, от сутулой спины, от кочергами торчащих коленей – при ходьбе колени болят, а когда ноги поднимаются по эскалатору или влезают по ступенькам автобуса, рот не сдерживает стон. Подбородок дрожит. Углы губ поднимаются вверх совсем чуть-чуть. Рисуи меня. Рисуи с меня Мону Лизу Джоконду, доченька. Я буду сидеть тихо, не шевельнусь.

Глаза лениво, скорбно скользят по стеклам, по витринам. Уши ловят чужую речь. Уши слышат этот язык уже много лет; дома, в пустых одиноких стенах, рот может все снова бормотать по-русски – но улица говорит по-своему, и с этим надо мириться. Ноги идут мимо роскошных витрин, и голова оборачивается. Под обтянутой белой неживой кожей картонной коробкой черепа – холодный мозг; он еще помнит, он еще мыслит. Под стальными ребрами – комок сердца; а может, это та выброшенная давно, кухонная влажная старая тряпка, и она снова и снова, после похорон Ники, вытирает столы – доски и клеенки, стряхивает крошки с бумажной скатерти: здесь стояли щи и кутья, здесь – мясо с гречневой кашей, а здесь бутылки ледяной ртутной водки, а вот здесь, да, здесь, – салат оливье в огромной деревенской, коровьей, поросычьей миске. Рука протирает грязные столы, глаза струили теплые отчаянные слезы, а глотке хотелось завизжать как поросенок. Но смолчала глотка, вобрала душный, пропитанный свечным нагаром воздух.

Глаза оценивающе глядели на отраженье в витрине. Еще длинная; еще стройная. Не длинная, а оглобля. Не стройная, а тощая. Тощая старая оглобля, давай двигай дальше. Хватит на себя пялиться в чужую богатую витрину.

Нос вобрал, жадно всосал сладкий, зефирный и вареньин дух ближней кондитерской. Глаза бесстрастно наблюдали: из кафе выносят стулья и столы на улицу, аккуратно расставляют под пестрыми зонтами, зима не зима, а работать надо. Океанский ветер – что за экзотика! Серые дома жмут душу клещами. Белочки в Централ-парке щекочат тебе губами и коготочками ладонь, крошки собирая. Звон чашек, звон рюмок. В столь ранний час, когда все спешат на работу, все же найдутся среди угрюмой деловой толпы двое-трое бездельников, что не прочь пропустить по чашечке эспрессо, а то и по рюмочке виски.

Сердце, старая грязная тряпка, когда-то любило это кафе.

Когда еще живо было и билось рядом другое сердце.

Одна рука чуть приспустила на ладонь перчатку на другой. Старинные наручные часы, о, какая прелесть. Золотые. Или золоченные? Какая разница. Семь часов пятнадцать минут. Какая рань! На зарядку, на зарядку, на-зарядку-на-зарядку-становись! Бред какой. Радиопередача из другой жизни. Из другого полушария. Из правого или из левого? А пес его знает.

На балконе взлаяла собака. У них тоже когда-то был пес. В святой картонной коробке лежит его мощный кожаный ошейник

с медной бляхой, на ней гравировка: «ЛЕО». Пса назвали Лео, это значит Лев. Сильный как лев; добрый как лев. Погиб глупо и страшно – мальчишки дрались в подъезде, за кулаками пошла поножовщина, пес выскочил в открытую дверь, зарычал, ринулся, напоролся на нож – ощерившийся человеческий волк всадил ему стальной клык в живот, под ребра и сразу проткнул сердце.

Алая лужа на лестничной площадке, и высыпали соседи, и ахают, и сочувствуют; а кто-то уже вызвал полицию, а мальчишек и след простыл, и ножа нет. Утащили. И потом выбросили в Гудзон.

Еще одно сердце перестало биться.

Сердце, маленький, теплый, горячий, красный, соленый комок. Сжимается-разжимается. А у разных народов сердца разные; у эскимосов – остроугольные ледяные; у индусов – широкие, как серебряный поднос, и сладкие яства на нем, ешь не хочу; у негров – черные, и клюют собственную кровь черными вороньими клювами; у бразильянцев – часто-часто стучат, четко-четко, так громко, что из грудной клетки за версту слышно; у норвежцев гладкие и золотые, у французов невесомые, с крылышками махаоньими; у китайцев – узкие как селедки, хитро проскочат через пороги в горном ручье, храбро поднимутся на гору, где дышать нельзя крылатым слабым легким, и лишь сердце одно будет дышать; у русских – а правда, какие сердца у русских?

А у тувинцев? А у монголов?

Лицо отвернулось от прозрачной бездонной витрины, полной глиняных посеребренных безголовых фигур и блестящей мишуры. Лицо повернулось. Лицо медленно, медленно, медленней далекого самолета в чистом небе, поднялось. Лицо гляделось в небо, а небо гляделось в лицо. Когда смотришь вверх, исчезают морщины. Исчезает старость.

Лицо имеет форму сердца.

Что ты врешь сама себе. Что ты врешь. Ты вышла за хлебом? Так вот и иди. Булочная уже рядом. Близко.

Ноги в черных чулках и в черных, туго зашнурованных ботинках медленно подошли к открытой стеклянной двери булочной. Из двери терпко, перечно и чесночно пахло горячей пищей. Рот наполнился слюной и сглотнул. Глаза, любопытствуя, скосились: под прозрачными, как гренландский синий лед, стеклами прилавков лежали красавицы из сдобного теста, красавцы из яблочного мусса, меда и орехов. Они когда-то тоже были живыми. Были. А потом люди их убили, испекли в печке и теперь съедят. Теперь. Сейчас.

Руки взметнулись, пальцы растопырились, указательный ткнул в особенно красивую пышнотелую даму из посыпанного сахарной пудрой теста. У дамы темно мерцали глаза-изюмины, а щеки были густо политы клубничным сиропом.

Потом палец указал на пухлый живой батон. Батон валялся на спине, показывая беззащитный живот. Его могли расстрелять. Зарезать. Расчленив на куски.

– Please, – нежно, просяще сказал рот.

Кондитер засунул кредитную карту в кассовый аппарат. Внутри машины четко и сухо щелкнуло и прогудело.

– Thank you very much, – выдохнула грудь теплый благодарственный воздух, подбородок вздернулся, а губы медленно улыбнулись. Раскосые глаза двумя веселыми мальками плыли в насквозь просвеченном утренним солнцем стеклянном аквариуме булочной. Продавец смотрел в таинственные косые глаза на желтом, плоском и неподвижном лице и думал: «Понаехали тут, и так в Нью-Йорке воздуха не хватает, а тут еще эти азиаты. И ведь в хорошем районе пристроилась. Жила бы себе в своем Чайна-тауне, никто слова бы не сказал».

Руки положили батон и торт в старую черную русскую сумку. Худые ноги пошагали прочь, носок ботинка зацепился за мраморный порожек.

– Эй! Осторожней! У нас тут ступенька! – крикнули ей на чужом языке.

Плоское лицо обернулось. Морщинистая вуаль чуть дрогнула, брезгливо и опасливо. И худые пальцы, живые богомолы в черных сетках, ее не приподняли бережно, кокетливо и осторожно с желтых старых скуластых щек.

– Excuse me... thanks...

Ноги вынесли угластое долгое тело на улицу. Ветер с океана крепчал. Он крепко ударил ее в грудь двумя сырыми кулаками. Руки прижали к животу сумку с хлебом. Нос чуял доносящийся из сумки сладкий, ванильный, медовый запах. Мед, зерно, мука, семена, ягоды, сахар, соль. Корица, кориандр, гвоздичный корень, цедра. Февраль, и ветер страшный и сырой, и надо бы сварить глинтвейн, и глотка согреется, и сердце успокоится.

И разложить пасьянс. Да. Из старых рисунков.

Из всех дочкиных бедных, голых, еще не убитых, еще живых, еще не сожженных и не расстрелянных рисунков.

Пальцы в черной ажурной перчатке прижались ко рту. Только не плакать, ведь слезы вытекут и умрут, и ты сама забудешь их;

зачем же их длить, лелеять? Твои кочевые предки умели не только останавливать слезы, но и останавливать сердце. Они умели умирать. Приказывали себе: уйди! – и уходили. В тот мир, где, как они верили, перерождается все, где на плоской доске занебесных степей великий Тенгри месит новое сладкое тесто – для пожарищ и бурь, для смертей и сражений.

Ноги снова шли по улице, но не обратно – почему-то ноги тащили старое, уже с утра мгновенно уставшее тело дальше, все дальше, мимо каменных белемнитов, в город, в его холодное, медленно разогревающееся, распалющееся будущим дневным безумием нутро. Грохот поднимался из глубины, вливался в уши, и уши наострялись, настораживались по-волчьи; если правду говорили ее предки о перерождении, после смерти ее сердце хотело бы стать сердцем матери-волчицы. И чтобы у нее было много, много, много щенков – целый звездный небосвод; а не одна черная жалкая сучечка, доченька, вон улыбается, язык высунула, мордочку высовывает из закута, из логова, из коляски, из обитой розовым атласом лодки гроба.

Ноги несли ее мимо фешенебельных отелей; мимо шикарных магазинов и играющих хрустальными гранями небоскребов; мимо голых деревьев в парках – а вон и старинная повозка, и кучер на козлах, среди гладких стальных дельфинов и металлических крокодилов; мимо престижных офисов и роскошных галерей, мимо строгих памятников и почтовых агентств, и подолгу ноги, остановившись, застывали, стыли на соленом ветру около переходов – мигали цветные лампы, рвались вперед люди, и ноги бежали вслед за людьми, бежали, бежали, пытаясь успеть, хотя мозг под вытертой картонкой черепа знал: уже не догнать.

И все-таки, задыхаясь, рот ловил воздух другого каменного берега: я здесь! – и мысль опахивала лицо старомодным веером: доченька, что тебе сегодня сделать на обед, давай на выбор, что ты любишь больше, скажи, признайся, ты ведь так любишь тувинскую лапшу, тырткан и хуужур? Что тебе состряпать, родная моя, солнышко мое, золотая птичка моя? Может быть, я сегодня сделаю тебе чореме? Или вкусный, ум отъешь, боорзак? Он будет таять у тебя во рту. И глазки твои заблестят. Как тогда, когда мы ездили на море, в Алушту, и там жили в палатке. А потом отец купил тебе путевку в Артек. Девочка моя, ты видишь, какая я стала старая? Глаза мои стали плохо видеть, и складка эпикантуса нависает над роговицей тяжело и неподъемно. Чем тебя угощают там, в небесах,

в застолье у великого хана Тенгри? Чем потчуют тебя, худенькая моя, мышка моя, любовь моя?

Ноги в туго зашнурованных ботинках сами себя ставили, сами себя выворачивали наружу, кичились собой: глядите, прохожие, какая у меня походка, какая стать; хоть сейчас на сцену, да ведь это ноги балерины, да и фигура балерины, да и улыбка балерины – загадочная и легкая, призрачней крыльев стрекозы, не потускневшая с годами; я иду, я бывшая балерина, в балете рано, слишком рано уходят на пенсию, я вышла на мою пенсию в тридцать шесть, и ты, доченька, малютка моя, еще успела весело похлопать мне в ладоши на моих спектаклях, а отец твой, прошедший войну из конца в конец, был старше меня на двадцать лет, а будто бы на два дня, так я считала. Так считало сердце мое.

Ты сидела и ворочалась у меня под сердцем, и я несла, я носила тебя, едва дыша, боялась грубо потревожить тебя, разбудить; ты спала, обмотанная до горла красными травками, мохнатым алым мхом, райскими розовыми водорослями, и тебе тепло было, и я мечтала: лучше бы ты никогда не рождалась, а так и жила в утробе моей, ведь как тебе было там славно, – но отец твой, грубиян и танкист, крутил пальцем у виска: «Полоумная! Что брешешь! Парень, давай вылезай!» – это он, значит, думал, что мальчик родится, мальчика желал. А я вот сплеховала, не то тесто замесила. Девочка, страдалница! Мальчикам легче.

Я держала тебя на руках, красный орущий комок, покрывала поцелуями, и слезы мои вместо молока вливались тебе в рот.

Кызылский оперный театр, и она – первая, она – прима, Ажыкмаа Хертек. Ей завидуют, подкладывают в букеты, что поклонники важно несут в артистическую, нюхательный табак, живых жаб и ужей. Жаб она бесстрашно брала в руки, разглядывала их пятнистые узорчатые спинки, наглые губастые морды, потом швыряла в корзину для бумаг, и дирижер, покуривая, держа охристо-желтую, прокуренную руку с окурком на отлете, восклицал восторженно: «Наша храбрая Ажыкмаа!»

Танкист недолго думал. Схватил ее в охапку после спектакля. Кого она там танцевала – простодушную ли Золушку, лунную ли Сильфиду, умопомраченную ли Жизель – ему неважно было, он глядел не спектакль, он жадно и жарко таращился на голые ноги и цветочные шеи. За кулисами он отодвинул могучими, пахнущими черемшой и соляжкой лапищами всю надоедливую зрительскую

мошкарю, таежную мошку, и взял Ажыкмаа огненными пальцами за нагие плечи.

Два взгляда удивились. Два взгляда поплыли мимо друг друга, две черные смоленые лодки. Брови обрадовались и полетели. Ажыкмаа, смеясь, отодрала липкие пальцы рослого человека в гимнастерке от потной скользкой кожи, вытерла ладонью мокрый лоб. Голос веселый, смех чистый. Вы военный? Нет, ушел в запас. А что делаете? Да всего понемногу. А точнее? По горам лазаю. Драгоценности ищу. Не рассказывайте сказки! Это не сказки, уважаемая, это был. Алмазы, лазуриты, уголь, вольфрам, нефть иногда, бывает, находим, сами того не желая. И снова зычный, все сотрясающий, как у древнего индрик-зверя, басовитый хохот-камнепад.

Женитьба. Свадьба. Пирог, пуца, вечный любимый далган. Мать лила слезы ручьями, заплетая ее смоляные косы. Подруги садились к ее ногам и шептали, пальцами тыкали ее в плотные железные балетные икры: эй, расскажешь потом, как это, ну, ночью? Муж русский, жена тувинка, все честь по чести, дружба народов. А у них правда есть роспись в паспорте? А кто видал? Вам еще положить вкусные манчи на тарелочку, милый гость?

Ребенка они зачали в первую же ночь. Ажыкмаа билась и плакала под тяжелым, раздавливающим все ее полые, легкие, как степные дудочки, танцевальными костями телом мужа. Никодим работал неумоимо на пахоте любви. Тебе нравятся такие вот тощенькие, невесомые? Ты такой мощный, тебе надо не меня, а корову! Не плачь, дурочка, спасибо тебе, что меня дождалась. Я любился с толпой баб, и все они были – бабы, ты одна у меня – девочка. Ажыкмаа моя. Лучик солнечный.

А ты правда был на войне?

Он лег на спину. В окно светила широколицая синяя Луна. За стеклами трещал мороз, по карнизу расхаживал голубь, стуча ксилофонными лапками по звонкой жести. Скомканная в кулаке простыня полетела на пол. Никодим взял ее руку и повел по груди, по ребрам, по животу. Ажыкмаа вздрагивала, натываясь зрячими пальцами на ужас распоротой и зашитой плоти – вспухлости, рваные рубцы, заросшие грубым вторичным натяжением острова дальней лютой боли.

Пока ладонью по его телу водила – многое увидела внутри себя.

Но мужу не сказала: а вдруг посмеется?

Увидела девочку, и она сидела в коляске и тянула к ней ручки, и, чтобы отвязаться от младенчика и чуть, немного, поболтать с

соседками о житье-бытье, мать сунула ей в крохотные лапки карандаш и бумагу: пусть хоть бумажку острым грифелем порвет, развлечется! – и затренькали женские языки, и перемыли косточки всем – начиная от власти и заканчивая дворничихой Даримой, матерщинницей и курильщицей, и, когда Ажыкмаа склонилась к коляске и вынула изрисованную бумагу из рук малышки и поднесла к глазам, она вмиг потеряла дыхание – и не сразу нашла его.

Шел танк. Под гусеницами умирали люди.

Мальчишка стоял перед танком, выбросив вверх тощие руки. Ветер трепал его рубаху и штаны.

В бок танка впечатался черный крест.

Все взрослое, настоящее.

И лишь солнце над танком и пареньком испускало лучи, выпускало их на волю, вон из шара – корявые, смешные, неловкие, детские.

– Гляньте, что Ника-то нарисовала!

– Карапузица... вот дает...

– Да нет, девушки, нет, это не она! Это ты, Ажыкмаа, ей чей-то рисунок дала! Листок из альбома по рисованию – выдрала! И не стыдно тебе! Признавайся, чей?

Балерина стояла, не шевелясь, и голову солнце палило, и тело стало невесомым, и жизнь ничего не весила – она плыла в пространстве, плыла над землей, парила, и руки взлетали, и она была женщина-птица, и знала: вот так, летящей в небесах птицей, дочка когда-то и ее нарисует.

Женская невесомая рука медленно провела по потной волосатой мужской груди, по пылающим пластинам мышц, до ребер, до пупка, ощупывая мертвых червей старых шрамов, и упала, и застыла на простыне.

Чореме, чореме. Голода давно нет. Сытости нет. А вокруг Нью-Йорк, и стеклянные глаза в каменных глазницах таращатся на нее, на старуху Ажыкмаа Хертек, отгулявшую танцовщицу. Она так и осталась Хертек; не взяла фамилию мужа, ведь уже знаменитой была. Не любила красную звезду; не приняла модное тайное христианство; когда Нике было пять лет, дочка поднимала раскосое барсучье личико вверх, хитро улыбалась, показывая дыру меж зубов, и изумленно оповещала родню и гостей: «Папа – Ульянов, а мама – Хертек!»

Везде и всюду в небо, в заборы, в стены, в крыши, в занавеси были впечатаны золотые и алые профили бессмертного Ленина.

Ленин, как оказалось, в детстве тоже был Ульянов, как папа, и это волновало девочку: разве имя не единственно?

Их кошку звали Муська, и кошку соседа Оскю-оола тоже звали Муська. Это надо было осмыслить.

Ее малютка нежно спрашивала ее: «Мама, а я Ульянова? Или я Хертек? Кто я?»

Старая Хертек медленно шла по старому Нью-Йорку, и город пытался обнять ее и поднять над стеклом и бетоном в самой опасной поддержке, но подламывалась под ногами каменная сцена, и уже плохо, ненадежно билось в груди каменное сердце.

Балерина не считала, сколько лет уже Нью-Йорк носит ее в себе, как она раньше, в детстве, носила повсюду с собой огромного темно-вишневого жука-рогача в спичечной синей коробке. Жук давно мертв. Она мертва. Еще шевелятся лапки, дрыгают усики, но это видимость одна. Видимость жизни. Обманка природы.

Балерина Хертек прилетела в Америку после того, как умерла Ника.

Ты помнишь, родная моя, как ты умирала? Я – помню. Ты сидела и рисовала, грызла карандаш, отшатывалась от рисунка, прикусывала губу, шурила узкие смоляные глаза: получается? нет? За плечами у тебя топорщились туго заплетенные черные коски твои, с искрящимися в них красными капроновыми ленточками. Бумага шелестела, грифель шуршал. Так у меня в ушах навек это шуршание поселилось. Не выгнать ничем.

Ты крепко сжала карандаш. Я вышла из кухни, чайник в руке держала за горячую, обжигающую дужку, и я видела, как побелели твои пальцы. Я не смотрела на твое лицо – смотрела на пальцы. Почему-то только на пальцы. На пальцы одни.

И когда я подняла глаза – твоих глаз уже не было. Два выкаченных белых шара в извивах алых жил.

Ты бросила в сторону планшет с приклепленным начатым рисунком и стала заваливаться набок. Валилась медленно, так медленно, как сто раз валились карандаш и резинка из твоих сонных рук, и папа брал тебя на руки и нес в постель, и приговаривал: Ника, Ника, ты поспи-ка, Ника-Ника-земляника.

Ника! Ника! Земляни...

Чайник выпрыгнул из моей руки, гулко стукнулся об пол, покатился, кипяток стал литься на пол, вокруг ног моих столбом встал густой ватный пар, половицы заблестели, будто бы я пролила не воду,

а масло, и лишь чудом я не обварилась – кипяток обтек мои ноги, как остров, и его жадно всосали дыры и щели, ковры и половики.

Я сама вязала половики: из старых чулок, из распущенных варежек, Никиных шарфов... из священной, гнилой, милой, старой шерсти...

– Дочка!

По кипятку я побежала к тебе. Ты уже упала со стула. Голова твоя лежала на половике, а коски вымокли в кипятке. Я выхватила тебя из-под катящейся дикой воды; ты не обварила ни щечки, ни пальчики. Милые, вечно рисующие – на бумаге, на песке, в воздухе – пальцы твои.

Я прижала тебя к груди, к животу. Еле держала. Ты была уже тяжеленькая. Тебе уже исполнилось двенадцать. Папа смеялся: двенадцать – счастливое число! Двенадцать часов, двенадцать апостолов... двенадцать – месяцев... двенадцать еще чего-то...

– Доченька, что с тобой?!

Твоя головка клонилась с моего плеча – вниз, все вниз и вниз. Вымокший колонковый хвост косы кисточкой щекотал мне руку. Я целовала твою смуглую щеку с тремя кучно сидящими родинками, твою вздернутую губку, твою черную челку, твои закатившиеся косые глазенки. Зверенок мой! Ежонок мой! Тарбаганчик!

– Дима!

Мой голос бился и плыл зубастой, пойманной на блесну щукой отдельно от меня. Муж выскочил из спальни. Он вернулся из своей последней экспедиции на Вилюй. Они нашли на Вилюе алмазы. Я шутила: почему вы не выловили из Вилюя золото Колчака!

Белые глаза Никодима. Белые белки Ники. Белый твой фартучек, дочка – ты так сидела и рисовала в школьной форме, не сняла ее, так, ногу под ногу подвернув, уютно подложив под тощенький, как у меня, балетный задик, приоткрыв рот, тяжело и быстро и хрипло дыша – ты так всегда дышала, когда рисовала, – ты водила, и водила, и царапала карандашом по листу, и под ударами грифеля гнулся планшет, и откидывала ты голову назад и вбок, озирая то, что рождалось у тебя под пальцами; а рождалось то, чего ты не видела никогда раньше, не слышала, не знала, не любила, и ненавидеть не пришлось.

Белый эмалированный чайник, на боку лежащий, пустой.

Вытекли боль и ярость.

– Боже мой!

– Дима, ноль три...

Черная трубка, черный телефон, черный шнур.

Я глядела, как мой муж размахивается и швыряет черный череп телефона об стену.

– Отключили линию! С утра! Ремонт!

– К соседям беги!

– Дура, у соседей же тоже...

– На улицу! Лови машину!

Как был, в пижаме полосатой, поскакал. Я рванула балконную дверь. Снег, шел медленный и сонный снег, он чертил сонные белые полосы сверху вниз, с неба на землю, а потом острый белый карандаш вздрагивал, и по серой, по черной бумаге вел линию вверх, все вверх и вверх, с земли на небо.

Так белым, серебряным была заштрихована вся нелепая черная не нужная никому земля.

Так нарисовала на черном, гуашью подмалеванном ватмане ты, моя дочь.

Прежде чем умереть.

Я держала тебя на руках, а Никодим убежал ловить машину, любую, все равно: грузовик, самосвал, фуру, он мог и трамвай остановить, я знала, – а глаза мои упрямо и преступно косили на твой неоконченный рисунок.

Что там? Неужели мать, у которой умирает, а может, уже умерла дочь, так любопытна?

Зрочки прокалывали, зрочки змеились, зрочки ползли и вспыхивали. Зренье еще служило мне, и я тогда была ведь еще не старуха; так зачем я так подслеповато щурилась, зачем собирала собачьи складки на лбу, пытаюсь разглядеть и запомнить?

Хлопает дверь в подъезде, внизу. Муж поймал машину, сунул деньги в мокрую руку шофера, много денег, и прорычал: «Жди!»

Зрочки обнимают черный лист, по нему вкось идет сумасшедший, веселый белый снег.

И за окном, и за балконной распахнутой дверью он тоже идет.

На рисунке черное небо. Белая стена. Ржавая труба. Черный дым из трубы.

Худая как палка женщина и девочка, у которой насквозь светятся ребра, крепко обнимаются. Покрывают последними поцелуями друг друга.

В открытую черную дверь тянутся, тянутся белые голые тела. Люди идут. Ноги их идут. Ноги идут. Идут.

Куда идут? Они идут в смерть.

А может, смерть – счастье для того, кто устал жить?

Мама, шепчет дочка женщине, мама, ты только не бойся, они нас до конца не убьют, что-то ведь останется после нас, что-то будет, ведь что-то, что-то наше, живое, навсегда, дай я вытру слезки твои, не надо так, мы просто будем с тобой очень крепко держаться за руки, очень крепко, я знаю, они все врут про то, что это помывка, это не баня, там пускают газ, я знаю, так ты вдохни сразу глубоко, очень глубоко, и мы просто уснем, слышишь, уснем, а потом проснемся в раю, ты же сама учила меня: молись, и ты будешь в раю!.. и вот я все молюсь, молюсь, а вместо рая будет черный дым, и мы с ним улетим, но зато какая воля, простор какой, и мороз вместо слез, и звезды, и деревья внизу, и белые поля, и люди маленькие, мышки или жучки, лиц не различить, взрослые или детки, с высоты не понять, мамочка, не плачь, мамочка, идем, мамочка, зачем, мамочка!.. смотри!

Я посмотрела на тебя, доченька моя. На твое личико, тебе в глазки. Глаза уже не видели, лицо посинело.

– Дима, где ты, – медленно и беззвучно сказали мои деревянные губы.

Когда в гостиную вбежали шофер, сосед и муж, я так и стояла с тобой на руках. Голова твоя свисала вниз. Ноги свисали. Ты вся была уже очень тяжеленькая, будто бы я не девочку мою, а мешок с сахаром или солью держала; и я видела – не бьется синяя, тщательно прорисованная остро заточенным синим карандашом извилистая жила на твоей тощей гусиной балетной шейке.

– Ажыкмаа! Давай ее!

Папа выхватил тебя у меня из рук, грубо отнял, навсегда.

Я не успела ни схватиться за тебя, ни остановить время.

Мужики грубо, громко затопали вниз по лестнице тяжелыми грязными башмаками; я нелепо, беспомощно ринулась за ними, взмахивая руками, как в моем знаменитом на весь Кызыл па-де-де из балета «Бахчисарайский фонтан». Кызыл, как давно мы в тебе жили. В жизни иной. Мы выбежали в грязный вечерний двор, и это была Москва. Мы ехали по широким как море проспектам и узким как ущелья улицам, и это была Москва. Мы кричали в приемном покое больницы: «Скорее! У нас дочь умирает!» – а нам навстречу шел развалистой павлиньей походкой дежурный толстый врач, и в одной руке держал бутерброд с копченой колбасой, в другой початую бутылку минералки, и это была Москва. И я была мертвая забытая балерина, а муж мой знаменитый столичный геолог, и это была Москва.

И я глядела, как дочери моей прокалывают руку толстой иглой, и кладут на узкую, как долбленка, каталку, и везут, увозят навсегда, и грохочут колеса по коридору, а я бегу, растрепанная, следом, и как каталка, грохочу костями и сердцем, и все вокруг грохочет, и я хочу, чтобы ты жила, и я не хочу жить.

– Спасите ее! Прошу вас!

Каталка въезжает в закрашенные белым снегом двери. Там холодно. Там царство льда. Туда меня не пускают.

– Сюда нельзя!

Я сажусь у дверей операционной на пол, обхватываю острые колени руками и так сижу. Час. Два. Три.

Мне предлагают сесть. Меня пытаются поднять, ухватив под мышки. Меня хотят напоить горячим чаем. Я отворачиваю голову. Я не могу говорить. Я не могу двигаться. Я не могу жить. Моя дочь умирает!

Я не видела, где Никодим. Он исчез, и, помню, я смутно и легко подумала: «Навек».

Нет ничего навечного. Ничего вечного. Есть жизнь, она меняется, и есть смерть, и она – неизменна.

Далеко, высоко играет радио. «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». Внутри меня слепо, безумно танцует вальс сердце.

Дверь открылась, и голос над моим затылком холодно, снежно сказал:

– Мужайтесь. Вы мать?

Он говорил, но я больше не слышала ни слова.

Снег, вместе с миром и дымом, завертелся перед глазами, свился в змею, в коловрат, и сквозь мельтешенье метели я увидела твое лицо, доченька. Ты, веселая лиска, снежная киска, махала мне сквозь снег рукой, отмахивала снег от лица, он садился на твои брови и ресницы, на дегтярную гладкую челку, твои раскосые глазенки бежали мне навстречу, и зубки у тебя в улыбке были теперь все как на подбор, молочные повыпали, выросли все навечные, бессмертные, и вся ты тряслась от хохота над ночью и смертью, ты кричала мне сквозь снег: «Мама, ну что ты разнюнилась! Не бойся! Смерти же нет, нет!» – а я хватала ночь руками, обжигала ладони, заговаривала смерти зубы, давала времени пощечины, все бесполезно, снег шел и уходил, ночь шла и уходила, уходили все, уходило все, и я вставала с холодного кафельного пола и уходила, и никто не останавливал меня, и никто не накинул мне на плечи теплое пальто или мохнатую элегантную шубку, как и приличе-

ствует известной балерине, и я выворачивала ноги по-балетному, носками наружу, пятками внутрь, и я отбрасывала голову назад, и гордо тянула, вытягивала шею, все думали, я лебедь, а я оказалась на деле старая облезлая гусыня, и гусиная глотка хрипло и бессмысленно кричала, и гусиная кожа обтягивала костлявые члены, и у гусыни сегодня умер единственный гусенок, и она шла вон из человеческой больницы, пьяно качаясь, и лепила губами детские молочные лепешки: доченька, я все поняла, доченька, я не боюсь, я теперь уже ничего не боюсь, лети, лети далеко, носи жизнь мою в клювике, а я последний рисунок твой сохраняю, я все рисунки твои сохраняю, потому что я, гусыня, родила ангельскую вольную птицу, и нельзя заточить тебя в клетке времени, нельзя, нельзя: тебе нужна смерти свобода.

Старая балерина Ажыкмаа Хертек шла вперед, все вперед и вперед, и Нью-Йорк расступался перед ней, расходился веерами то шикарных, то каторжных железных улиц, разлетался бешеными початками реклам и ворковал сизыми, лиловыми голубиными зобами на лавках в голых зимних скверах.

Она остановилась на перекрестке, рядом с урной, доверху набитой мусором, и синим толстогубым негром. Негр перебрасывал из руки в руку красные шары.

Сколько лет она жила здесь, а по-английски толком говорить не научилась.

Ей было лень.

Я устала, говорила тихо ей ее душа, а ты еще хочешь меня окупить в холодное море чужих слов.

Ажыкмаа протянула руку и коснулась белого обшлага рубахи, торчащего из-под толстого драпового пиджака уличного гистриона.

– Ты, – сказала она по-русски, очень печально, – зачем ты жонглируешь тут? Сидел бы дома, пил бы кофе. Или мартини. Или виски. Где ты живешь?

Негр поймал все шары в руку, пожал плечами, улыбнулся. Белое лезвие зубов разрежало серую мглу утра – солнце опять скрылось за налетевшими с океана тучами, тучи клубились и кувыркались, и Ажыкмаа поморщилась: плохой кордебалет.

– I not understand.

Ажыкмаа медленно вынула один красный шар у негра из розовой обезьяньей ладони. Хрупкий, как яичная скорлупа. Иглой прокололи яйцо и выпили белок и желток. Выпили жизнь.

Она подбросила шар и попыталась поймать его. Ладоши хлопнули, шар пролетел мимо, упал на асфальт и разбился. Негр, улыбаясь, смотрел на красные осколки у его ног, обутых в новенькие мордастые кроссовки.

– Простите. Я не хотела.

Балерина повернулась и пошла дальше, и Нью-Йорк вздрогнул и снова заскользил, замерцал перед ней всеми огнями и углами, всеми фарами и барами, всеми витринами и машинами. Нью-Йорк плыл мимо нее большим серым океанским кораблем, непотопляемым и важным, почти бессмертным; губы усмехнулись, и мысль пролетела – нет бессмертных городов, все они когда-нибудь оказываются или под землей, или на дне океана.

Балерина Хертек шла и повторяла сухими земляными губами: доченька моя, где ты сейчас? Ты ведь не под землей, я знаю это твердо. Если ты в небе – дай мне знак! Если ты птица – прилети! Сядь на подоконник. Я покормлю тебя. Ты прочирикаешь мне про веселую, райскую жизнь. Ты не в земле. Почему ты все время рисовала войну? Выстрелы? Разрывы? Танки? Раненых? Госпитали? Бинты? Винтовки? Автоматы? Воронки? Сраженья? Ты еще агукала младенчески и писалась в коляску, когда я впервые вынула у тебя из рук твой первый военный рисунок. Никто и никогда не мог рассказать тебе, несмысленно, про войну.

Но почему все время своей крохотной, как птичка, жизни ты рисовала, рисовала, рисовала детей под выстрелами, детей под гусеницами танков, детей в землянках? Детей, что едят кашу из солдатской каски?

Детей, что стоят в очереди в газовую камеру?

И эту девочку, что так похожа на тебя, только толстые коски не черные, как твои, а светлые, солнечные, – она стоит и крепко держит в руках пистолет, а перед ней на коленях стоит немецкий офицер, у него свастика на рукаве, у него ярость и страх в глазах, а девочка хочет выстрелить и не может, и кипят в глазах у нее слезы, и знает она, что выстрелит через миг, а этот миг – жизнь.

Жизнь снится. Балерина танцует. Солдат стреляет. Пекарь печет сладкий пирог. В печи крематория жгут трупы. Жгут наши с тобой трупы. Доченька, ты не труп. Я похоронила своего мужа, твоего отца, но я никогда не похороню тебя. Ты сейчас сидишь и рисуешь; я приду домой, на Лексингтон-авеню, захочу открыть дверь ключом, а дверь открыта. И я пройду в комнату, дрожа: а

вдруг воры! – и радуясь: ты вернулась, вернулась. Ты сидишь около окна, локоть на подоконнике, рот вымазан черничным пирогом. На коленях планшет, к нему приколот лист бумаги. Ватман не закрашен. Он чисто-белый. И черный мягкий грифель, почти уголь, у тебя в руке.

Грифель скользит. Линия льется. Рисунок поет и дышит. Он быстрый, мгновенный. Как вдох. Как вздох. Вдохнуть – и выдохнуть: нарисовать. Я боюсь посмотреть, что там. Я боюсь, что ты меня увидишь. Я украдкой гляжу через твое плечо. Оно чуть выпрастывается из белой холщовой ткани: это я тебе купила вчера на распродаже в Квинсе прелестную, струящуюся белой рекой рубаху из чистого льна. Белое, чуть голубоватое плечо, а губы розовые, карамельные. Ты чуть покусываешь их. В иссиня-черной густейшей челке уже просверкивают странные седые нити. Ах нет, конечно, ты не постарела за эти годы: это просто вы там, в небесах, справляли Рождество, и серебряный дождь запутался в волосах, да так и остался. Ты стреляешь глазами – туда-сюда, туда-сюда. Ты изучаешь рисунок. Ты лепишь его и благословляешь его глазами. А если рисунок плохой – ты безжалостно, смеясь беззвучно, смуглыми пальчиками рвешь его. И бросаешь обрывки бумаги под стол. Под стул. Жаль, у меня камина нет, чтобы ты неудачный рисунок сожгла.

Губки твои шевелятся. Я почти слышу, как ты шепчешь: мама, я никогда не буду ничего и никого жечь. Никогда. И ты не жги, пожалуйста, мои рисунки. Никогда!

Да что ты, доченька, как я могу сжечь твои рисунки! Это единственное, что осталось у меня в жизни.

И в смерти. Да, и в смерти.

Мама, ты видишь, что я нарисовала?

Дай погляжу. Я чуть ближе подойду, хорошо? Да, вижу. Девочка. У нее косы, как у тебя.

Мама, это не я, и в тоже время это я. Я не знаю, как тебе объяснить.

Я понимаю. Я все понимаю. Можешь не говорить.

Нет, я скажу. Эта девочка, понимаешь, я знаю все, что с ней было.

Знаешь? Ну вот и хорошо. И хорошо. А это кто?

Это мальчик. Он несчастный. Я тоже все про него знаю. Он потом станет...

Не надо! Я все знаю, кем он станет.

А это, смотри, мальчик на руках у девушки! И этот мальчик – я, и эта девушка – я. Мама, ты думаешь, я сумасшедшая?

Я никогда так не думала и не думаю, доченька. Я пытаюсь понять.

Понимаешь, мамочка, эти все люди – я, и я одна – все эти люди. Ты знаешь, им тяжело пришлось. Извини! Приходится.

Как это приходится? Как? А, да, я понимаю, прости.

Ну да, ты поняла. Это все происходит с ними. Сейчас. Я живу в них сейчас. Я вижу их глазами. У меня их руки. Сейчас я девочка с пистолетом, потом мальчик с железной миской, потом девочка с бутылкой кьянти, потом младенец в колыбельке, и я ору как поросенок, и я пачкаю пеленки. Смеешься надо мной?

Что ты, родная моя, жизнь моя! Как я могу смеяться! Я пытаюсь... представить...

Мам, иди сюда ближе. Ближе. Еще ближе. Я скажу тебе на ушко. Наклонись. Вот так. Знаешь, я ото всех них немножко устала. И я решила остаться самой собой. И я попросила...

Что ты замолчала, доченька?

Да так. Ничего. Не обращай вниманья. Видишь, какой красивый рисунок получился?

Ажикмаа наклонилась вперед, ближе, еще ближе. Ухватила дрожащей рукой за спинку старого венского стула. В ее нью-йоркской квартире стояла старая мебель и висели старые пыльные гардины. Красные тяжелые гардины, просвеченные солнцем на закате, наполняли комнату кровью. И красное старое лицо балерины неотрывно гляделось в алый огромный аквариум старого зеркала.

Держись крепче. Держись. Ты на пуантах. Ты полоумная Жизель. Твоя дочка гордится тобой. Она громче всех хлопает тебе в зрительном зале, в краснобархатной ложе с золоченой пряничной лепниной.

Гляди на рисунок. Разгляди его. У тебя немного времени.

Намеченное двумя штрихами узкое голодное лицо. Горбатый нос. Пышнолетающая ночь волос. Худая и голая. Это еврейка. Глаза навывкате. Бессильная улыбка. Ребра пересчитать можно. Закрывает грудь рукой, другой прикрывает живот. Грудь висит, тощие ноги. А живот большой. Беременная? Доченька, неужели это тоже ты?!

Ее девочка медленно, медленно поворачивается. Закатное солнце заливает подоконник чужой, иноземной, рыбьей кровью. Ко-

сые глаза прожигают две дырки у балерины в груди. Ее дочка медленно проводит ладонью по карандашному наброску.

Это тоже я, мама. Меня зовут Двойра.

Лист бумаги медленно слетает на пол.

Балерина делает на старых, негнущихся ногах один немощный, жалкий балетный, изломанный шаг навстречу кухонному плетенному стулу, на нем сидит ее дочь.

– Ты живая!

Дикий крик сотрясает сдобный, коричный воздух душной кухни.

Девочка стоит рядом с матерью. Она держит в руках рисунок.

– Это я, мама. Я умерла много лет назад.

Она подходит к окну. Разжимает руку. Рисунок летит по ветру, улетает. Голуби принимают его за белую птицу, летят вместе с ним.

Доченька, не умирай.

Я не могу. Я буду это делать еще много раз.

Я понимаю. Но если можешь ты, значит, могу и я?

Да. Если могу я, значит, можешь и ты.

И тогда улыбка медленно всходит на аккуратно подкрашенные жалкой высохшей, старой алой помадой губы балерины Ажыкмаа отпускает спинку стула. Она больше ничего не боится. Она опять говорила с дочерью. Надо запомнить этот день. На деревянных, скрипучих ногах она подходит к висящему на стене календарю, протягивает руку, берет привязанный к гвоздю карандаш, обводит красным число. Красный день календаря. Ника снова к ней приходила.

Она улыбается, сбрасывает с ног тяжелые туфли, стаскивает чугунными руками юбку, с легким стоном ложится на кровать, лицом вверх. Ледяные простыни больно обжигают ноги. Ажыкмаа заводит руки под голову, втягивает живот. Замирает. Одно тело уходит – душа вселяется в другое. Важно произносить правильные молитвы, когдаходишь в предсмертное состояние бардо. Когда она умрет, она точно станет белой птицей. Как ее дочь.

(эшелон)

Два вагона стальные. Три – деревянные. Потом опять сцепленная железными трубами сталь; в ее трясущемся брюхе – оружие, а может, деньги, а может, трупы, а может, нечто иное, и нет имени ему.

Нет имени войне. Она просто идет, и все.

Идет человек. Идет по снегу волк в лесу, ступая осторожно, в след другому волку. Идет ветер, ураган идет, буря, и все прячутся по домам, по избам, по подполам и погребам. Медленно, торжественно и сонно идет Земля в крошечной тишине и черной пустоте.

Вот идет поезд, он зовется эшелон, и в дощатых его вагонах везут людей. Куда везут их? Они сидят на лавках, на полках вагонных; в иных вагонах полков нет – сидят на полу, устланном соломой, и чувствуют себя скотом, коровами и лошадьми; в щели вагона тянет гарью, слышны крики, слышен грохот разрывов, мужской мат, немецкий собачий лай: немцы тоже умеют ругаться, но наш народ не понимает их плюющейся злобы, и хорошо.

Они – это мы: люди Советской страны.

И мы никогда не станем ими. Никогда.

Люди разные, страны разные. Хоть сто пактов о ненападении подпиши, все равно друг на друга нападут. Когда-нибудь.

Трясаясь в скотьем вагоне, Двойра стала нежной и смиренной; ее соседка, старуха из Киева, глядела на нее во все старые, мутные, катарактные глаза и дивилась: профиль прозрачный, чисто икона из Андреевского храма. Двойра тут перестала быть еврейкой, и ее соседка-киевлянка Зося перестала быть полькой, и ее соседка слева, буфетчица из Белой Церкви Василя, перестала быть татаркой, и ее толстая соседка сзади, бесконечно охавшая и кряхтевшая от невыносимых артритных болей, необъятная Ирма, перестала быть немкой; они все перестали быть лицами своих взбесившихся народов и стали одним многоликим и многоочитым зеркалом, и зеркало то отражало – войну.

Эшелон мотало на стыках рельс. Вагон подскакивал и лязгал всеми стальными ребрами, содрогался деревянным мясом. Женщины ухватывались друг за дружку и тихо подвывали. Потом, как по команде, прекращали плакать. Боялись: откинут вбок доску, всунется голова сторожившего их фрица, лысая, круглая, жирная, в крохотной дурацкой кепчонке на затылке, глазки-блошки побегут по их головам, рукам, ногам, и каждая почует себя жертвой, и у каждой остановится сердце и внутри разольется адская, подземная тишина.

Застучало снаружи. Отъехала доска. Бритая башка в болотной кепке замаячила черным пятном. Женщины прислоняли ладони ко лбу, глядели против солнца.

– Больни эст?! Мэртфы эст?!

Голос хлестнул и обжег. Женщины стали подбирать под себя ноги, подтягивать руки к животу, к груди, скорчиваться, совать ладони под мышки, вбирать головы в плечи. Женщины старались стать маленькими, игрушечными и невидимыми.

Игрушка заводная. Играет и поет. Игрушечка тряпичная, но все она живет. Игрушечка стеклянная, так хорошо звенит. Игрушка деревянная, сердечко не болит.

Двойра еще бормотала сухими деревянными, ватными губами дурацкую песенку ни о чем, когда фашистский «зольдат» яростно выплюнул прямо на клоки соломы на полу вагона:

– Haltestelle! Штопп! Всэ здарофф – аусгеен! Выходит!

– Нас расстреляют, – штапельными губами сказала немецкая игрушка Ирма. Она стала тяжело подниматься с пола, к ее заду, подолу, локтям прилипли золотые и грязные охвостья соломы.

– Не верю, – бархатным ртом прошептала польская игрушка Зося, ее огромные серые глаза расширились, превратились в чайные блюдца, и все, все куколки могли пить горячий светлый, некрепкий, спитой, старый, вчерашний, соленый чай из ее остановившихся глаз, с дрожащих сивых ресниц.

– Пошли, девки, – заводным веселым ненастоящим голоском пробуравила вагонную вонючую тьму татарская игрушка Василия, – не дрейфь, переплывем! Днепр – переплывем! Редкая птица долетит...

– Штиль! – Рык обдал стоящие, сидящие, лежащие людские игрушки горючей волной пожарищной сажи. – Вон! Аус!

Игрушки обратились в женщин, девушек, старух, стариков и детей.

Люди смотрели друг на друга, а их губы беззвучно шептали: не верьте никому, мы не люди, мы игрушки, а игрушки ведь изначально мертвые, они всегда мертвые, поэтому жги их не жги, стреляй в них не стреляй, они ничего не почувствуют.

В углу вагона горели слишком светлые, слишком чистые глаза. Игрушка по имени Незнаю и три крохотные куколки под мышками у нее, Неведаю, Непомню и Забыл, глядели подпечными юркими мышками, нюхали гать ненависти ситцевыми носиками, переплели ватные руки и бязевые пальчики. Нет, мы не живые мышки, мы бархатные, шерстяные игрушечки, мы бедные мыши из серого фетра.

Из серого, дымного ветра.

Люди стали вываливаться в проем, где бесился, после черной проржавленной и дощатой слепоты, безжалостный свет и дрожал

синий ослепительный воздух. Холод обнимал их, картонных и глиняных, и натянутая как барабан кожа не ощущала запаха осени, духа последней воли. Предснежье. Все трясется, пляска святого Витта, святой Параскевы, святого Касьяна, святого Андрея, святой Ирмы, святой Софьи, святой... Двойра, иудейка, глотала мятный холод ветра и, не мигая, глядела на раздолье охотничьих, сизых и ржавых полей, раскинувшихся за шлагбаумом и станционным облезлым домиком. Домик, игрушка, когда тебя повесят на елку? И будет ли у меня елка в этом году?

И будет ли Новый год у меня?

Бритый фриц в идиотской кепчонке шел мимо них, мимо неяршиливо-рваного строя, и женщины старались встать по-солдатски прямо и ровно, чтобы – носок к носку, чтобы выше подбородок, и улыбка чтобы бежала, бежала по покрытому бессильным потом и ненастными слезами лицу, чтобы не дай Бог не сплеховать, не рассердить: рассердишь – расстреляют.

«Тебя расстреляют всегда и везде. И не важно, за что. Ни за что».

Фриц прошелся мимо строя туда-сюда, вспрыгнул на подножку вагона, заглянул внутрь.

Обернулся. Губы раздвинулись, солнцу показались волчьи желтые, красные десны.

Глухие игрушки не услышали рычания и крика.

– Вас ист эс?! Потшему не всталь?! Потшему?! Больни?!

Игрушки слепо косились на черную дыру двери.

Игрушки не знали, не помнили: там остались те, кто не мог встать.

Горячие. Без сознания. В жару. В бреду.

Сломанные, брошенные, мусорные игрушки.

Уже разобранные: ноги, руки, головы отдельно от туловища, глаза не моргают, утроба не крикает сипло: «Ма-ма».

Из черной обгорелой коробки вагона донеслись игрушечные, жалкие, косноязычно цокающие автоматные очереди; ветер клонил осеннюю выцветшую, седую траву, приклонял низко-низко, заставлял кланяться небу, судьбе, и Двойра обвела стеклянным взглядом, двумя выкаченными из орбит стеклянными глазами, раскрашенными тонкой колонковой кистью, черной лаковой краской, блестящей, застывшей гладко, лучше зеркала, в каждый глаз смотреться можно, – обхватила весь осенний стылый оком, всю длинную деревянную, железную змею эшелона, станцию и небо над ней, колеса и рельсы и черную грязь под ними, – и из ее игру-

шечного нутра, поверх всех винтиков и шпунтиков, коими были намертво друг к другу прикручены ее ножки и ручки, ее ушки и носик, ее тулово и ее шея, вырвался первый живой хрип, перешедший в заполошный крик:

– А-а-а-ай! Убили! Уби-ли-и-и-и!

И все игрушки опять, сразу, вмиг стали людьми. Заблагжили. Заорали. Зарыдали. Затрясли кулаками. Строй потерялся. Люди бежали, шагали нелепо, хватали судорожно руками ветер, валились на колени в грязь. Люди стали уродливыми, а игрушки были такие красивые. Но уродство дышало запахами, плыло вздохами, махало белыми флагами слабых рук, – жило. Уродство было равно жизни, равно небу, равно земле и войне.

Все вернулось. Потерянный разум. Забытый плач.

Двойра, положив руку на содрогающийся живот, стояла перед вагоном, похожая на обгорелую кочергу, воткнутую во влажную, в разводах ручьев, скользкую землю, и вопила:

– Убили все-е-е-ех! Убили наши-и-и-их! Больны-ы-ы-ых!

Бритый фриц, качаясь на полусогнутых, с автоматом наперевес показался в пустой дыре в вагонном боку. Его лицо лоснилось. Лоснился черный автоматный ствол. По шее текли ручьи. Он вспотел, ему было жарко на пронзительном, небесном холоду. Земной, жестокий воин. Зачем он убил невинных? Он сам не знал. Его учили убивать, и он убивал, дурачок, ребенок, толстый рослый школьник, безграмотный тупица, с наглыми веснушками на жирном носу, убивал из игрушечного, легкого как щепка, легче пера и пуха, призрачного автомата. Это школьный спектакль, и много заготовили учителя клюквенного сока, и лили его, лили, выливали, и пахло в душном школьном актовом зале давленной ягодой, кислятиной, сладостью, солью, ужасом, горем, бредом.

– Кто критшайль?! Вер ист?!

Двойра, не понимая, как это у нее получилось, подскочила к вагону больной хромой черной галкой, взмахнула руками-крыльями, ослабилась, шумно и хрипло втянула сквозь зубы ледяной осенний день, как шипучую газировку – и одним мощным, неженским движеньем разорвала клетчатую рубаху у себя на груди. Рубаху Изи. Она так в ней и ходила – с того дня, как их всех повели в Великий Овраг, умирать. Стирала в щелочи, терла обмылком, полоскала под краном, в тазу, в бадье, в ручье – и сушила на солнце, и опять надевала, и шептала, когда ткань прилегала к коже, клеивалась в нее пластырем: «Изька, твоя рубашка, и я живая. Я еще живая».

Пуговицы посыпались в раскисшую грязь, в набухший влагой пливун. Двойра яростно рванула вниз бязевый белый бюстгальтер вместе с исподней сорочкой. Белые яблоки, смуглые черенки? Немец умалишенно взирал на голое тело – сколько за всю войну он видел таких женских тел, и убитых и живых! То, что шло, надвигалось на него, не было телом женщины, девушки. На него танком, мертвым лязгающим белым железом напоззало то, чему не было имени в человеческом языке, в его языке. Он сухо, тяжело пошевелил, пошлепал онемелыми губами. Еще миг назад эти плохо выбритые губы катали, смаковали, обсасывали резкие, ножевые крики. Еще мгновенье назад эта глотка издавала собачий лай. Фриц пятился, а Двойра наступала, и это было так странно – вот-вот полоумная девка потопчет, как петух, до зубов вооруженного дюжего, ражего толстошеего немца.

Двойра наехала на фрица голой грудью. Он неудачно попал каблуком сапога в осклизлую грязь; грязь поползла вниз и вбок, нога поехала, подломилась, он оступился, пытался выдернуть ногу из позорно скользящего сапога! – напрасно: он уже падал, бесславно и потешно, и медленно, как в немом старинном кино, вздергивались ноги в галифе, с чмоканьем вдавливалась в грязь жирная сутулая спина, и пятна грязи, как пятна коричневой темной крови, расплывались на гимнастерке, на обшлагах, на грубой свиной коже сапог, а подлая кепчонка летела с лысой башки вкось, через грязь, ручьи и лужи – на обочину, в космы сухой рыжей травы.

Фриц брякнулся оземь, и люди расхохотались.

Они твердо знали: за смех – убьют, но смех был сильнее страха, смех одолевал и побеждал, распяливал рты, обнажал зубы, надрывал глотки, сморщивал лбы, надувал щеки. Люди ржали как лошади. Заливались соловьями. Уже бежали на этот дикий самозабвенный смех другие солдаты, уже хохочущих, как в цирке, людей обступила сердитая немчура, уже кое-кого ударили под дых и по локтям, и в грудь, и под ребра прикладами: молчать! заткнись! пададь! отребье! кому говорят! – а люди смеялись, держась за голодные впалые животы; нет, это хохотали игрушки, пустые внутри погремушки, привязанные к суровой серой нити единственного дня. Сейчас нить оборвут, погремушки рассыплются по земле и разом прекратят звенеть.

Фриц, лежа в луже, снизу глядел на грудь Двойры. Он хотел закрыть глаза и выругаться – глаза не закрывались, рот не плевался скверной. Молча немец глядел на грудь еврейки. На страшные шрамы. На белые, синие, лиловые, бугристые рубцы. Он читал

письмена войны. И он, дурак и неуч, Dummkopf, понимал эти знаки. Он понимал: его сородичи написали их. Чужое тело – бумага. Пуля – перо. Перо прокалывает плоть и грудь. Перо карябает плохие слова. Такие не говорят в церкви. С такими не провожают на тот свет. Живая книга! Она будет жить. Она еще ребенок. Ей так немного лет. А она уже знает: чернила – кровь, и живая книга – самая вечная. Ее будут читать дети и внуки.

Поэтому ее надо убить. Убить еще раз.

Да она смеется над ним!

Да тут все хохочут... хохочут...

Фриц нашарил в грязи автомат. Приладился. Губы его мелко тряслись. Двойра стояла перед ним с этой голой, голубиной, голубой на холоду грудью и хохотала. Как все. Как все они.

Солдаты ударяли хохочущих людей прикладами по головам. Люди валились в грязь, рядом с поверженным лысым немцем. Люди тянули руки к Двойре: еще постой вот так, голяком, еще покажи, покажи им свои шрамы, свою нежную грудку, поторжествуй, позабавься, подразни их всех! – а она вдруг села перед лежащим немцем на корточки, провела рукой, всей пятерней по его грязному, дрожащему лицу.

– А ты близорукий, – сказала она по-русски, а потом сказала по-немецки, и он понял: – Schade. Zu schade. Spaet. Zu spaet.

А что жалко, или кого жалко, и почему слишком поздно, он сразу понял. Все понял.

Автоматный ствол уперся Двойре в грудь. Она сама, рукой, приставила дуло к тому месту чуть пониже ключицы, где еще билась в ней жизнь.

– Давай, – тихо сказала.

И ждала.

Две, три секунды. Четыре. Пять.

Два, три века. Вечность.

«Раз-два-три-четыре-пять... Вышел зайчик погулять... Вдруг охотник выбегает... Прямо в зайчика... стреляет... Пиф-паф... Ой-ей-ей... Умирает...»

– Не замай! – взвизгнула рядом с ней хохлушка.

Игрушка-хохлушка, пташка-хохлатка, пирожок-загадка, жаворонок... звонкий...

Грязный палец слегка нажал на спусковой крючок. Двойра ощущала лед железа. Странная улыбка изогнула ее посинелые на ветру губы.

Вокруг женщины тихо завывали. Кто-то хрипел на земле, лицом в грязи, царапая пальцами сырую топкую глину. Ногти вырывали из земли корни, червей, тайну жизни. Когда мы все умрем, мы станем землей. Землей.

– Швайн! Юде! Швайн!

«Зайчик мой...»

Немец закинул жирную бычью башку и захрипел. Оторвал одну руку от автомата. Завозил, заскреб рукой по траве, вскапывал землю пятками. В ноздри Двойре ударил острый запах поздней, живой и свежей осоки. Из рта немца полилась грязная, бурая жидкость. Он вздрогнул раз, другой и застыл. Железный клюв оторвался от ключицы Двойры, отогнулся вбок. Оружие шмякнулось в грязь, обдав подол Двойры жирными брызгами. Два стеклянных, крепко пришитых к ватной толстой голове глаза отражали холодное солнце: оно тихо, нежно клонилось на закат.

– Ah, schnell! Vorwaerts!

Солдат с трудом поднял руку и выпустил из автомата очередь вверх, в небо. Заклекотали птицы.

Двойра стояла и смотрела в зенит. Он был то серый, то голубой, то рыжий, то черный; тучи летели, обдавая землю голые лбы холодом, и Двойра думала: это перламутр, это внутренность перловицы, а я жемчужина. Она сама себе снилась.

Сама себе улыбалась.

На холодной земле остались лежать пять женщин из их вагона и толстый придурочный фриц. Поодаль, опрокинутым котелком, валялась его смешная кепка. «Гнездо для зяблика», – подумала Двойра и зябко повела плечами.

Их загнали в вагон, и они брали за руки и за ноги застреленных больных и, раскачав, выбрасывали их из вагона на насыпь – одного за другим, одного за другим. Вечерело. В спутанной, как седые волосы старой ведьмы, пахучей траве пели последние полевые птицы. Они прощались с мертвым летом. Оплакивали мертвую землю.

Двойра и девочка с уложенными вензелем на затылке тонкими русыми косками, кряхтя, подняли последнее тело. Старик. С виду худой, а какой тяжелый. Двойра держала старика под мышки, девочка – за ноги. У Двойры внезапно заломили зубы. По ободу двух зубных дуг, сверху и снизу, ударила молнией яростная, несносимая боль.

– А-а!

Она выдернула руки из подмышек убитого, голова старика громко стукнулась об пол вагона, и женщины заверещали вспугнутыми, жалкими птицами.

Двойра обхватила лицо ладонями. Присела. Качалась из стороны в сторону. Ныла. Стонала. Боль обнимала щеки и шею железным кольцом. Светлокосая девочка не отпустила стариковские щиколотки, крепко вцепилась в них, аж пальцы посинели.

Женщины рядом, плача, вытирали с досок густую кровь пучками соломы.

– Прости, – простонала Двойра, вжимая пальцы в щеки, – болит... сейчас пройдет...

– У собаки боли, – сказала девчонка серьезно, по-взрослому, – у кошки боли, у зайца боли, у птички боли, а у нашей... как тебя звать?

– Воря, – отупело, изумленно выстонала Двойра.

– А у нашей Воречки заживи. Заживи, слышишь! Заживи! Быстро!

То ли от резкого, смешного, повелительного крика девчонки, то ли оттого, что эшелон медленно стронулся с места и пошел, пошел вперед, на запад, стуча стальными костями, неуклонно, обреченно набирая ход, казнящая боль Двойру и впрямь отпустила.

Снова продеть руки под плечи костистого старика. Подтащить его к двери. Так. Вот так.

Мимо неслись вечереющие поля. Сырая, промозглая, бедная, вечная земля. Терпелиница, мучительша и мученица наша.

– Ну, девка... раз-два... взяли!..

– Еще раз... взяли!..

Они выбросили из вагона старика уже на полном ходу. Ветер развевал кудрявую черную шапку Двойриных дивных волос. Она подумала: а заколки-то и нет, – а девчонка уже шарилась в кармане, вынимала красную шелковую грязную ленточку, тянула.

– Вот. Возьми. Перевяжи. В рот лезть не будут.

Двойра, зажав ленту в зубах, закручивала волосы на затылке в черный жгут. Глаза девчонки отражали ее зрачки. Двойра потрясенно гляделась в чистое зеркало ее лица.

«Все мы друг другу зеркало», – страшно, с легким и сладким холодком детского полночного испуга подумала она.

И девочка, молча отразив ее догадку, светло и безумно улыбнулась ей, пока она перевязывала свои ночные волосы красной, как пионерский галстук, атласной лентой.

(парад 7 ноября 1941 года в Москве)

Девочка вышла из парадного подъезда и тихо закрыла за собой огромную тяжелую дверь.

Ей всегда казалось: вдруг этой дверью прищемит кошку. Или котенка. Или щенка – в сорок первой квартире хозяева держали ценную суку, овчарку, и малых щенков выводили гулять на тоненьких поводках; уши у них не стояли, смешно валились.

На девочке надета потертая беличья шубейка, крест-накрест перевязанная бабушкиной шалью. А на ножках валенки. Начало ноября, а пуржит и снежит, как зимой. И холодно. Так холодно, что мысли смерзаются в голове.

Бабушка на парад не пошла. Тепло одела внученьку и прошептала ей на ухо, отведя от щеки русую прядь: «Ты за меня сходи, я будто твоими глазами, Никеша, на все погляжу. Ты только все запомни, и все расскажешь».

Поэтому девочка бодро, быстро шла, переступала валеночками по мокрому снегу и влажному льду: она боялась опоздать, и надо было все запомнить. Все.

У нее была хорошая память; это всегда говорила учительница, Наталья Анатольевна.

Девочку бабушка звала Ника, а по правде ее звали Нина. Ника было гораздо красивее.

А в метриках записано: «Деньгина Нина Аполлоновна, родилась 9 мая 1933 года. Место рождения: СССР, г. Москва. Родители: отец – Деньгин Аполлон Парфенович, мать – Деньгина Зинаида Павловна».

А еще у меня бабушка, Ростовцева Александра Федоровна, шептали холодные губы.

Валенки то вминались в мягкий снег, то скользили по черной чугунной наледи. Девочка шла знакомым путем – широкими и узкими улицами, к самой прекрасной на земле Красной площади. Уже доносился грохот – это подходили к площади танки; Ника убищирила шаг. Нельзя опоздать. Она бабушке обещала.

Красная площадь нежданно ударила из-за поворота черно-белым, слепящим квадратом. Ника заслонила лицо рукой. Из-под руки глядела: четко и дружно впечатывая сапоги в заметенную снегом брусчатку, шли солдаты, и за плечами у них, на спинах болтались вещмешки. «На фронт отсюда уйдут», – поняла девочка, и сердце у нее поднялось из груди вверх и забилося в горле.

Гуще, неистовее повалил снег. Девочка на миг ослепла от снега. Она, осторожно, по-балетному перебирая ногами, вышла на площадь, и это мимо нее, незаметной и маленькой, шли сначала курсанты-артиллеристы, высоко вздергивая носки сапог. Девочка дышала снегом и холодом, и от холода склеивались ноздри. Она потеряла нос варежкой. Поднимался и креп ветер, и на ветру радостно, пожаром, развевались знамена, и в сиротской белизне метели жарко сверкали тяжелые золотые кисти, что свешивались с древка.

Девочке в уши вдунул веселую мелодию духовой оркестр. Грянули, бацнули друг об дружку медные тарелки. Оглушительно задудели трубы. Толпился и прибывал народ, обнимая серебряную сковороду площади. Восемь утра, а пол-Москвы тут. Глаза девочки восторженно глядели на зимние формы войск. Она не знала, чем артиллеристы отличаются от пехотинцев, пехотинцы – от зенитчиков, зато вот моряков она сразу узнала – по бескозыркам.

«Чайка смело пролетела над седой волной...» Марш, гремевший извне, задавил нежную песню из любимого кинофильма. Оркестр звенел и грохотал. Посреди снега, льда и смерти шла жизнь, и она уходила на фронт. Парни чеканили шаг: кто улыбался, кто плотно сжимал губы и зубы. Девочке захотелось уйти вместе с ними. И она подалась, потянулась вперед.

Ножки в валенках переступили на снегу. Метель била по щекам. Она сняла варежку и вытерла щеки, как от слез, голой ладонью.

Во все глаза Ника глядела на красный мясной мрамор Мавзолея – там, на трибуне, их вождь, их правитель. Товарищ Сталин, вот она видит в метели его доброе широкое лицо, его пышные усы! Он улыбается и машет ей, ей рукой!

На самом деле вождь стоял далеко, и лицо его было в слепых вихрениях снега неразличимо. Рядом со Сталиным навтыжку стояли люди. Военные? Штатские? Девочке было все равно. Это были взрослые люди, и они играли в свою игру. Только война не была игрой. Она касалась их всех. Людей, зверей, птиц. Детей.

Товарищ Сталин сказал – враг не возьмет Москву. Никогда. Что он скажет сейчас?

Ника напрягла шею, выпрастывая ее из шали и шарфов. Площадь перед ней заслонили люди – они все подходили и подходили, и девочка путалась у них под ногами, ее отталкивали, затирали, ей отдавливали сапогами и башмаками ноги, и подшитые свиной кожей валеночки все скользили и скользили по наледи, и все

стреляла и стреляла в лицо белая дробь пороши. Как увидеть? Как запомнить? Она же не видит ничего!

Девочка, как собачка, стала юрко, скользко, деликатно пробираться ближе, ближе к брусчатке, по которой шли солдаты, ныряя между расставленных широко ног, проскальзывая под шинелями и ватниками, протискиваясь между широких обтрепанных брючин и модных довоенных каракулевых шуб. Снег лупил наотмашь, метель разъярялась. По краю площади, как по ободу замерзшего черного озера, шел молодой солдат с винтовкой наперевес.

Девочка выкатилась мохнатым коlobком чуть не под ноги марширующим, и солдат этот, почуяв девчонку рядом, как зверька, внезапно и резко обернул голову – и глаза ребенка натолкнулись, наткнулись на глаза рослого парня в теплой армейской ушанке, с торчащими из-под синего цигейкового меха белыми, сивыми бритыми висками.

Светлые ледяные глаза парня все мгновенно схватили – и запомнили: и шаль крест-накрест, и козий белый шарфик, выбившийся из-под воротника, и валенки-утюжки; и эти светлые, небесные глаза – две незабудки, два цветка.

И не крикнуть ничего. И даже не подмигнуть. Не остановиться.

Шаг. Чеканный шаг. Печатать шаг. Ать-два, ать-два.

А девчонка смотрит. Глаз не отрывает.

Ника впиалась в парня глазами – сердце из глотки опять вкатилось под ребра, и она стала слышать его громкий стук и гул. Музыка медно, железно лязгала, истошно кричала. Музыка превращалась из меди в огонь, из огня – в хруст льда и молчанье снега. Девочка отводила снег от лица, как свадебную фату. Разворачивала белую пеленку метели, чтобы схватить и прижать к сердцу ребенка. Война навсегда оставит тебя девочкой, девочка, знаешь?! Не мечтай ни о чем. Слушай рев оркестра. Гляди на героев. Они уходят тебя защищать, и бабушку твою.

Из репродуктора гремел над площадью голос:

– Враг рас-считывал на то, што после перваго жи удара наша армия будит рас-сэяна, наша страна будит па-ставлена на ка-лени. Но враг жэстока пра-считался! Нэсматря на врэменные неуспэхи, наша армия и наш флот геройски ат-бивают атаки врага на пратяжэнии всэго фронта!

Девочка уже видела спину солдата. Он шел, чеканя воинский, строгий шаг, и под подошвами его сапог плавился снег. «Оглянись!» – просила она всей душой, и парень, быстро и резко, будто

равнялся в строю, повернул голову и еще раз поглядел на девочку через плечо.

Глаза ударили. Глаза пронзили. Глаза оттолкнули и вобрали. Глаза поклялись. Глаза засмеялись. Глаза заплакали. Глаза крепко выругались. Глаза обняли. Глаза поцеловали. Глаза родились. Глаза умерли. Глаза запомнили. Глаза забыли.

И только затылок в туго напыленной на башку ушанке, мал раз-мер, да придется терпеть, какой уж выдали, качался в хлещущих белых веревках, в молочных потоках метелицы уже за полшага, уже за десять шагов, уже впереди, уже еле видать, уже таял, уже заслонялся другими солдатскими головами в ушанках и касках, штыками винтовок, – а вот уже и конница пошла, уже зацокали атласные кони по мостовой – тут людей кормить нечем, да как же нам, советским людям, военных-то коней-то прокормить?! ах, красавцы! – и тащили кони тачанки, и грозно торчали из белой живой пелены пулеметные стволы, – люди показывали людям искусство смерти, резцы и кисти, пилы и молотки смерти показывали люди людям: вот, глядите, какие мы brave, как много у нас хорошего и славного оружия, да разобьем мы врага в пух, косточки от него куриной не оставим! – и наплывал, катился из клубящихся серых туч страшный, подземный гул: танки шли, и девочка сжалась, подняла под шубкой плечи, крепко прижала к животу руки в поярковых варежках – она знала, что танк наедет – раздавит гусеницами в красную лепешку, не успеешь оглянуться, – и заливал гул горячим свинцом уши, и кричали люди: ура-а-а-а! – и качались, взрывались алым, золотым огнем знамена в руках у знаменосцев в строю, и, когда один танк вдруг забуксовал, из толпы ринулись люди – толкать, не дать парадую остановиться!

И глядела девочка во все глаза, как люди плечами своими, руками толкали разом вставший посреди Красной площади танк. Девочка шептала, вслух читая надпись на его стальном боку: «Тэ тридцать четыре».

Внезапные слезы застлали ей глаза. Изнутри обдало кипятком неистойвой гордости. Мы победим, шептала она себе, мы победим! Такое оружие! Такие солдаты! Она внезапно стала гордой и взрослой. Детство улетело голубем. Парило над головой. Она сдернула зимнюю вязаную шапку и бросила ее в воздух, а поймать не сумела, и шапка, старательно и любовно связанная бабушкой Шурой, позорно свалилась ей под ноги, в снег. Девочка стояла с голой головой и не поднимала шапку. Танк грохотал

мимо нее. Она махала рукой танкисту в башне. Может, он увидит ее. Запомнит ее.

Восторг народа нарастал. Танковый гул залил все вокруг – людей, площадь, небо, мостовую, Кремль, Мавзолей, тех, кто на трибуне, и тех, кто внизу. Люди обнимались и целовались. Мокрые лица, щеки ввалились; улыбки режут тесаками черноту и белизну. Сжатые кулаки тяжелее бульжника. Победим! Другого пути у нас нет!

И внезапно музыка оборвалась.

Умерла.

Медная тарелка с размаху в снег полетела. Утонула.

Девочка, посреди плачущей от радости толпы, опустилась на корточки в снег.

Так сидела на снегу – серой, мохнатой вороной.

Ее пинали. Через нее переступали. Ее окликали: эй, что расслаь! Кончился парад!

Ее гладили по голой голове: девочка-девочка, а где твоя шапочка? Потеряла?

Кто-то закутал ей голову чужим шарфом. Чужой запах плыл ей в ноздри, и она узнала его. Одеколон «Шипр». «Шипром» мазал, когда побреется, красную шею ее отец.

А мама душилась всегда «Красной Москвой», и пудрилась пудрой «Метаморфозы».

Ее отец и ее мать воюют. Оба на фронте. Ушли ополченцами.

Бабушка ночами плачет в спальне, а потом встает и полночи стоит у окна, перебирает концы козьего платка.

Голоса, руки, сапоги, лица! Почему народ не расходится? Кричат: не расходись, люди! По сто грамм дадут! В честь праздника!

Надо идти, Ника. Надо уходить отсюда. Ты увидела, что хотела. Глазки твои все запомнили.

Все?

Девочка закрыла глаза, сидя в толпе на корточках, и старательно стала вспоминать.

Она ничего не вспомнила. Ничего.

Ни грохота танков; ни ворон, летающих над Мавзолеем; ни медных валторн в снежном саване; ни железных касок с горками нападавшего снега; ни тачанок и пулеметов; ни гнедых, вороных и чалых лошадей, гарцующих, танцующих на припорошенной

снегом брусчатке не хуже балерин в Большом театре; ни солдатиков-артиллеристов – юных, пухлогубых, нежных, почти детей. Ее старших братьев.

Ни того солдата в синей цигейковой ушанке, с метельными, ледяными глазами.

Ника все забыла.

Дома бабушка спрашивала ее: ну как парад? Ну скорей рассказывай!

Она сама раздевала Нику, стаскивала с нее валеночки, растирала ей замерзшие ноги сухими, ослепшими от радости ладонями. Несла на стол самовар, накладывала в хрустальные розетки прошлогоднее вишневое варенье – как хорошо, что оно сохранилось, всей семьей собирали на даче в Михнево. Тоненько-тоненько отрезала кусочек ржаного хлебца. Ты ешь, внученька, ешь! Ну что же ты не ешь? Ну почему же не рассказываешь мне ничего? Хороший ли был парад? Кто там шел в строю? А танки, танки были? А кони? А где ты потеряла шапочку? Ты не расстраивайся, я тебе другую свяжу!

– Баба Шура, я не буду больше есть варенье. Война долго пройдет. Ты завяжи его марлей и поставь за шкаф. Оно нам еще пригодится.

Ника отвернулась к стене, лицом к старому пианино. Крышка открыта, на пюпитре ноты: «На сопках Маньчжурии». Бабушка разучивала с ней этот вальс. У Ники пальцы заплетались, и она рассерженно била кулаком по клавишам.

Баба Шура, ты не должна видеть, как я плачу. Солдаты не плачут. Через год я вырасту и пойду на войну.

(дети ангел и солдаты)

Дети стояли вокруг трех странных людей.

Дети сбивались в кучу, и разбредались, и шли хороводом вокруг трех; глядели на них во все глаза. Самые маленькие от изумленья пальцы сосали, засовывали в рот, и широко раскрытые глаза наполнялись тихим светом. Кто постарше, хмурился, пытаюсь догадаться, что происходит.

Дети шли-шли хороводом и останавливались, и крепко вцеплялись в руки друг друга. Громко вздыхали. Беззвучно шептали. Что? Сами не понимали. Смотрели, смотрели.

Из всех чувств остались только глаза, и даже речь исчезла и уже ничего не значила.

А трое, вокруг кого дети ходили, как привязанные, молчали, не говорили ничего.

И не двигались. Застыли.

Женщина сидела прямо, чуть выгнув спину. Белое холщовое платье струилось до полу. Длинные рукава, тяжелые складки. Перед ней на коленях стояли двое.

Два солдата.

Один каску держал в руках. Шею вытянул. Так слезно, пронзительно на женщину глядел – светлые глаза кипятком закипали.

Другой каску не снял. А голову склонил и на колени женщине опустил. Щекой к теплому колену прижался. Лицо в сторону повернуто. Глаза закрыты. По грязной, в мазуте и порохе, щеке текут прозрачные, драгоценные капли.

Из-под каски – белая, сивая прядь.

И тот, гололобый, тоже беленький, русый.

Голову чуть повернул. Мальчик какой! Чуть постарше детей, хороводом ходящих.

Женщина медленно подняла руки. Подняла обе руки над головами солдат.

И тот, без каски, тихо положил железную бесполезную, исцарапанную пулями миску на землю, у стоп бессловесно сидящей, и положил ей голову на другое колено.

Так стояли на коленях, головы на колени молчащей опустив.

И вдруг ветер. Шевеленье сизого, голубиногo воздуха. Опахнуло лица детей, хороводы водящих. Дети зажмурились, опять открыли глаза. Чистые, ясные глаза. Глядели.

Дети в свои огромные, чистые глаза обратились, в них перелились.

Глядела многоглазая земная душа на странную недвижимую трицу.

Медленно, медленно опустила женщина руки. Белые нежные волосы заструились с затылка вдоль щек и шеи. Упали метелью вниз. Ладони коснулись светлых, светящихся затылков солдат. Ладони гладили, пальцы ласкали и целовали.

А лицо, лицо поднималось над склоненными головами братьев, лицо летело вперед, и еще накатила волна теплого, а потом вдруг ледяного и жгучего воздуха, и дети повели глазами, и заглянули женщине за спину, и увидели крылья.

Тяжелые. Неповоротливые. Спокойно сложенные. Как две ладони, сложенные в молитве.

Один самый смелый мальчик шагнул. Протянул руку. Растопыренные пальчики хотели коснуться серого пламени крыла. Рука утонула в дрожащих перьях, как в густом тумане.

Мальчонка отдернул руку и схватился за руку девочки из хора. Крепко, больно сжал ее.

Головы солдат лежали на коленях у ангела, и ангел улыбался, и текли слезы, как горькая водка победы, по лицам парней.

И снова тихо, тихо пошли вокруг ангела и двух солдат нежным хороводом дети. Тела их, ноги, руки, белые фартучки и ремешки штанишек таяли, расплывались в налетающем с неба тумане. И все они, дети, на лицо разные были; и все они были похожи. Вздернутые носы. Круглые глаза. На носах веснушки. На скулах румянец. У них у всех были один папа и одна мама.

Мальчик, крайний в хороводе, повернулся к девочке, наблюдавшей за ним с другой стороны тумана, и, разлепив губы, тихо и внятно сказал:

– Что тарачишься, живая? Мы все нерожденные. У нас был папа и была мама, очень красивые. Моему папе поклонялся весь народ. Моя мама снималась в кино. Потом началась большая война, и мама все плакала перед зеркалом и просила у нас прощенья. За то, что убила нас. А потом утирала слезы платочком с кружевами, смеялась и говорила: вам легче на небесах, вы не страдаете, как мы. Мы и правда не страдаем, водим хороводы. Видела, какой ангел красивый? Сможешь его нарисовать?

Николай ПАВЛОВ

СУМБУР,

или Фантазии на тему «Русский стиль»

*Бывают дни, когда, надев халат,
Я, к этой жизни более не годный,
Отдаться дням давно минувшим рад.*

Н.Н. Врангель

Начало XIX века. Уставшим от Буонапарте европейцам необходимо было передохнуть от войн и неурядиц, понять, наконец-то, что же такое произошло? Что это было? Почему столько крови? Хотелось «понять настоящее с помощью прошлого», но для этого надо было «понять прошлое с помощью настоящего» (Марк Блок). Философы, историки, археологи и архитекторы, писатели – учёные умы Англии, Франции, Швейцарии, Германии пытались осмыслить прошедший катаклизм с благим намерением никогда не повторять подобное в будущем.

Не оставалась в стороне от этого процесса самопознания и царская империя – Россия была к тому времени уже неотъемлемой «безвизовой» частью Европы, ее восточной стороной, белое пятно под названием «Тартария» исчезло с географических карт. Н.М. Карамзин и Н.И. Костомаров, С.М. Соловьёв и И.Е. Забелин, М.П. Погодин и В.О. Ключевский давали обильный материал художникам слова, русским Вальтерам Скоттам и Фениморам Куперам. И не только им. Увлечение родной историей, стариной было всеобщим. По воспоминаниям современников, лекции в Петербургском университете посещались не только студентами, но и сторонними слушателями. На лекциях появились дамы! Организовывались даже платные публичные лекции: «В начале зимы 1861 года Ник. Ив. Костомаров прочёл целый ряд крайне интересных лекций и актовая зала была достаточно полна. Стояли морозы, в зале было в пору хоть в шубах сидеть, и, тем не менее, все, помнится, пять

лекций одинаково усердно посещались публикой» (Л.Ф. Пантелеев). Это просто маленькая иллюстрация тогдашней всеобщей любознательности.

Театры не отставали: М.И. Глинка – «Жизнь за царя» (в большевистской транскрипции «Иван Сусанин»), его последователи из балакиревской «Могучей кучки» М.П. Мусоргский («Борис Годунов», «Хованщина»), Н.А. Римский-Корсаков («Псковитянка», «Царская невеста»), А.П. Бородин («Князь Игорь»), в конце века П.И. Чайковский («Опричник», «Чародейка»), а кроме опер пьесы А.К. Толстого, А.Н. Островского – всех и не перечислишь, трогали невидимые струны в душе русского человека.

В Санкт-Петербурге и Москве, да и не только в столицах, появились новые храмы и гражданские ансамбли, созданные архитекторами, воодушевлёнными ещё сохранившимися средневековыми храмами с закомарами и кокошниками, шатровыми куполами и «боярскими» крыльцами. Только в Нижнем во второй половине века появились храмы Александра Невского, Козьмы и Дамиана (взорвали ничтоже сумняшеся в советские времена, чтоб не мешал воздвигнуть безликий «храм» для чиновников от электричества), церковь Спаса, Главный ярмарочный дом, Блиновский пассаж, а заодно «в духе русской старины» поменяли облик Дмитровской башни кремля. Уже в начале XX века «под занавес» правления Романовых в этом стиле было построено здание Государственного банка с его чудом уцелевшим двуглавым орлом на фасаде.

В отличие от архитекторов живописцы-историки оказались в трудном положении – у них не было живого материала для подражания. Портреты современников с деталями одежды в западноевропейской живописи известны с раннего средневековья, не говоря о работах эпохи Возрождения. Наши же художники располагали лишь иконописной традицией, а эта традиция была сурова – иконописец избегал изображать живое, особенно женское, красивое, «дабы не ввести зрителя в прелесть сатанинскую» (И.Е. Забелин). Первые «парсуны» (персоны, т.е. портреты) появились только в XVII веке и были настолько примитивны, что почерпнуть знание о внешнем виде русского человека того времени было очень затруднительно без большой доли фантазии. Правда, имелись ещё рисунки, сделанные иностранцами, посетившими Московию, но они находились зачастую за пределами досягаемости для простого художника. Так и получилось, что живописцам, увлечённым стариной, приходилось добывать информацию о внешнем виде, облике

предков из описей содержимого боярских сундуков, цитируемых учёными-историками в своих сочинениях. Это было время, особенно царствование Александра III, когда станковая живопись на исторический сюжет почиталась главным жанром в изобразительном искусстве, а всё новое, особенно французское, весь этот «импресон», обзывался безнравственным, недостойным.

И в прикладной живописи, а именно так можно, наверное, называть наряду с книжной графикой карточную мини-гравюру, также царствовала историческая тема, да и художники работали талантливые. Популярную и сегодня колоду игральных карт, известную всем под названием «Атласные», создал академик живописи Адольф Иосифович Шарлемань в 1862 году. Тогда она называлась просто «1 сорт». Игральные карты рисовали академик А.Е. Бейдемман, придворный художник Михай Зичи, автор знаменитого памятника «Тысячелетие России» художник и скульптор М.О. Микешин, поработавший и в Нижнем на купца Рукавишникова, а также и молодые (тогда) И.Я. Билибин и М.В. Добужинский. В конце XIX века появилась в продаже колода карт, сегодня в каталогах именуемая «Историческая», а при рождении названная «Высший сорт». Автором-дизайнером её был популярнейший тогда пу-



тешественник, офицер, писатель и художник Николай Иванович Каразин, ныне незаслуженно полузабытый. Каждая из мастей была посвящена одной из национальностей, населявших Россию или воевавших с ней в допетровское время: червы – русские, трефы – украинцы, бубны – поляки, а пики – стилизованный

образ мусульман, которых в царское время всех без разбора именovali татарами.

Все исторические изыскания в литературе, живописи, музыке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, т. е. практически во всех областях русского искусства, продолжались, хронологически начиная с победы над Наполеоном и вплоть до революционного переворота 17-го года, когда увлечение узнаванием прошлого и стремление к самопознанию заменили религией светлого будущего. Когда гордый Буревестник, черной молнии подобный, униженно попросил у вождя мирового пролетариата помилования для известного во всем мире историка Николая Михайловича Романова, виноватого только тем, что родился великим князем, Ленин ответил: – Революция не нуждается в историках! – и подписал смертный приговор. Буржуазная историография умерла, родилась история марксистско-ленинская.

В начале XX века, тогда ещё в нескольких верстах от Петербурга, в селе Александровском по Шлиссельбургскому тракту, неподалёку от местной церкви «Кулич и Пасха», находилась единственная в России карточная фабрика. Работали на ней около 500 человек, в основном женщины. Именно они мочили и разглаживали бумагу, клеили, печатали листы, резали их, подбирали и заворачивали бандеролями колоды. Мужчины выполняли более квалифицированную работу: составляли краски, обслуживали механизмы и литографировали рисунки. Колоды упаковывались дюжинами в пачки. Продавалось более 12 миллионов колод в год.

Именно здесь в 1911 году и были напечатаны новые карты под названием «Русский стиль», отличавшиеся изысканностью рисунка и прекрасным качеством печати. Чтобы авторство изготовителя не вызывало никаких сомнений, на бубновом тузе имелась «сургучная» печать карточной фабрики при Императорском Воспитательном доме, да и на свободной карте вместо джокера был изображён пеликан, кормящий своим сердцем маленьких птенцов, и девиз «Себя не жалея питает» – тогда, в царской России весь доход от производства карт поступал всецело на содержание императорских сиротских домов.

Но кто же всё-таки, художник, кто автор дизайна? Оставалось только гадать.

Некоторые заимствованные мотивы определённо просматривались. Дизайн тузов с использованием щитов татарского типа для обозначения мастей на фоне военной атрибутики не скрывал

влияния уже упомянутой колоды Н.И. Каразина, облачение сокольников, как и вся одежда карточного двора, приглашало в XVII век. Для изображения костюмов у художника не было живой природы, ему на помощь пришёл альбом, выпущенный в Санкт-Петербурге после костюмированного бала в Эрмитажном театре Зимнего дворца на масленицу 1903 года. Члены императорской семьи во главе с императором, приближенные к его особе сановники и высокопоставленные чиновники, офицеры гвардии запечатлели себя в маскарадных костюмах. Эти фотопортреты вошли в альбом, который, выпущенный малым тиражом с благотворительными целями, продавался только участникам, а потому сегодня является украшением очень немногих библиографических коллекций. 173 изображения послужили хорошим наглядным пособием неизвестному художнику.

На масленицу 1903 года, как обычно, гуляли и веселились все: и члены императорской фамилии с удостоившимися приглашения, и простой народ. Танцевали и плясали, обедались блинами с икрой или без. В эти дни газета «Московская жизнь» в статье под заголовком «Масляничный разгул» сообщала: «11 февраля в ресторане Колгушина, помещающемся в доме Крашенинникова, на Покровке, один из посетителей, мещанин Николай Жабров, поев блинов, отказался платить по счёту, поднял крик и произвёл буйство, а дорогою в участок избил дворника крестьянина Чернова» и в тот же день «Дерзость московских «хулиганов» (слово в газете закавычено, потому как ещё совсем новое) последнее время стала переходить всякие границы – на Тверской улице мещанин Ник. Трофимов, 17 лет, неожиданно набросился на одну даму, принадлежащую к аристократическому кругу столицы, и схватил её за волосы. На крик прибежал городской, которым уличный нахал был задержан и доставлен в участок». А из Киева телеграфировали: «Во время представлений в цирке Дурова неизвестные негодяи подбрасывают дрессированным животным отравленные пилюли. Четыре обезьяны подошли, другие больны». Народ веселился от души.

Во дворце отмечали масленицу иначе. «Московские новости», по словам В.А. Гиляровского, газета «интеллигенции, «цивилизованного» купечества, театральной и бульварной публики», сообщила: «11 февраля в Эрмитажном театре состоялся спектакль, а затем костюмированный бал в белом Павильонном зале. В 9 часов вечера последовал Высочайший выход в Павильонный зал Эрмитажного театра. Государь Император был в выходном платье

царя Алексея Михайловича – в кафтане, в опашне* с обшивками в золотой парче, в шапке, с жезлом. Государыня Императрица Александра Федоровна была в наряде царицы Марии Ильиничны, рождённой Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича, из золотой парчи с соболиными обшивками. В уборе Её Величества были крупные изумруды и бриллианты. Великие князья были в кафтанах и опашнях великокняжеских времён царя Алексея Михайловича, а Великие Княгини в костюмах царевен той же эпохи...» Сам же император в своём дневнике записал 11 февраля: «...В 9 часов вечера вошли в Романовскую галерею Аничкова Дворца в костюмах времён Алексея Михайловича.



Оттуда со всем семейством мимо всех приглашённых в Эрмитаж. Остановились в большой комнате и пропустили общество попарно мимо себя. Затем пошли в театр. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. После ужина был небольшой котильон, во время которого двенадцать пар танцевали русскую пляску. Всё вышло весьма удачно и кончилось в 2 ½».

Поясним, что котильон – это танец-игра, включающий в себя несколько видов бальных танцев и игр, с раздачей маленьких сюрпризов. Поскольку по-французски Cotillion – нижняя юбка, то желательно, чтобы они иногда мелькали.

Стоит добавить, что балы – безусловно, европейская традиционная ценность, и в русской историографии считается, что начало

* Старинный долгополый летний кафтан с короткими широкими рукавами..

бальным собраниям в России положил указ Петра I об ассамблеях в 1718 году. Это не совсем так: первый бал в России был проведен на 100 с лишним лет ранее. Кем бы ни был по рождению первый Самозванец, царём Дмитрий I был легитимным, коронованным даже трижды Патриархом Всея Руси – и шапкой Мономаха, и коронной императорской, и казанской шапкой Ивана Грозного. А после венчания с юной Мариной Мнишек 16 мая 1606 года (26 мая по новому стилю) был устроен самый первый бал в Москве, на котором играл оркестр из 40 музыкантов! На следующий день был назначен ещё и бал-маскарад, приготовлены костюмы и маски. Но и одного бала для бояр с полуметровыми горлатными шапками да в тяжёлых кафтанах и ферязях с рукавами до полу, смотрящих исподлобья на пляшущего царя, было непереносимо много. Дмитрия I убили, на обезображенное тело набросили «дьявольскую личину», маску, приготовленную для праздника; труп сожгли, пепел смешали с порохом, и Царь-пушка сделала единственный в своей долгой жизни выстрел, пальнув в сторону Запада царём-неудачником.

Праздничная обстановка, «зала, наполненная древними русскими людьми», уводила Николая к идеализируемым первым Романовым. Казалось – вот оно, сказочное благословенное время: царь-батюшка на Великий пост в церкви стоит по пять-шесть часов кряду, одних поклонов по полторы тысячи творит, а на Пасху сам боярам яйца расписанные золотом раздаёт – кому гусиные, кому куриные, а кому – деревянные точеные, от знатности зависит. Тюрьмы обходит, где колодники сидят, богадельни с ранеными да расслабленными, своеручно милостыню дарует – кому алтын, а кому и рубль, а для нищей братии столы накрывает. Иноземцы же проживают в Москве без боязни и обид, но в отведённых им слободах. Они врачуют царскую семью, воинскую службу начальными людьми справляют, обучают стрельцов, как с новыми пищалями обходиться. И при этом никто не посягает на «древлие» святыни и привычки: перед обедом еду окропляют святой водой, а после обеда спят. В церквях никакого папства. Как говорится, «одежда русская, а материя голландская» (В.О. Ключевский), народ и царский дом едины.

Правда, иностранные потехи потихоньку начинают проникать во дворец: еще будучи ребенком, царевич Алексей играл немецкими картами, купленными в Овощном ряду за 3 алтына 4 деньги, а повзрослев, любил, чтобы «во время вечернего стола в органы играл немчин, трубы трубили и по литаврам били», появляется и

«пакость душевная» – театр: на радости по поводу рождения царевича Петра играли комедию. В некоторых головах появляются мысли, что «доброму не стыдно навязать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов», приходит понимание, что «у нас любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает». Это всё слова Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина. Остальные пока ещё спят, и до и после обеда. Воистину благословенное время. Воплощённой сказкой был последний костюмированный бал в царской России. «Хоть на одну ночь Никки хотел вернуться к славному прошлому своего рода» (вел. кн. Александр Михайлович). Никки – так называли Николая близкие ему люди.

Конечно, до 17-го года ещё оставалось время для балов, еще проводились великосветские феерии при праздновании 300-летия дома Романовых и балы в дворянских собраниях, общественные балы в сословных клубах, да и просто балы в знатных семьях, но такого волшебного праздника, такого аристократического великолепия, такого количества драгоценностей, собранных в одном месте в одно время, больше, наверное, никогда и никому не приведётся увидеть. К нему готовились долго и обстоятельно – проводились исторические изыскания, эскизы костюмов разрабатывали директор Эрмитажа И.А. Всеволожский, художник Санкт-Петербургских Императорских театров Е.П. Пономарёв, придворный художник С.С. Соломко. Штудировали ставшие классикой труды И.Е. Забелина, внимательно рассматривали акварели художника-археолога Ф.Г. Солнцева в его фолианте «Древности Российского государства», работы К.Е. Маковского, А.И. Шарлеманя. Платья, шубы, кафтаны, кокошники и шапки – всё воссоздавалось исторически достоверно.

Да, Николай не ошибался – бал, несомненно, удался: и концерт в первый день 11 февраля с участием Федора Шаляпина и Медеи Фигнер, и котильон. 13 февраля – снова великосветский ужин, затем три специальных танца: русская, хоровод и плясовая, а потом общие танцы – вальсы, кадрили, мазурки, где в качестве кавалеров 65 офицеров лейб-гвардии в костюмах сокольников и стрельцов.

Но... закончен бал. И закончилось для императорской фамилии Романовых благословенное время, когда царица исправно дарила мужу здоровых дочерей, не теряя надежды на появление наследника, когда не было ни «большевиков», ни «меньшевиков», когда из «Искры» ещё не разгорелось пламя. Уже в марте в Златоусте начались рабочие волнения, а в первый день Пасхи – еврейский

погром в Кишинёве. И началось... Сотни терактов, сотни покушений – только из высокопоставленных лиц погибло 2 министра, 33 губернатора, 7 генералов. Для семьи Николая начался путь на екатеринбургскую Голгофу.

Но возвратимся к персонам и персоналиям карточной колоды, выпущенной в успокоенной ненадолго Столыпиным самодержавной России.

Все КОРОЛИ – козырные. Это не каламбур, не игра слов, просто у всех королей стоячие воротники, расшитые золотом и серебром, украшенные драгоценными камнями. Такие мужские высокие воротники в старину, задолго до прихода карт в Московию, назывались козырями, это про щеголя говорили – ходит козырем, а не про картёжника. Богатые кафтаны и покрытые золотом шапки-короны все в драгоценностях и мехах – у кого мех горносталя, а у кого – соболя. Но не в этом надо искать отличия мастей: у каждого карточного короля в руках различные символы власти, именно они индивидуализируют рисованные карточные фигуры. Король пик



твёрдо держит в руке посох с навершием в виде широко раскрытого глаза – символ светской власти. У короля бубнового тоже посох, только уменьшенной длины, по-гречески *skeptron*, а по-русски скипетр. Стержень скипетра изготавливали из ценных пород дерева и из золота, богато украшая верх. Посох-скипетр в левой руке не только символ власти, но и намек на мудрость сердца. Король треф – воин и в руках у него меч, символ силы и свободы. Это атрибут высших военачальников, но поскольку вместе с рукоятью, крйжем,

он олицетворяет крест, то иногда является атрибутом и некоторых святых и мучеников. Под королём червонным подразумевается царь, потому как в руках у него держава, Globus по-латыни, символ земного шара, знак вершины власти – выше царя только Бог.

О ДАМАХ особый разговор, потому как здесь видны уже реальные прототипы.

Дама трэф. Фотография Д. Асикри-това, выполненная для альбома с участниками бала, не оставляет никаких сомнений: наряд полностью, до малейших деталей скопирован с костюма блиставшей на этом балу старшей сестры императрицы великой княгини Елизаветы Федоровны, разве что цветовая гамма самобытна, поскольку фотопортрет сепирован, не цветной. Заметим, что речь идёт только о костюме – лицо по многим причинам, в основном этического характера, конечно же, другое – изображение на игральной карте особы императорской фамилии в то время могло быть воспринято как неуважение или даже оскорбление. Двурогий кокошник, бытовавший в старину в Нижегородской губернии, в виде большого полумесяца с опущенными острыми краями, с наатыльником из мягкой ткани, закрывающим волосы. Очелье в крупных ярко-алых гранатах, белые пуховые шары с бриллиантами, бахрома из золотых нитей, золотые рясны, украшенные изумрудами – всё это поражало красотой и богатством даже самую изысканную публику. Кроме головного убора, подчеркивающего красоту княгини, ферезезя с разрезными рукавами, отороченная соболями и усыпанная драгоценностями, несметное богатство ожерелий – всё говорит: смотрите, это великая княгиня!



Для живого прообраза этот бал, возможно, один из последних счастливых моментов великосветской жизни: ей 38 лет, и она в расцвете женской красоты открывает главный зимний праздник, танцуя первой парой вместе с «боярыней» Зинаидой Николаевной Юсуповой. Уже двумя годами позже её муж московский градоначальник Сергей Александрович Романов был разорван на куски бомбой, брошенной террористом-фанатиком Иваном Каляевым. С этого трагического момента начался совершенно другой, подвижнический этап жизни великой княгини. Все драгоценности, принадлежавшие лично ей, были проданы, и на эти деньги создаётся обитель с двумя храмами, больницей, аптекой, детским приютом и школой для бедных. Во время войны Елизавета Федоровна организовывала помощь фронту – формировала санитарные поезда, покупала лекарства, помогала раненым солдатам. Те, кому она помогала, пришли за ней 18 июля 1918 года, а затем живой сбросили в старую выработанную шахту в 18 километрах от Алапаевска. Во время первого (оказавшегося и последним) успешного наступления Колчака зимой 19-го года останки замученной княгини были извлечены и после долгого путешествия с отступающей Белой армией по Сибири, через Шанхай и Порт-Саид привезены в 1921 году на Святую землю, в Иерусалим, где и упокоились в храме Марии Магдалины. В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил принцессу Элизабет Александру Луизу Алису Гессен-Дармштадтскую, в православии великую княгиню



Елизавету Федоровну, к лику святых новомучеников России. Существует икона «Убиение преподобномученицы Елисаветы и иже с нею», на которой красноармейцы в буденовках прикладами сталкивают княгиню в шахту старого рудника. И иже с нею...

Червонная дама в костюме боярыни с фотографии Ф. Боссона и Ф. Эгглера. Сегодня это фото находится в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, а сам костюм, как это ни удивительно, сохранился и даже экспонировался в числе себе подобных на выставке в фойе Эрмитажа в 2003 году (всего со-

хранилось 12 костюмов участников костюмированного бала). Одежда червонной дамы – произведение портнихи Ивановой: фрезеза до полу с резными «спустя рукавами», шелк, бархат, атлас, золотой глазет, изумруды, яхонты и жемчуга, жемчуга, жемчуга... Украшение лица – кокошник по рисунку Фаберже – неизвестно где находится, да и уцелел ли? Кто из семейной фирмы Фаберже рисовал эскизы – непонятно, ведь у Карла Густавовича было четыре сына да с десяток художников-модельеров. Фамилии не затерялись: модельеры Ф. Ирбаум, А. Ивашов, Е. Якобсон вместе с одним из сыновей главы фирмы, Агафоном Карловичем, после Гражданской и на советскую власть поработали.

Справедливости ради надо сказать, что Агафон Фаберже все же не прижился в новой России и в 1927 году перебрался в Финляндию, как Ленин, по льду Финского залива, ночью. А братья к тому времени уже 10 лет проживали в Париже накопленное. Кокошник Фаберже – полукруглый, украшенный золотошвейной вышивкой с изумрудами. Такой кокошник носится с налобьем из витых золотых нитей и прикрепленным сзади платком из кисеи или шелка, назатыльником, закрывающим волосы замужней женщины. Рясны, ниспадающие жемчужные нити, ожерелья на груди и жемчужины, свисающие с налобья, завершают всё это великолепие. Что же касается самой хозяйки этого чудо-костюма, то судьба к ней была благосклоннее, чем к Елизавете Федоровне: на фото 1903 года – 27-летняя счастливая мать шестерых детей (седьмой, Василий, родился позже) великая княгиня Ксения Александровна, родная сестра императора. Вместе с мужем адмиралом великим князем Александром Михайловичем и семерыми отпрысками она





сумела спастись во время озверелого лихолетья и проживала в Англии, во Фрогмор-хаусе, королевской усадьбе под Виндзором, любезно предоставленном ей в эмиграции королём Георгом V, удивительно внешне похожим на своего двоюродного брата Николая II.

Дама пик задумана как богатая горожанка из ближнего боярско-го окружения. Её головное убранство скорее кика, чем кокошник. Кика – тоже древний русский головной убор, но с высоким передом, который полностью закрывает волосы. Сзади, на всякий случай, надет назатыльник, чтобы не дай бог, не опростоволоситься. На лоб спускается вязаная золотая бахрома, а воротник из соболя и наплечье из горностают говорят о богатстве и душевной чистоте этой дамы. И, конечно, в правой руке обязательный для дамы этой масти цветок.

Судя по сарафану, бубновая дама – сельская жительница из северных районов. Зеленоватый сарафан с белой сорочкой украшен нитью крупного белого жемчуга (на Руси испокон века не любили татарского жемчуга с желтизной) и соболиной накидкой, душегрейкой. Кокошник в виде шапочки, украшенной золотошвейной вышивкой, снабжен небольшими наушниками и назатыльником, к которому пришита поднизь – легкая ткань с жемчугами и бисером, а сверху всё прикрыто платком, заколотым у подбородка. Вот так, по мнению неизвестного художника, одевались российские крестьянки в XVII веке!

По-разному относились к своим слугам на Западе и у нас. В Московии, по словам В. Даля, слуга – это холоп, халуй, хам, а у них – это валет, т. е. паж, оруженосец.

В колоде «Русский стиль» нарисованы ВАЛЕТЫ, царские слуги, а царёвы люди ох не просты. Червонный и пиковый валеты –

стрельцы. В богатых расшитых кафтанах с воротами-козырями, с меховыми накидками, в шапках с отворотами и перьями на польский манер изображены жильцы, а жильцами в то время называли «уездных дворян, живших при государе временно, на воинской службе» (В. Даль). На их военную обязанность намекают копья. А вот бубновый и трефовый валеты – слуги для царской утехы, соколиной охоты, начальный и простой сокольники. Начальный сокольник с соколом на замшевой перчатке, а простой сокольник с



луком для добывания крупной дичи. Бытующее обычно в литературе понятие «сокольничий», если уж быть пунктуальным, относится скорее к старинному дворцовому чину, придворному сану времён Ивана Грозного, ко времени Алексея Михайловича подзабытому, несуществующему. В его время челядь, обслуживающая главную царёву страсть, делилась на начальных и рядовых сокольников, да ещё у сокольников были помощники – сокольничьи поддатки.

Не было в истории большего любителя соколиной охоты, чем отец Петра Великого. Тысячи ловчих птиц – сапсанов, балабанов, кречетов, ястребов – в подмосковных сёлах Преображенском и Семёновском натаскивала придворная челядь для охоты на пернатую и боровую дичь в дремучем сосновом бору. Царь Алексей Михайлович даже сочинил торжественный обряд возведения простых сокольников в начальные, который вошёл составной частью в написанный при нем «Урядник, или Новое уложение и устройство сокольничего пути».

Надо признать, что соколиная охота не пустая забава. Для примера: один оренбургский охотник с соколом по кличке Пострел в течение одного дня добыл 44 гуся! Этот случай описан в 20-е годы XX столетия, а во времена царёвых охот по осени добывали с одним соколом по много сотен куропаток. Охотились на Руси в основном с ястребами и соколами, чаще всего самыми быстрыми соколами – сапсанами. Сапсан вообще самое быстрое живое существо в природе. Как у всех хищных птиц, у соколов и ястребов самки крупнее самцов, именно самка у охотников называется сокол, именно самку дрессируют, именно самку держат на расшитой рукавице бубновый валет, а самец вовсе и не годится для охоты: вес сокола-сапсана 1200 граммов, а самца, которого называют ястребиный или соколиный чеглик, всего-то 600 грамм. Когда охотник подбрасывает сокола, он поначалу летит быстро низом, пугая будущую жертву, заставляя её подняться с земли, а затем взмывает вверх и слёту бьет спугнутую добычу своими сильными длинными пальцами-когтями. На земле соколы никогда не бьют дичь, чтобы самим не разбиться, и некоторые умные птички, утки, например, об этом догадываются и не взлетают при виде сокола.

Ястребы для охоты бывают двух видов: большие – тетеревятники и маленькие – перепелятники. Они не такие стремительные и резкие, скорее даже медлительные, а потому могут бить и сидящую на земле, на воде или на ветвях жертву. Поскольку сокол дама, то и одёжек у неё великое множество: шляпка, называемая клобучком, закрывающая её лупоглазье, чтобы не отвлекалась по пустякам, бархатные нагруднички, а вместо юбки расшитый нахвостник. Кроме одёжек на ногу надевается замшевое кольцо, обнож, через которое пропускают ремешок, притягивающий птицу к перчатке хозяина. На ноге подвешивают ещё и бубенчики – колокольцы, чтобы не спряталась с добычей. Царские любимицы, фаворитки (число их доходило до 400!) украшались жемчугами, драгоценными камнями, одёжки вышивались золото и серебром.

Удивляли своим нарядом русские соколы-сапсаны иностранцев, которые у себя на родине тоже увлекались в то время соколиной охотой. У художника-передвижника А.Д. Литовченко есть замечательная иллюстрация к сказанному – картина «Итальянский посланник Кальвуччи рисует любимых соколов царя Алексея Михайловича». Гораций Вильгельм Кальвуччи, рыцарь Священной Римской империи и член суда в Нижней Австрии, приезжал в Москву вместе с бароном Августином Мейербергом для заключения

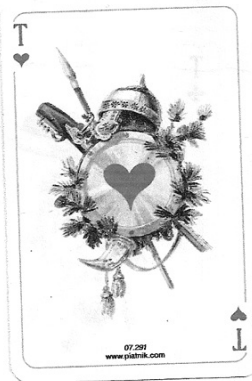
союза между императором Леопольдом Габсбургом и русским царём против турок. Союз не сложился, но портрет любимого «кречета белого цвета с крапинами, с длинными золотыми верёвочками на левом берце и золотым кольцом с рубинами значительной величины на правом берце» увезли послы с собой в Вену. Но кончилось для охотничьих птиц «золотое» время. Пётр был рождён для других дел, и дети сокольников Алексея Михайловича сами стали «соколами» Петра Великого в Преображенском и Семёновском потешных полках, а в Сосновом бору, ныне парке Сокольники, по его приказу прорубили аллею, где молодой царь со своими друзьями-немчинами, к которым и русские не замедлили присоединиться, устраивал застолья на природе, отмечая новый иноземный праздник Первое мая, день весны.

Кроме действующих лиц царского двора в колоде «Русский стиль» представлена прекрасная коллекция оружия того времени, изображённая на ТУЗАХ. Их стиль и мотив позаимствованы у Н.И. Каразина, с его тузов в упомянутой ранее колоде «Высший сорт» 1897 года.

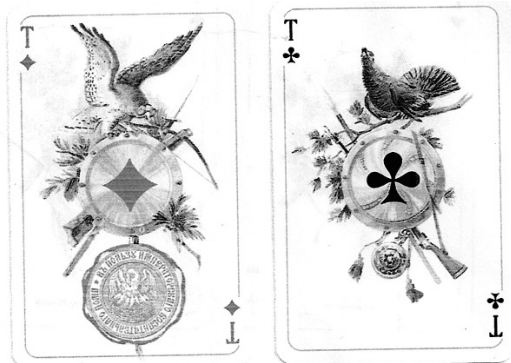
Татарский круглый щит талпан, пришедший на смену продолговатому щиту руссов, используется в центре карты для обозначения масти. Оружие соответствует профессиям валетов: пика и черва с боевым оружием, бубна и трефа с охотничьим.

Туз пик только с холодным оружием: боевой топор, русская сабля, отличающаяся от азиатских меньшей кривизной, и лук в чехле, налуче. Колчан со стрелами носился отдельно, пристёгнутым к поясу, но на тузе пик его, к сожалению, нет. Зато кожаный налуч, обтянутый зелёным бархатом и украшенный шитьём, прекрасен и принадлежит, несомненно, богатому жильцу – стрельцу.

Другой «боевой» туз, червонный, украшен не только копьём с булатным пером, насаженным на длинное древко, ратовище,



заканчивающееся медным подтоком. При нападении конников подток втыкался для лучшей опоры в землю. Кроме копья показано и «горячее» оружие, уже появившееся у русских воинов в больших количествах. Это ручница, или ручная пищаль. Для того чтобы выстрелить из такого оружия, приходилось стрелцу таскать на себе множество приспособлений: ремень-берендейку, к которому подвешивались сумки с зарядцами, сумка пулечная и, конечно же, пороховница или натруска. Поверх всего этого воинского великолепия нарисован шлем – наголовье, похожий на ерихонку Александра Невского. К венцу наголовья прикреплены на уши, а по всему ободу шлем украшен драгоценными камнями. Такие шлемы носили только князья-воеводы, надевая под них толстые стёганные шапки.



Охотничий бубновый туз показывает самострел, из которого можно было не только стрелять, т. е. метать стрелы, но и кидать маленькие камни. Тетива из воловьих жил натягивалась и отпускалась с помощью спуска, который художник

спрятал за щитом. Имеется на тузе и рогатина, копьё с широким пером, которое называется рожон, на него лезть не рекомендуется. Нарисованная рогатина предназначена богатому охотнику – древко обмотано золотым галуном, чтобы руки не скользили, для охотников победнее к древцу крепили простые металлические опоры, «сучки».

Кроме «холодного» копья туз треф имеет ещё и «горячий» охотничий карабин с пороховницей. А если положить рядом «охотничьи» тузы, то увидим и ястреба-тетеревятника и его жертву, токующего глухаря, распустившего хвост и потерявшего от любви слух.

Карты, напомнившие о костюмированном бале 1903 года, стали популярны, и вплоть до закрытия карточной мануфактуры в 17-м было выпущено несколько миллионов колод с изящными рисун-

ками карточного двора, со свободной картой с пеликаном вместо джокера, ковровым узором на рубашке и элегантным золотым обрезаем. В 1918 году молодая новая власть попыталась опять открыть фабрику, но нехватка топлива и материалов не дали возможности наладить производство карт для революционных солдат и матросов. Заработала по-настоящему фабрика лишь с приходом нэпа, а и в январе 1923 года начинался выпуск продукции, не новой – печатали со старых «камней», только джокер вместо пеликана стал шутом – ведь императорских воспитательных домов уже не существовало, да и прибыль шла не на содержание детских колоний для беспризорников.

Рубашка карт претерпела кардинальные изменения – более 200 различных картинок побывало на обратной стороне королей, дам и вальтов за время советской власти: Аленушки, Иванушки, Руслан с Черномором и даже Суворов при переходе через Альпы. В конце концов, наверное, кто-то из партийного руководства во время преферанса обратил внимание на это многообразие, и в конце 50-х годов было дано партийное поручение художнику Ю.П. Иванову привести в соответствие лицевые и оборотные стороны «Русского стиля». Юрий Петрович очень серьезно отнёсся к заданию – более 100 (!) эскизов было создано этим большим мастером книжной и карточной графики, проделавшим, кроме того, очень важную и трудоёмкую работу по переходу на новые способы печатания карт. В 1973 году колоду переименовали – она стала называться «Сувенирная», на рубашке появился рисунок из «области балета», но прежнее название не забылось – в 90-е годы австрийский Piatnik выпустил большим тиражом «Русский стиль». А затем испанские Fournier Vitoria и Keef Manufacturing в Барселоне перевыпустили эту колоду под названием Traditional Russian. Обратная сторона, рубашка, испанских карт, в отличие от австрийских, не повторяла оригинальный орнамент. Про китайский вариант говорить не хочется – напечатать-то они напечатали, и большими тиражами, но качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Вернёмся в «Прекрасную эпоху», время оптимизма, научных открытий и создания новых технологий, в эпоху процветания европейского изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, в Belle Époque. В 1887 году известная немецкая фирма V. Dondorf, специализировавшаяся в основном на выпуске игральных карт, подарила любителям карточных игр колоду ROKOKO № 158.

Шикарные игральные карты с золотым обрезом были напечатаны новым тогда способом хромолитографии в 16 цветов. Это непростое дело – идеально совместить 16 разноцветных «камней» при печати, чтобы получить безукоризненную цветную картинку. Но сейчас не о качестве речь.

Внимательно посмотрим на всех четырёх королей. И тут выявляются поразительные совпадения с нашей любимой русской колодой: король пик с посохом, бубновый король со скипетром в левой руке, король треф с мечом, а червонный – с державой, глобусом! В довершение ко всему бубновый валет – с соколом. Сокол, правда, без золотого клобучка, без роскошных птичьих одеяний, но это же Германия, Roko № 158, а не Россия. Два валета с алебардами, в доспехах, а третий, в дополнение к бубновому, охотник, с рожком и луком со стрелами. Осталось переодеть королей и валетов, облачить дам в кокошники и соболя – и вот вам карточный фокус: германское РОКОКО превращается в РУССКИЙ СТИЛЬ.

Так оно и было: по договорённости с фабрикой В. DONDORF во Франкфурте-на-Майне, по дизайну немецких художников лучший мастер санкт-петербургской карточной фабрики Михаэль печатает



в 16 цветов карты высшего сорта с золотым обрезом и ковровым рисунком на рубашке, получившие имя «Русский стиль». Фамилии же своих художников В. Dondorf и его наследники не публиковали, а поскольку отношения с Германией в XX веке складывались не всегда наилучшим образом, а временами, прямо скажем, ужасно, то про немецких родителей карт «Русский стиль» старались не говорить. Карточная фирма В. DONDORF, создавшая большую коллекцию замечательных по красоте колод, просуществовала ровно 100 лет и, торжественно отметив юбилей в 1933 году, предусмотрительно прекратила своё самостоятельное существование: к власти в Германии пришёл Гитлер, а семья Dondorf не была арийской.

Стиль – понятие очень ёмкое и разностороннее. Это и характер, и манера изложения, и способ самовыражения национальных особенностей. На стиль влияют эпоха, техника выполнения произведения и даже материальное благополучие или отсутствие оно. Время тоже определяется словом «стиль». Попробуйте перевести на другой язык наше доморощенное «старый Новый год» – ведь никто же не поймёт, а мы понимаем очень хорошо и весело встречаем новый Новый год, а после него Рождество, хотя Иисус родился 24 декабря, а потом заодно празднуем и старый Новый год. То же русский стиль. По-латыни стиль – *stilus*. Заострённая с одной стороны палочка, которой писали по навощённой дощечке. Обратная сторона у стилуса – расширенная, тупая, для стирания написанного. Так и живём, как говорили римляне, *stilum vertere*, поворачивая стиль, стирая написанное чаще, чем кто бы то ни было.

Лирический портрет

Юрий ПОПОВ, Миасс, Челябинская область

ЗАПИСКИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ

Бабушкам, родителям, всем своим, дому

...Мы сжигаем мосты, по которым сюда мчимся, не имея других доказательств своего движения, кроме воспоминаний о запахе дыма и предположения, что он вызывал слезы.

Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы

I

Я ослеп, потому что сошел на нет
Весь тот снег, что обильно укутал землю.
По дороге из булочной горсть конфет
Зажимая в руке, поклоняюсь стеблю,
Что торчит из-под снега подобно мне,
Изо рта выпуская подобье пара.
Спотыкаясь на спинах чужих камней,
Ухожу восвояси. В проулке – свара
Неизвестных собак, что уже никак
Не вольны отозваться на «Шарик!», «Жучка!»,
Потому что сгущается к ночи мрак,
И в дверях магазина опять толкучка.
И опять плывет этот серый дым,
Огибая ветви. И звон церквушки
Оставляет в небе те же следы,
Что моя голова на мягкой подушке.

II

Снова детство. И снова на угольках
Пляшет тот же огонь, что во время оно.
Снова снег. И снова тягучий страх,
Из меня извлекающий отзвук стона.

Что я знаю о смерти? Пока еще
Детский ум не знает ее дыханья –
Вплоть до позднего яблока, что свищом
Нарушает привычное мирозданье.
Это – осень и сад. А пока зима.
И засыпаны улицы. Тихо в доме.
И пока еще сказка, в которой тьма
Убегает от света. Все тихо, кроме
Шебуршанья снега о тело крыш,
Стережущих огонь и покой ребенка,
И еще не ведает спящий малыш,
Что порвется все, что отныне тонко.

III

Снег заносит округу. И в две руки
Возникает мелодия. Это сразу
Говорит об исходе, и все легки
На помин. За что уцепиться глазу
В эту пору, когда неслышны шаги
И деревья спят. Это все, что можно
Говорить. За версту не видать ни зги,
Да и все, что видишь, конечно, ложно.
И ребенок плачет. Зачем тогда
Все эпохи и праздники, если только
Позабить эти слезы?.. Тогда вода
Успевает застыть, и соседский Колька
Вновь бежит на колодец. И два ведра
На его коромысле звенят, как будто
Тоже помнят о бренности. И с утра
Удивишься, что снова настало утро.

IV

Все как будто движется. И не в счет
Трехэтажки горелой унылый остов,
Где таилась почта. Но все течет –
Это ясно ребенку, и это просто
Проявленье времени, что свербит
Надоевшей занозой в мозгу, и точно

Это первый звонок, где еще на вид
Не поставлена мысль, что все непрочно
В этом самом нелепейшем из миров
Или самом прекраснейшем – в том ли дело,
Если дом – самый теплый на свете кров,
И метель – не предвестье чего-то. Белый
Снег укутал всю землю, и этот день –
Самый лучший повод для той прогулки,
На которой всю несешь дребедень,
И слепой фонарь горит в переулке.

* * *

По весенним аллеям, по корочке льда
Мы с тобою пройдем, не оставив следа,

Растворяя все звуки игрой тишины,
Где слова не слышны, не важны, не нужны.

Невозможно ли счастье? Не скажем ответ,
Потому что ни «да» не ответишь, ни «нет».

Только молча друг другу в глаза поглядим:
То не слезы, не слезы, а времени дым...

* * *

Вот свет уходит, и наступает тьма.
Есть от чего, пожалуй, сойти с ума –
Если не полностью, хотя бы наполовину.
В сумерках облака не видны, но все же чисты,
Плавают в небе, и только одной звезды
Свет ударяет мне в спину.

Сумерки – лучшее время, чтобы взлететь
К этой звезде, на лету разрывая цепь
Мелких причинностей, неразличимых взглядом.
С болью в спине оторвавшись от сей земли,
Выдохнешь: «Господи...» шепотом, криком ли,
Смотришь – а Он уже рядом.

Декабрьский этюд

Снег засыпает крыши, засыпает заборы.
Снег засыпает город до последнего фонаря.
Снег заглушает речь, досужие разговоры,
Снег заглушает голос хриплого пономаря,
Что читает Часы монотонной скороговоркой,
Успевая поправить лампаду, где чахнет фитиль.
«Благословенно Царство...» тоже звучит негромко,
Не громогласно, переходя на высокий штиль.
Ранняя Литургия темным декабрьским утром.
Дворник на паперти все размечает снег.
Все как всегда. И всегда как будто
Двери открылись в иной, безымянный век.
Век, неподвластный времени и пространству,
Сильным земли, да и смерть уже не у дел.
Лишь за алтарным окном – темень, и с постоянством
Снег замечает Божий земной удел.

Осенняя элегия

Снова клин журавлей бороздит небосклон,
Снова дождь моросит, и заплаканы окна,
И шуршание листьев похоже на сон,
Нисходящий на села и градские стогна.

Снова осень в России. Как будто всегда
Нам дается великое время покоя,
Стороною обходит любая беда...
Только вряд ли в России возможно такое.

Вот и пьяный бродяга на лавке в саду
Обжигается водкой холодной и слезы
Снова наспех глотает в табачном чаду,
И клянет и судьбу, и суму, и морозы.

Только воздух нездешним уже полонен,
И незримая мета положена свыше,
И все так же и листья шуршат, словно сон,
И все так же и дождь барабанит по крыше.

* * *

...И снова, как было когда-то давно,
Цветут золотые шары,
И маревом воздух заходит в окно,
Как призрак незримой жары.

Стрекочут кузнечики, и, впопыхах
Сбегая к прохладной реке,
Вдыхаешь дурман отцветающих трав
И машешь тростинкой в руке.

Вполнеба пылает закат, а за ним
Покой голубой глубины,
В которой ты вечно храним и любим,
В которой и встретимся мы.

Далекое – близкое

Михаил ГРАЧЕВ,

заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

БИТВА ПОД АУСТЕРЛИЦЕМ

Небольшая зарисовка Грачева написана в стиле весьма сегодня распространенного жанра альтернативной истории. Механизм в этом жанре, как правило, один: делается допуск-предположение «что было бы, если бы» и рассматривается вариант истории с действием этого допуска. Например, если бы Сталин умер в 20-х годах или, наоборот, умер позже в 60-х. Встречаются довольно неожиданные допуски, например либеральный Сталин, аполитичный художник Гитлер, царский жандарм Берия, удачливый Николай II и т. п.

Грачев предполагает допуск: Суворов не умер после Итальянского и Швейцарского походов и назначен командующим русскими войсками в битве при Аустерлице. В результате французы биты, восстания декабристов не было, крепостное право отменено Александром I. Ключевая сюжетная линия, на мой взгляд, возможна и интересна: Наполеон или Суворов победили бы в схватке, кто более талантливый полководец, и т. п. И на самом деле, два фантастически талантливых полководца живут в одно время, но не встречаются. Оба отдают друг другу должное, но сравнивать их приходится лишь косвенным образом. Так, Наполеон захватил Италию за три года (1796–1799) в войне не с самыми сильными войсками того времени – итальянцами и австрийцами. Суворов освободил Италию за полгода (апрель – август 1799) в войне с самой сильной армией того времени – французской. Загадка остается нерешенной. Тем и интересен сюжет, позволяющий поразмышлять и тем самым выявить скрытые и недостаточно выявленные стороны истории.

В то же время автор делает еще один скрытый допуск-предположение о хорошем искреннем патриоте царе Александре,

восхищаемся Суворовым, освобождающем крестьян и т. п. Признаться, мне это предположение сомнительно. Именно Александр виноват в поражении при Аустерлице, назначил бы он Суворова и не мешал бы ему? Александр двуличен и как полководец никто, но зато он самовлюблен и его любимцем был Аракчеев, крепостник и изувер, способствовавший устранению Суворова из армии при императоре Павле I – с чего бы вдруг «плешивый щеголь, враг труда» (слова Пушкина) стал бы освобождать крестьян?! И все же альтернативная зарисовка Грачева интересна и позволяет поразмыслить над судьбами русской и мировой истории.

Николай БЕНЕДИКТОВ

*Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!*

А.С. Пушкин

Настоятель Троицко-Сергиевской лавры, иеромонах Алексей, велел позвать к себе трудника Никодима. «Вот что, Никодим, хватит тебе отлеживаться в монастырях, его Императорское Величество пожелали, чтоб дрался ты против французского Антихриста – Наполеона Буонапарте. Ни за что я бы тебя не отпустил, но здесь прошу: останови бесовскую силу, разрушающую Божьи церкви, низвергающую христианские троны. Псы излевали на святых! Не попусти торжество кощунников! Благословляю тебя, Никодим, воин-монах, со всем твоим воинством на борьбу с сатанинской силой!».

Прошло уже пять долгих лет со дня громких русских побед в Италии. Трудно труднику Суворову, принявшему имя Никодима, в монастыре. Но «тяжело в ученье – легко в бою». Эту пословицу Александр Васильевич, а ныне трудник Никодим, никогда не забывал. Но не отрешился он полностью от мирского: тайком от всех читал он «Петербургские ведомости». И сжимались его сухие старческие кулачки, когда он узнавал об очередной победе французского полководца.

Именно так и засвидетельствовала история: Наполеон победил в «Битве трёх императоров» объединённое русско-австрийское войско, разгромив его достаточно легко. Л.Н. Толстой приводит в «Войне и мире» убийственные слова полководца М.И. Кутузова перед боем: «Я думаю, сражение будет проиграно». Как, знамени-

тый Кутузов – и сказал такое?! Ох, и погрешил «матёрый человечище» на великого полководца: не мог военачальник, да тем более такого ранга и с таким опытом такое произнести, сразу деморализовав своих подчинённых! Но, как бы то ни было, а сражение проиграно...

История не знает сослагательного наклонения, а если бы... Вот попробуем и мы проиграть это если бы... Говорят, повезло Суворову, что Наполеон был в то время в Египте, а то бы... А может, повезло Наполеону, что он убежал от Суворова во время его Итальянского похода в Египет? А попробуем и мы проигнорировать факты истории: Суворов встретился с Наполеоном. Где? Неужели в 1812 году в России? Помилуй Бог, скажем мы словами Александра Васильевича, гораздо раньше, в 1805 году под Аустерлицем.

...Александр I с нетерпением ждал австрийского императора, идущего со своим войском на соединение, – тогда он покажет Наполеону кузькину мать! Суворов возражал: «Да чего их, антихристов, ждять! Они, ваше величество, меня и вашего покойного тятеньку, императора Павла I уже так подкузьмили тогда в Италии – никогда не забуду!» – «Александр Васильевич, но это же Наполеон! А у нас только две трети от его войска, да ещё на марше к нему идёт подмога!» Суворов подумал: «А ты, ваше величество, ещё и прусского короля подожди!» А вслух сказал: «Да чего их считать-то, басурман эдаких. Врага надо не считать, а бить! Ваше величество, а я уже Багратиона вместе Платовым в обход послал, с часу на час в тыл Наполеону выйдут, так что прикажите готовить войска к атаке!» Его величество потерял дар речи. «К-к-как к атаке? Ведь австрийцы ещё и не подошли?» – «Но ведь и часть войска французского антихриста только на марше, – возразил Суворов. – Ударим да разом со всеми и покончим! А подходящие тоже панике поддадутся да и все вместе и побегут».

А в это время Наполеон смотрел на восходящее солнце и напыщенно говорил своей старой гвардии: «Вот солнце Аустерлица: оно хочет осветить поле нашей победы!» Но тут к его уху озабоченно склонился Мюрат: «Нас с тыла атакуют русские!» – «Какие, к чёрту, русские?! – недовольно воскликнул Наполеон. – Они – впереди!» – «И всё же это так, – возразил Мюрат, – наши еле сдерживают их дикий натиск!» – «Вот варвары! – зло подумал Наполеон. – Только и умеют, что воевать! Ну, мы их сейчас!.. Ней! – позвал он своего безрассудно-смелого маршала. – Проучи негодяев!» – «Я готов, ваше величество!» Знаменитому маршалу некогда было

разбираться: сколько там врагов. Взяв с собой дивизию драгунов, он ринулся в бой, останавливая паникующих и обращая их против врагов. Вот так: с одной стороны неустрашимый Багратион, с другой – неустрашимый Ней. Кто кого?

А перед решающей атакой князь Италийский Александр Васильевич Суворов обратился к ветеранам со следующей короткой, но впечатляющей речью: «Перед вами – антихристово войско. Вы, православные воины, должны разгромить их!» И, подняв высоко большой крест, которым благословил его настоятель Троицко-Сергиевской лавры, он воскликнул: «Сим победиши!» После этого престарелый полководец обнажил шпагу и повёл основную часть армии в атаку: «Вперёд, Христово воинство!»

Удар был слишком внезапен, чтобы сразу остановить бегущих. И Нейю пока это пока не удавалось. Наполеон был также атакован тремя колоннами русских. Изумлению его не было предела. Он впился в подзорную трубу и увидел впереди главной колонны престарелого полководца со шпагой в руке. Бонапарт только скрежестал зубами: треть его войска ещё была на марше. «Ну я ему покажу, этому непобедимому Суворову! – воскликнул он. – Выдвинуть пушки, и угостите-ка русских картечью!»

Поздно!

На французов вдруг обрушились тучи ядер. Это сказала своё слово конная артиллерия, скрытно и заблаговременно отправленная Суворовым ближе к предполагаемой передовой. Ядра и шрапнель косили сынов Франции, вырывая из стройных рядов железных галльских батальонов десятки солдат. Наполеон, сам артиллерист, не мог не оценить грамотной стрельбы русских пушек. Ещё бы! До этого они две недели упражнялись. Суворов гонял их немилосердно. Французы были на грани отчаяния. И тут грянуло громовое русское «ура». Это подошедшие колонны гренадеров бросились в страшную смертельную атаку, сметая всё на своём пути. «Чудо-богатыри! Вперёд! Проучите хорошенько этого зарвавшегося карлика! – кричал Александр Васильевич, указывая шпагой на французские легионы. – Пробейте русским штыком грудь этому галльскому антихристу!»

Французами овладела паника. Дрогнула даже новая гвардия. Лишь старые легионеры, сомкнувшись в каре, решили стоять до конца. Остальные же спасались бегством. Суворов увидел опасность: это гигантское каре могло выправить положение: около него могли задержаться бегущие и организовать достойный отпор! На

это рассчитывал и Наполеон. Глаза его блеснули надеждой. «А тут и подмога подойдёт и возьмём дерзких в клещи», – думал Бонапарт.

«Французы не бегут? – удивился престарелый полководец. – Тем хуже для них!». Он приказал начальнику конной артиллерии, генералу Дохторову, подвезти поближе пушки и расстрелять картечью упрямых. И это был конец: вся французская армия панически бежала. Суворов направлял её бегство. Паника охватила и подходившие французские полки. Бегущие хотели было направиться в сторону Багратиона. Но тот бросил на них последний резерв во главе с атаманом Войска Донского Платовым. Донцы быстро рассеяли уже нестройные ряды галлов. «Мы с князем Петром друг друга знаем», – с гордостью говорил потом Суворов, анализируя сражение. Александр I с восторгом смотрел на старого генералиссимуса. Глаза его сияли от счастья. Ещё бы! Победа над таким чудовищем! И только русским православным войском, без поддержки союзников! Австрийский император, подошедший со своим войском к концу сражения, милостиво улыбался (а в душе негодовал!) всем присутствующим в штабе русским полководцам. «Эх, не дождалось, князь Александр Васильевич, моей армии, – укоризненно сказал он Суворову. – А помните, как громили с принцем Кобургом турок?» – «Так ведь, ваше величество, я посчитал вашу армию резервной. А вдруг у меня не получится – вот тогда-то вы и разбили бы этого хвалёного Наполеона... Кстати, его вместе с Мюратом, Неем и Даву захватили в плен наши донцы. Так Боунапарте долго не хотел отдавать шпагу, фордыбачить начал: вы-де обращайтесь ко мне как к священной особе, я хоть и побеждённый и пленённый, но император Франции. На что мой соратник атаман Платов ответил: «Для меня вы только мятежный генерал, а его величество король Франции ожидает своего часа у нас в Санкт-Петербурге! И уж поверьте, будет вас судить по всей строгости военного времени». Что делать с ними, ваши величества?» Александр I и австрийский император облегчённо вздохнули: Суворов избавил их от неприятной встречи с Наполеоном. Они быстро составили записку Наполеону, чтобы тот подписал безоговорочную капитуляцию всех сил страны. Что тот и сделал, поняв бесполезность сопротивления.

А Суворов между тем разговаривал с императором Александром: «Просчитался, антихрист, решив сражаться в такое время: ведь завтра день Архангела Михаила, слышишь, Миша Кутузов, твой день и всего русского воинства. Не попустил Архистратиг

Небесный нашей оплошности!» У царя Александра в глазах появились слёзы восторга и умиления.

Глаза двух императоров радостно блеснули. «Вот как! – молвил Александр. – Значит, война окончилась...» Но это было ещё не всё. Через полчаса к ставке двух императоров подъезжал бравый лихой казак Сашка Корень, за ним спотыкаясь, со связанными за спиной руками поспешал пленный, привязанный арканом к седлу. «Глядите, – заметил император Александр, – тут какого-то пленного офицера везут». Император Австрии, прищурившись, вдруг удивлённо добавил: «Да это как минимум генерал. Стойте, да это ж... – у него перехватило дух, – сам Боунапарт!» – «Не может быть», – прошептал Александр. В это время донской казак дёрнул пленника за верёвку: «Слышь, Лион, тут, кажись, про тебя заговорили!» – «Эй, молодец! – воскликнул император Александр. – Давай сюда!». Он обратился к пленнику на французском языке: «Кто вы?» – «Я Ваш пленник, но пусть этот варвар-костолом развяжет меня и отдаст шпагу, которую я преподнесу вашим величествам!» Император Австрии благосклонно кивнул, но Александр остановил его: «Это – трофей вашего пленителя, и пусть он у него останется!» Между тем Сашка Корень уже спешился и по знаку императора развязал «Лиона». «А шпажонка, вот она, ваше величество, ни на что не сгодится! Уж больно он ей пырлял в меня. Пришлось отобрать да сломать! Глянь, а на рукоятке-то алмазы! Ну я и давай их выковаривать! Ваше императорское величество, вот они», – и казак-урядник вынул из маленького мешочка драгоценности и протянул русскому императору. «Оставь их себе, мой добрый воин, а шпагу пожалуй мне!» – попросил царь. – И знай, что ты совершил сегодня величайший подвиг, пленив сего злодея, – при сих словах он указал пальцем на французского императора. – Это сам Наполеон Боунапарт!» При этих словах Александр слез с коня, трижды поцеловал его в голову и восторженно сказал: «Жалую тебя, господин урядник, дворянским званием, офицерским чином поручика, поместьем, где сам выберешь! И приходи сегодня к нам на императорский ужин!» Потом, повернув лошадь, стал осматривать поле битвы.

А что было дальше? А дальше Россия крепко встала своей железной ногой на Балканы, тем более что произошло восстание болгар, сербов и греков. И пришлось злобной Турции отдать проливы Босфор и Дарданеллы русским, несмотря на истошные вопли коварного и туманного Альбиона и ворчание недовольной Австрии.

Причём на переговорах с турками Александр I пообещал пригласить Суворова и Кутузова... Этого султан уже не смог перенести. И не было никакого декабристского восстания, потому что некому было подражать безумной части дворян во главе с Рылеевым и Пестелем. И не было никакой отмены крепостного права 19 февраля 1861 года. Оно было отменено зимой 1806 года, а после, в 1809 году, либеральный царь Александр I даровал России конституцию. А попробуйте поспорьте, господа дворяне-консерваторы, с императором-победителем! И потом восторженный Пушкин напишет: «Взойди же, солнце Австерлица! / Сияй, великая Москва!» Потому что это было солнце воина-монаха, генералиссимуса Суворова и русских воинов, православных чудо-богатырей ...

Дмитрий ЛАРИОНОВ

ДОМ ПОЭТА АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В минувшем году исполнилось 115 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти поэта, драматурга, писателя Анатолия Борисовича Мариенгофа.

Осенью 2013 исполняется ровно 100 лет с момента переезда его семьи из Нижнего Новгорода в Пензу.

*Не правда-ли, забавно,
Что первый младенческий крик мой
Прозвенел в Н.-Новгороде на Лыковой Дамбе.
Случилось это в 1897 году в ночь
Под Ивана Купало...*

А.Б. Мариенгоф. «Развратничаю
с вдохновеньем»

Цветок «Великолепный Мариенгоф»

Анатолий Борисович Мариенгоф был широко известен и... не знаменит. Его полного собрания сочинений нет до сих пор. Многие стихотворения и пьесы, такие как «Наследный принц», «Белая лилия» – до сих пор не опубликованы.

Переизданную прозу писателя «поставили на конвейер» лишь в последнее десятилетие. Сегодня ее можно приобрести практически в любом книжном магазине. Зачастую в продаже встречаются лишь три романа: «Циники», «Бритый человек» и «Роман без вранья». Наибольшую известность среди русских читателей получил последний.

Воссоздав образ своего века, Мариенгоф задумывал произведение как часть книги «Бессмертная трилогия» – мемуары, включающие в себя две другие единицы: «Мой век, мои друзья и подруги» и «Это вам, потомки!». Мемуары не только о дружбе с великим поэтом Сергеем Есениным, но и о своем времени, обо всем – светлом и горьком, что было в жизни.

Мариенгоф – родоначальник русского имажинизма, яркая фигура в литературе первой половины XX столетия. Годы его поэтиче-

ского успеха: 1919–1926, время литературно-богемных скандалов, издания поэтических книг «Кондитерская солнц» (1919), «Магдалина» (1920), «Руки галстуком» (1920), «Стихами чванствую» (1920), сборник статей «Буян остров» (1920) и многих других.

Некоторые считают его литератором средней руки, оставившим талантливые воспоминания о своем друге с послевкусием зависти. Другие – что именно дружба с великим Есениным не дала ему окончательно кануть в Лету, третьи и вовсе о Мариенгофе ничего не слышали. Интернет, несомненно, дал его творчеству второе рождение. Не первый год существуют сайты и сообщества, посвященные поэту.

«О Мариенгофе хочется сказать – великолепный. Тогда его имя – Великолепный Мариенгоф – будет звучать как название цветка», – тонко подметил Захар Прилепин. Отрадно, что семя этого цветка начало прорастать в Нижнем Новгороде. Прорастать в доме, из окон которого виден неприглядный задний фасад одного из самых красивых зданий главной улицы города – доходного дома Чеснокова-Кудряшова.

«Живем мы на Большой Покровке...»

Анатолий Борисович Мариенгоф родился 24 июня 1897 года в сердце провинциальной России – губернском городе Нижний Новгород, где и прошли первые 16 лет его жизни. Семья поэта – отец Борис Михайлович, мама Александра Николаевна и младшая сестра Руфина – жила на главной нижегородской улице – Большой Покровской.

В мемуарах, повествуя о своем рождении, Мариенгоф приводит слова матери:

«Вспоминая в своем кругу исторический для Нижнего Новгорода год, мама всегда говорила:

– В 1897-м и наш Толя родился. В ночь под Ивана Купала. Когда цветет папоротник и открываются клады.

Для нее, конечно, из всех знаменательных событий того года мое появление на свет было наиболее знаменательным».

Приезд императора Николая II на Всероссийскую выставку, безусловно, стал для Нижнего событием.

Большая Покровская – самая оживленная улица верхней части города. В дореволюционной приволжской столице она считалась

дворянской, с множеством торговых лавок и магазинчиков, монополек и клубов, пущенной в 1896 году трамвайной линией. На Покровке располагались Никольская, Покровская и Лютеранская церкви – ни одна из них до нашего времени не сохранилась. «Церквей в Нижнем Новгороде было вдосталь, и мы попевали в одну, другую, третью. В каждой съедали кусочек просфоры – это тело Христово – и выпивали ложечку терпкого красного вина», – вспоминает Мариенгоф в романе «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» тот случай, когда он, будучи четырехлетним ребенком, вместе со своей старухой-няней во время Великого поста несколько раз в день принимал таинство святого причастия.

Прошедшие десятилетия не затмили в его памяти приезд в Нижний великого чешского скрипача Яна Кубелика. Выступление состоялось в 1909 году в одном из клубов на главной улице города. Здесь, на Большой Покровской, взяв маму за руку, двенадцатилетний Толя невольно ловил перестуки подкованных копыт и горластые оканья краснощеких уличных торговков.

После окончания частного пансиона, в 1908 году, он был переведен в Александровский дворянский институт. Мечтавший расхаживать в длиннополом мундире и в суконных брюках юноша поступил в учебное заведение благодаря мягкотелости отца, по настоянию маминой сестры. Первая публикация – небольшое стихотворение, вышла в журнале «Сфинкс», единственный экземпляр которого Мариенгоф издал вместе с соучениками, обучаясь в третьем классе. Он часто посещал Николаевский драматический театр, где наблюдал за игрой любимца нижегородской публики Якова Орлова-Чужбинина. Находящийся под впечатлением от «Гамлета», будущий писатель даже купил костяной череп, который долгое время лежал у него на письменном столе. Субботние зимние вечера зачастую проходили на обнесенном снежной стеной Чернопрудском катке, где для отдыхающих играл духовой оркестр.

Спустя несколько десятилетий он напишет: «Мой город дорог мне, мил и люб таким, какой был при разлуке, – почти полвека назад: высокотравные берега, мягкий деревянный мост через Волгу, булыжные съезды, окаймленные по весне и в осень пенистыми ручьями. Город не высокорослый, не шумный, с лихачами на дутых шинах и маленькими веселыми трамвайчиками – вторыми в России. Они побежали по городу из-за Всероссийской выставки <...> пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!»

«Домовладение № 10»

О родителях Анатолия Мариенгофа известно крайне немного. Сведения в Сети зачастую представляют собой всего лишь несколько строчек, в основном следующего содержания: «...в молодости они были актерами, играли в провинции, позже оставили театр...» или «...родился в семье обеспеченного еврея-выкреста, врача, у которого была врачебная практика в Нижнем Новгороде. Его мать и отец происходили из разорившихся дворянских семейств...» В Центральном архиве Нижегородской области на мой запрос о каких-либо упоминаниях о семье Мариенгофа, предоставили информацию с копий различных документов, на основе которых о родителях писателя теперь можно сказать подробнее.

Александра Николаевна Мариенгоф (урожденная Хлопова) – нижегородская купеческая жена Бориса Михайловича Мариенгофа. Их брак был зарегистрирован 26 сентября в 1894 году – указано в «Посемейном списке мещан Н.Н. за 1895 год». В Нижнем Новгороде Александре Николаевне принадлежал деревянный одноэтажный дом с мезонином, находившийся в первой Кремлевской части, как сейчас бы сказали, в самом престижном месте города. В 1910 году его стоимость составляла 301 рубль. Ей же принадлежал деревянный дом на Мызе – 3 участок, № 664.

Борис Михайлович Мариенгоф – окончил привилегированное учебное заведение в Москве. В 1885 году отбывал воинскую повинность, будучи зачисленным в ратники ополчения. Был перечислен из мещан города Митава (губернский город Курляндской губернии) в нижегородское купечество и 4 мая 1894 года новокрещен в Нижнем Новгороде. В Нижегородском ежегоднике «Адрес-календарь за 1911 год» в алфавитном указателе жителей Нижнего Новгорода указано, что Борис Михайлович Мариенгоф являлся торговцем, проживал по адресу: улица Большая Покровская, дом № 10.

Однако не стоит путать его с доходным домом Кудряшова-Чеснокова (улица Большая Покровская, 10/7), так как в настоящее время дому, в котором жили Мариенгофы, добавлен литер и его сегодняшний адрес – Большая Покровская, № 10 «В». Это несмотря на то, что в техническом паспорте эти два дома именуются как «домовладение № 10».

Тот факт, что Мариенгоф жил именно в нем, подтверждает фрагмент письма младшей сестры писателя, Руфины Борисовны Судакковой, урожденной Мариенгоф. В письме, адресованном краеведу,

основателю и первому директору музея Максима Горького Алексею Ивановичу Елисееву, содержится эскиз дома и соседствующих зданий. Путь к дому и сам подъезд Руфина Борисовна указала стрелками.

За время своего существования дом № 10 «В» пережил пока первый и единственный капитальный ремонт. По данным технического паспорта, решение о капитальном ремонте с реконструкцией было принято в конце 1979 года, сдача объекта осуществлена в декабре 1982 года. На время ремонтных работ жильцы переехали в маневренный жилой фонд. Спустя три года большинство из них вернулись в прежние квартиры. Итогом ремонта являлась внутренняя перепланировка – так, на одной лестничной площадке вместо прежних четырех квартир стало шесть, кроме того, была произведена надстройка одного этажа по заднему фасаду здания.

В подъездах, по словам старожилов дома, входные двери были распашные, обиты слоем войлока. Типичная планировка: пол из дубового паркета, коридор, гостиная с угловой изразцовой печью, кухня с русской печью и две смежные комнаты. В теплое время года оконные рамы крепились на круглые крючки, располагавшиеся на карнизе и створках окна. Зимой проветривание комнат производилось с помощью вытяжки в стене, которая закрывалась круглой латунной заглушкой.

В квартирах по правую сторону лестничных площадок расположение комнат было аналогичным. Лишь в первом (левом) подъезде на третьем и четвертом этажах было четыре шестикомнатные квартиры – две комнаты непосредственно над аркой. Предположительно именно в такой квартире и жили Мариенгофы.

«Наша детская комната отделена от спальни родителей просторной столовой и папиным кабинетом». В тексте, помимо перечисленных четырех комнат, так же можно найти упоминание о пятой комнате – гостиной: «Детство, детство! Таким аптекарским нетающим снегом покойная мама окутывала красноватый ствол рождественской елки. Она стояла посреди гостиной и упиралась в потолок своей серебряной звездой».

В этом доме весной 1913 года умерла мать Мариенгофа – Александра Николаевна. Осенью семья переехала в Пензу. Анатолию было 16 лет – он навсегда покинул Нижний Новгород. Впереди сияла непредсказуемая жизнь. Жизнь, о которой он, уже в середине пятидесятых, напишет строки, посвятив их своей жене актрисе Никритиной: «...Как цирковые лошади по кругу, мы проскакали жизни круг».

Ирина ФУФАЕВА

СО СВЕТИЛЬНИКОМ

В подростковые годы мне не давал покоя мой город, точнее, его манящая старина, все еще остро ощущавшаяся даже в начале восьмидесятых. Этот мартовский снег пополам с рыжей глиной, черная сетка ветвей на сером небе. Эти будылья, торчащие из снега, простирающегося до белого Печерского монастыря в полугоре над Волгой.

Серая эта равнина,
Небо сырое над ней,
Солнце и рыжая глина,
Черная сетка ветвей...

Сквозь прозрачный подтаявший снег на древнем Мытном рынке, среди криков «Пирожки горя-а-чие!» и «Капустку бере-ом!» светился оловянный крестик. Я выковыряла его, носила поверх красной водолазки. Это было даже довольно модно. При этом на классных часах вяло проводилось атеистическое воспитание... Одно другому не противоречило, скорее, дополняло.

Сизые голуби обрамляли желтые пятна пшена на белом снегу улицы Провиантской, спускающейся крепкими бревенчатыми домами от Откоса к Ковалихе. Синие просветы виднелись в пухлых серых облаках, когда стоишь внизу за кремлевской стеной, и прямо под тобой – крыши каменных переулков Скобы, а дальше, но все-таки рядом – Волга, и ее далекие заснеженные берега, и небо. А бескрайние леса, начинающиеся за Волгой, глядят на тебя с настроженностью – черемисской, племенной, шаманской, охотничьей. А нарядное небо в картинных белых облаках почему-то неразрывно связано с музейными залами, где живет XVIII век, и классицизм, и поливные зеленые изразцы на парадных печах.

И всегда, когда смотришь на Волгу с кручи, томит желание лететь. Даже просто при виде женщин с обветренными лицами

и набитыми под веревочку сумками, приехавших на набитых же автобусах из волжских сел, всяких там Работок и Кадниц. Или – когда вспоминаешь путешествие с мамой пешком вниз по Волге за вербой...

И много есть другого, с чем надо что-то делать – описать? Но если писать – нужен герой.

* * *

Оказалось, что дело это в нашем «ситуацией прекрасном» городе непростое. У города амнезия. Бог знает почему.

Среди уцелевших мещанских домиков с садами за тесовыми заборами, вдоль узорной ограды волжского Откоса, у кирпичной кремлевской стены с видом на Оку и Волгу не встретишь бродящих теней, духов и героев этих мест.

Питер наполнен тенями. «Весь Летний сад – Онегина глава, о Блоке вспоминают Острова, а по Разъезжей бродит Достоевский». Это правда. По уцелевшим старомосковским переулкам сквозь иномарки проходит, тряся гривой волос, Аполлон Григорьев, едет на паре, иронично посматривая сквозь очки, князь Петр Андреевич Вяземский... На тульских проселках можно увидеть бородатого графа в подпоясанной мужицкой рубахе, верхом...

А Нижний почти пустынен. Разве что по Рождественской в пролетке катит скуластый богатейший промышленник и пароходчик с благообразной старовойческой бородой.

Отчего так случилось? В остатках старины, в тенистых тропинках, уводящих в заросшие дворы, в девичьем винограде, густо оплетающем деревянные «фонари»-мезонины, было еще много романтики, но – никому не нужной, не названной, не понятой. Духи-хранители если и были, то невидимые – никто их в свое время не назвал, не окликнул – и бессильные. Может, из-за этого и легко сейчас крушить бульдозеру каменный особняк позднего классицизма, гореть – деревянным домам с нависшими «фонарями» и полукруглыми окнами...

И все-таки на нижегородских «стогнах» мне удалось кое-что увидеть и услышать. Барабанную дробь, и дудки, и снежную поземку, заметающую и сметающую утлые домишки. А когда она улеглась – вокруг Михайло-Архангельского собора в кремле, на высоком волжском берегу, оказался ровный плац и два одинаковых классических здания, как на чертеже конца XVIII столетия.

Я услышала звук домашнего органчика, латинские канты, увидела взметающиеся полы рясы, умный взгляд, холодную классную комнату, молодые голоса, повторяющие слова варварских наречий... Героем оказался так называемый Дамаскин Семенов-Руднев, епископ Нижегородский и Алатырский в 1784 – 1794 гг. Десять лет на исходе столетия «безумного и мудрого». Человек, который из всех земных запахов предпочел ни с чем не сравнимый запах старинных полуистлевших книжных листов. Фанатичный филолог, историк, лингвист, полиглот и библиофил. Академик тогдашней Российской академии наук. Выпускник Геттингенского университета.

В скромную историю нижегородского XVIII века он въехал по санному пути. За повозкой по немногим темным улочкам, ведущим к архиерейскому дому, следовали груженные возы. В возах были книги.

В этой скромной истории преосвященный остался как организатор культурных приватных вечеров у своих светских друзей и создатель многотомного пятиязычного словаря языков народов, в Нижегородской губернии обитающих: мордовско-татарско-черемисско-чувашско-русского.

Сама эта титаническая задумка человека, обремененного грузом обязанностей «по работе», показывает степень его увлеченности языкознанием. Из архивов понятно, что должность епископа включала в себя хлопоты завхоза – о дровах для семинарии и коште семинаристов, о поправке архиерейского дома... и обязательные ежедневные долгие часы православных обрядов – стоя, в тяжелой золотой ризе, в запахе ладана и воска. Преосвященный привлек к созданию словаря семинаристов – они ездили «за словами» в инородческие селения епархии. Словарь, впрочем, был не закончен, не отделан, не напечатан – за недостатком времени у преосвященного. А в последующие два века вообще как-то растворился в архивах. Видимо, бесследно. С его пятиязычных страниц веяла вьюга, гулявшая в отдаленнейших инородческих уездах Нижегородской губернии, слышались имена языческих богов лесных племен и местные легенды: семинаристам было предписано собирать не только слова, но и мифы и предания.

Исчезновение словаря не удивляет. Удивительно, когда что-то доживает до наших дней. И все же и к рукописному варианту, пока еще он был жив, обращались последующие исследователи финно-угорских языков нижегородского Поволжья. Так что можно сказать, что усилия не совсем пропали втуне – они вошли как своего рода субстрат в научное финно-угроведение.

Ректор семинарии преосвященный Дамаскин ввел для будущих священников наряду с изучением истории, географии, новых европейских языков – обучение местным, «диким» финно-угорским и тюркским наречиям. Прецедент уникальный, за три прошедших века, как я понимаю, ни разу не повторившийся. Чтобы где-то в Нижнем-Горьком, Вятке-Кирове, Симбирске-Ульяновске – словом, на краю финно-угорского мира – учили автохтонные языки, «дикие, бедные»... Дамаскин же ухитрялся на инородческих языках – не только на европейских (!) – проводить в Нижнем Новгороде публичные философские диспуты. К примеру, по вопросу о свободе воли. Сама форма таких мероприятий была перенесена из Геттингенского университета, где он не раз в студенческие годы выступал в качестве диспутанта.

Кроме того, живя в Нижнем, ученый продолжал работать над «Российской Вифлиофикой». Это была удивительная книга – описание абсолютно всех книг, напечатанных к тому времени в России со времен первопечатника Ивана Федорова. За свою жизнь в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде он умудрился все их отыскать и хоть раз подержать в руках, пошелестеть источающими особый аромат старыми листами. Он был первым нашим библиографом. Российские библиографы считают Дамаскина своим родоначальником.

Будучи академиком, преосвященный несколько раз ездил из Нижнего в Питер для участия в подготовке Словаря русского языка, подавал этимологические справки – больше работа не позволяла. Из справок видно, что в то время, до рождения сравнительно-исторического языкознания, Семенов-Руднев уже представлял себе генетическое родство языков и отдельных слов и корней. В частности, древнего корня со значением умственной деятельности, отразившегося в русских словах «память», «мнить» – и, как он указывал, в латинском и других европейских языках. Mental, mentor. Было бы время, мог бы создать его, это самое сравнительно-историческое языкознание. Но времени не было. И он продолжал работать епископом. Так получилось.

Ведь в жизни часто так получается.

Знаете, как бывает, когда тянешь с чем-нибудь, чего все от тебя хотят, а потом все-таки делаешь, и все вроде довольны. Вот так же в затянувшейся молодости тянул, оставаясь ни рыбой ни мясом, непонятым свободным филологом, наш герой, рожденный в баснословно далеком 1737 году волею судеб поповичем в семье

скромного сельского батюшки в Тульской губернии. В свое время, после семинарии, первого ученика приняли в московскую Славяно-Греко-Латинскую академию. Ту самую, в стенах которой томился по математике, химии, физике юный Ломоносов.

Отучившись в академии, Семенов и начал тянуть. В отличие от того же Ломоносова его жизненный путь был предопределен принадлежностью к духовному сословию – ну, пусть не на 100, пусть на 99 процентов. Следующий шаг был ясен, но он его не делал. Ни в монахи не постригался, что открыло бы продвижение по церковной карьерной лестнице, ни жениться не женился, чтобы стать батюшкой, получить приход. Сплошная неопределенность и непонятность. А ведь вновь – первый выпускник. Что с ним делать? Определили учителем в бедную Крутицкую семинарию, ютившуюся в холодных кельях московского Покровского монастыря.

Там вновь, но уже относительно легально тянулись четыре года, пока тогда еще не отец Дамаскин, а просто Дмитрий Семенов не узнал о взбудоражившем его душу проекте императрицы и не бросился в Петербург.

Формально он в проект не вписывался. Промахнулся со временем рождения и в ключевой момент уже утерял статус студента. И все же год непрерывного забрасывания начальства прошениями сделал свое дело. Дмитрия Семенова в знаменитый европейский университет таки отправили – в качестве инспектора, сопроводить четырех студентов. Жизнь удалась.

Рубеж 60–70-х годов осьмнадцатого столетия. Милый немецкий городок, владение английских королей, набит учеными мужами, братьями по разуму. В Геттингене Семенов блаженно переводит древние российские летописи на немецкий и латынь, пишет исторические диссертации, толкует на равных с профессорами об этимологии и философии. За труд «О следах славянского языка в писателях греческих и латинских» его избирают членом Геттингенского института исторических наук. Но годы идут, начальство требует возвращаться. Хватит.

Пришлось вернуться в Петербург и снова оказаться перед предначертанным сословным выбором: монашество и церковный чин, либо уж женитьба и приход. Но и тут он тянет и ухитряется навлечь личное недовольство Екатерины. Не просто так одаренных выпускников Славяно-Греко-Латинской академии посылали в Европу на казенный кошт – там, в Европе, из них должны были сделать образованных богословов западного типа. Ими Екатерина

планировала обновить верхушку православной иерархии, придать ей цивилизованность. Достойная цель. А тут один из элементов будущей верхушки ведет себя не как элемент, а как словно бы и вправду существо, наделенное свободой воли. Не принимает монашества, тусуется в филологическо-философских кругах, отыскивает и описывает разные печатные редкости, пишет...

Недовольство было до Семенова доведено, и, наконец, на исходе четвертого десятка он решился. Из Дмитрия стал отцом Дамаскином. И всем стало хорошо, и Екатерина смогла послать его работать епископом в сложную Нижегородскую губернию, где было много раскольников и иноверцев, и нужен был человек терпимый, просвещенный, либеральный. Не православный фанатик. Он как раз не был фанатиком.

И вот тогда-то и отправилась санная повозка из Санкт-Петербурга напрямик в скромную, бедную на героев нижегородскую историю. За ней – семь возов с книгами. И начались хлопоты о дровах и починке архиерейского дома, о коште для семинаристов, долгие службы и поездки по губернии. А в просветах между этими делами – просвещение, освещение огнями темных залов, приглашение в них неизбалованной нижегородской публики, как оказалось, жадной до умных, ученых речей. А в совсем уж остаточных щелочках – чистые филологические радости, «Вифлиофика», словарь, подготовка этимологических справок.

...На исходе нижегородского десятилетия епископ все же попытался вернуться к науке по-настоящему. Нижегородец Яков Горожанский, составивший в XIX веке тоненькое «Жизнеописание преосвященного Дамаскина, епископа Нижегородского и Алатырского», глухо упоминает о «несчастном его письме императрице, в коем преосвященный просил позволения уйти жить на покое и заниматься наукой как частное лицо...» Письмо Екатерине, конечно же, не понравилось. Последовала «несчастливая поездка в Санкт-Петербург с целью объяснить, что еще более ему повредило в глазах императрицы». По дошедшему собственному выражению нашего героя – «ездил отпрашиваться от епископства». Эта попытка сопровождалась своего рода «информационным облаком». «По различным непроверенным слухам, доходившим до начальства и до самой императрицы, Дамаскин вознамерился оставить управление епархией, жить на покое и заниматься учеными трудами». Слухи-доносы, собственно, повторяли «несчастное письмо», и ничего более, но вносили оттенок, окраску.

Еще начальству в Синоде не нравились те самые приватные культурные вечера («в частной жизни преосвященный отличался общительностью и даже веселостью... любил общество светских ученых людей»). Видимо, в связи с этими вечерами митрополит Гавриил в письме внушал епископу Нижегородскому и Алатырскому «оставить все германские бредни, а приняться лучше за исполнение обетов иноческих».

Доносы исходили и от сельских священников с окраин губернии, которых о. Дамаскин стал заставлять сдавать экзамен на знание грамоты. (До конца XVIII века часть сельского духовенства оставалась неграмотной. Но, если очень нужно, писари находились.)

И наконец, в один прекрасный момент все накопившееся, как нависший на крыше за зиму снег, начальственное недовольство обрушилось ему на голову.

Выгнали его отнюдь не на покой, не на ученые труды, не в частные лица. Монаху дорога в монастырь. Назначили московский Убожеский. Туда бывший преосвященный из Нижнего и отправился, вновь по санному пути, но уже почти без книг, лишь с немногими самыми дорогими. Основное содержимое семи возов было подарено библиотеке Нижегородской семинарии, а больше-то, собственно, имущества у него и не было. В монастырской келье наш герой очень скоро умер. А еще через год огромная империя оплакивала и правда не самую плохую в своей истории правительницу, писавшую нравоучительные пьесы и умеренные законы, усмирявшую бунты, переписывавшуюся с Вольтером...

Что касается героя – не самый интересный, верно? Реальный человек, конечно, это плюс, но не декабрист, не кавалергард, не гардемарин...

* * *

С романом ничего не вышло. Темно-зеленая тетрадь с выписками из скудных архивов, отправилась на шкаф, чтобы пролежать там 20 лет. Некогда было. Надо было ходить на дискотеки, сдавать теорию автоматического управления, историю КПСС, электротехнику и множество еще чего, что никак не лезло в голову, – я училась в политехе. Так получилось. Ведь в жизни, сами знаете, часто так получается. Потом НИИ, «алгоритмы», дружное разгадывание кроссвордов в перерывах... Потом – сжеживание, кашки, Маша и три медведя, 600 строк в неделю на печатной машинке для городской

газеты, экологическое движение, конференции, митинги, снова экзамены, только уже не мои, а сыновей...

И вот я понимаю, что не полностью ощущаю себя, и статьи о хороших людях, спасающих журавлей и сажающих на выжженной земле леса, дела уже не меняют. Надо куда-то идти. Морщась от грамматических ошибок в психологическом онлайн-курсе, выполняю упражнения, но ничего не происходит. И вот в уголке консерваторского кабинета, на неудобном актовом стуле, под умные речи о Рахманинове и о реке музыки, которые говорит преподаватель моему младшему сыну, щелкает невидимый выключатель, отдергивается невидимый занавес.

Передо мной пухлое небо с голубыми просветами, белая церквушка среди снегов, даль какая-то, Волга, что ли... Будылья торчат из снега... И чей это возок, покачиваясь, едет по темным заснеженным улочкам двухвековой давности, родным улочкам моего города? Сам возок тоже подобен темной тени, но в маленьком окошечке горит огонек-светильник. Вспомнила.

Есть точка, где «хочу», «должен» и «могу» сходятся, где они – синонимы. «Я должен это сказать». Собираясь сюда, в уголок вещмешка ты зашил записку с миссией, заданием. Время шло, в стараниях соответствовать легенде ты мог забыть о крохотной бумажке между слоями грубой ткани. Но тянет за душу – непонятно что, и вот ты натыкаешься на вещмешок, разбирая антресоль и зачем-то рассматриваешь подпорвшийся край... и вот эта бумажка с лиловыми буквами... Как же здорово, что я его не выкинул. Как здорово вернуться. Что делать дальше, непонятно, явки утрачены, пароли забыты, навыки потеряны... и все это ерунда, главное — начать. Не будем терять времени. Не все еще сгорело и растворилось, и, возможно, амнезия не полностью накрыла город, и закоулки его могут рассказать о многом. И нам останется лишь записать.

И чей это возок, покачиваясь, едет по темным заснеженным улочкам двухвековой давности, родным улочкам моего города?

Адриан ТОПОРОВ

МОЗАИКА:

Из жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых

А.М. Топоров (1891–1984) – известный писатель и про-светитель, автор легендарной книги «Крестьяне о писателях» (1930). В ней собраны мудрые и точные высказывания неграмотных алтайских крестьян о книгах, мастерски и артистично прочитанных им молодым сельским учителем Адрианом Топоровым. В свое время ею восхищались А.М. Горький, А.В. Луначарский, В.В. Вересаев, К.И. Чуковский, А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, В.А. Сухомлинский и другие.

А лебединой песней А.М. Топорова стала книга «Мозаика». Он говорил: «Многие коллекционеры собирают картины, редкие книги, открытки, почтовые марки, металлические и бумажные деньги, трубки, портсигары, птичьи яйца, спичечные коробки, конфетные и мыльные обертки и другие предметы, а я попытался собрать любопытные факты и эпизоды из жизни ученых, писателей, художников, композиторов, артистов театра, кино, цирка, словом, замечательных людей, создававших общечеловеческую культуру... Я пытался представить героев эпизодов как живых людей в быту со всеми их личными особенностями, иногда странными, чудаческими. В моих миниатюрах нет ничего вымышленного. Все они извлечены из литературных источников и лишь сжато изложены мною».

Около 10 лет Топоров усердно разыскивал в старинной и новейшей литературе эти эпизоды. Писатель был уверен, что собранное им малоизвестно большинству читателей, особенно молодежи, и страстно хотел увидеть свою книгу изданной. Не суждено было: книга в сильно усечённом варианте и небольшим тиражом увидела свет лишь год спустя смерти автора. И сразу же стала библиографической редкостью. Любопытно, что позже она обрела большую популярность среди участников чемпионатов Израиля, Германии,

России, Украины и других стран по интеллектуальным играм («Что? Где? Когда? » и «Брейн-ринг»).

А вниманию читателя предлагается несколько миниатюр из жизни В.Г. Короленко, великого писателя, публициста и гражданина. Он, как известно, поселился в Нижнем Новгороде в 1885 году – после якутской ссылки. Нижегородское десятилетие оказалось едва ли не лучшим для Владимира Галактионовича – и в житейском, и в творческом отношении. Здесь он обрел семью, женившись на Е.С. Ивановской, в этот период появилась его первая книга «Очерки и рассказы», были написаны и изданы знаменитые «Слепой музыкант», «Сон Макара», «Павловские очерки» и проч. Часть миниатюр Топорова о Короленко совсем недавно были обнаружены автором настоящей публикации в Государственном архиве Николаевской области и ранее не публиковались.

Игорь ТОПОРОВ

«Капитал» Маркса в тюрьме

В тюрьму, где сидел В.Г. Короленко (1853–1921), политическим заключенным принесли передачу – книги, среди которых был и «Капитал» Карла Маркса. Строгий смотритель тюрьмы вначале не хотел пропускать эту толстую книгу. Но арестанты убедили тюремщика, что это самая поучительная книга для тех, кто хочет нажать капитал. Тогда страж узилища похвалил книгу, и она беспрепятственно попала к заключенным.

Златоуст обмишулился!

В «Истории моего современника» В.Г. Короленко между прочим рассказал, как тюремный священник, любитель красноречия, произнес перед уголовными арестантами слово по случаю неудачного покушения революционера Соловьева на Александра II.

«При этом, – писал Владимир Галактионович, – с тюремным священником произошло неприятное ораторское приключение. Выйдя на амвон, чтобы объяснить повод благодарственного молебна, вперед настроившись на патетический лад, он начал громко и в приподнятом тоне:

– Дорогие братья! Вот и еще одно священное покушение на злодейскую особу его императорского величества...»

Ворона–корона–корова

Владимир Галактионович Короленко рассказывал В.В. Вересаеву:

– В одной одесской газете в описании коронации Николая II было напечатано: «Митрополит возложил на голову его императорского величества ворону».

В следующем выпуске газеты появилась заметка: «В предыдущем номере нашей газеты, в отчёте о священном короновании их императорских высочеств, вкралась одна чрезвычайно досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит возложил на голову его императорского величества "ворону", читай: "корову"».

Спасаясь от фотографов

Владимир Галактионович Короленко не любил сниматься, фотографы охотились за ним. Одному из них повезло: он застигнул «жертву» в узком переулке, нацелил фотоаппарат и хотел уже щёлкнуть, но Короленко мгновенно закрыл портфелем лицо и пышную бороду. А затем шмыгнул в боковую калитку.

Бабье «открытие»

За участие в революционном движении Владимир Галактионович Короленко сначала был сослан в Берёзовые Починки (Починки – отдельные дворы или маленькие посёлки, расположенные в 2–5 верстах один от другого) обширной Бисеровской волости, на границе Глазовского и Чердынского уездов. Писатель жил в курной избе крестьянина Гаврилы Бисерова.

Такой лесной и болотистой глухомани, как Березовские Починки, он не видел даже в таёжной Сибири. Все починковцы были дикими людьми. За отсутствием в их местности летних проезжих дорог они не знали телег, а для перевозки «лопоти» (вещей) запрягали лошадей в «лодьи» и волоком добирались до ближайшей реки. Затем отпускали лошадь и плыли дальше. Если же надо было следовать еще дальше по суше, они ловили любую лошадь и впрягали её в «лодью».

Самые нелепые суеверия владели умами всех починковцев...

В пяти верстах от жилья В.Г. Короленко, в другом починке, отбывал наказание политический, фабричный рабочий Федот

Лазарев, сосланный за забастовку. Это был высокий красавец, кося сажень в плечах, в сапогах с бураками, в поддёвке из тонкого сукна со сборами и в узорной косоворотке. Подобного франта обитатели лесных дебрей не выдвали отроду. Баб разбирало неуёмное любопытство: да мужик ли он?! И вот однажды на сенокосе, сговорившись, они накинулись на Федота, «повалили на сено... и... произвели насильственное освидетельствование с целью убедиться, что он – такой же человек, как и ихние мужики». Этот случай подтвердил Владимиру Галактионович и сам Лазарев.

Чрезмерная щепетильность

Профессор русской литературы, главный редактор журнала «Мир божий» Ф.Д. Батюшков не выносил неприличных слов. На произведение Брешко-Брешковского «Опереточные тайны» А.И. Куприн написал рецензию, в которой употребил пословицу «Чёрного кобеля не отмоешь добела». Фёдор Дмитриевич нашёл, что слово «кобель» в солидном журнале недопустимо. Исправил фразу так: «Чёрного ... не отмоешь добела».

Рассказал об этом В.Г. Короленко. Тот рассмеялся:

– На Фёдора Дмитриевича это похоже. Он иногда уподобляется питомицам института благородных девиц. Когда у меня было расстройство желудка, один наш близкий знакомый спросил, что со мной. Федор Дмитриевич решил, что слово «живот» произносить неприлично, и сказал: «У Владимира Галактионовича болит "Ж"!»!

Владимир СЕДОВ

БЛИНОВСКИЙ РЫНОК

Он и сейчас, этот рынок, стоит запущенный и закрытый. От него остались только кованые ворота с буквами «ББ» и старой надписью «Торговый Дом».

Когда-то поговаривали, что во времена процветания Нижегородской ярмарки это было место, где диктовались мировые цены на муку. В советские времена он был знаменит тем, что на территории этого рынка в глубине, слева, если заходить с набережной, стоял как бы спрятанный от посторонних глаз пивной ларек, где с самого его открытия торговала «мама Зоя», а в подсобке принимал пустую винно-водочную тару ее муж.

Пиво там было всегда свежее, жигулевское, причем тут же можно было купить пару воблин. Если не нравилась вобла, то можно было самому выйти из рынка и под опорами моста наловить раков, тут же их сварить и, вернувшись на рынок, употребить в хорошей компании с пивом.

Потом началось строительство Чебоксарской ГЭС. И берега стали закатывать в бетон. Развернулась стройка. Раки исчезли. Кругом грязь, трактора, краны. Рынок стал пустеть.

А когда началась перестройка, рынок совсем захирел. Мама Зоя переехала на другую точку. В центр – на Белинку. И рынок отдали мне как захлампленный, никому не нужный элемент советской собственности.

Тогда таким, как я, не назначаемым райкомами капиталистам, отдавали гнилье и все запущенное и заброшенное. Да и то в аренду.

Я со своей командой пришел на рынок, покрутил его, повертел, но так ничего и не мог придумать, что с ним делать. Раньше, может быть, при телегах и больших количествах пристаней и бурлаков он мог пригодиться, но теперь, в век технического прогресса – вряд ли. И уже хотел от него отказаться, как вдруг обнаружили под всем периметром зданий, вокруг рынка огромное количество загаженных,

заваленных земель, бытовым и строительным мусором и фекалиями – подвалов.

Это когда строили бетонную набережную по слиянию Оки и Волги, все сливы, как родниковые с горы, так и канализационные, забили новой набережной, а строительный мусор и бытовые отходы с ближайших домов, чтобы далеко не возить, ссыпали в эти никому ненужные, темные подвалы. А когда-то здесь было великолепное хранилище для муки знаменитого мукомольного «короля» – купца Блинова. Внутри были проложены специальные водоотводы, сооружена великолепная вентиляция и установлен единый для любой погоды температурный режим.

Мы из любопытства откопали один подвал, наиболее сохранившийся. И были поражены великолепием этого помещения. Помимо мусора в этом подвале, нашли огромное количество серебряных и золотых монет, бумажных денег, статуэток и утвари. Все это сдали антикварам. На вырученные деньги наняли бомжей, которые были привычны к помойкам. Те постепенно стали очищать подвалы, один за одним по всему периметру зданий. Откопали два дубовых сундука с великолепным столовым фарфором и серебряными приборами. Потом все это богатство использовалось при приеме Маргарет Тэтчер в ресторане «Колизей», и она восхищалась, кушая из этих и этими приборами.

Так за осень вычистили все катакомбы. Обнаружились великолепные сводчатые сооружения, построенные из обожженного кирпича, на белковом растворе. Как новые.

Я в свое время учился в Ленинграде. Студентом посещал пивные бары в Петергофе и был ими очарован, и не столько пивом, сколько старыми помещениями со сводчатыми потолками и длинными галереями. И когда увидел, что мы откопали, решил открыть здесь первый в Нижнем частный пивной ресторан. С раками, воблой и огромным количеством сортов пива.

К концу 1992 года такой пивной ресторан заработал. В нем было двести сортов пива, всегда свежие раки величиной с приличного океанского омара. На его открытие приехал Никита Михалков, российские министры: Федоров, Лифшиц, Барсуков, Грачев. Прибыл наш молодой кудрявый губернатор с супругой. Его жена, коренная волжанка, сразу принялась за раков и сказала, что это просто чудо.

Пивной ресторан работал, процветал.

Мы продолжали раскопки. Старьевщики и антиквары дневали и ночевали на рынке и из-под полы выкупали у нас все, что мы там

находили. Платили они в основном не деньгами, а материалами и услугами: грузовиками, питанием бомжей, куревом и цементом.

Бомжи работали самозабвенно, не чувствуя ни запахов, ни гнили, и не пугались, даже тогда, когда находили какие-то скелеты. С пуском ресторана работы по подвалам продолжались, и возможно, что по своим масштабам эти катакомбы превзошли бы петергофские, но тут неожиданно трагически погиб учредитель фирмы «Русский клуб», который отвечал за строительство и работу этого объекта.

Я передал рынок вдове, и дело захирело. Пивной ресторан перестал существовать. Но помещение и сейчас существует, но не как пивной ресторан. От ресторана остался только вход в Городецком проулке, вечно запертые ворота с Рождественской улицы и великолепная история этого рынка с непонятным будущим.

Но я уверен, что подвалы этого рынка хранят еще много тайн и неоткопанных сокровищ.

Сергей ЧУЯНОВ

В РИМЕ У ДОЧЕРИ ШАЛЯПИНА

Всем хорошо известен «Портрет Шаляпина» работы Бориса Михайловича Кустодиева. Он известен даже тем, кто далёк от изобразительного и оперного искусства.

Возле этого портрета, как замороженный, всегда стоишь в Русском музее в Санкт-Петербурге в восхищении от мощи таланта модели и такого же масштаба таланта художника, изобразившего гения на своём полотне.

По сути дела, в этом произведении Кустодиев запечатлел в широком смысле Россию, характер её народа, талант его и широту русской души. Это то, чем восхищались во многих странах мира, слушая голос Шаляпина, вобравший в себя просторы родной ему Волги, сверкание самоцветов Урала, лирику русских полей, снега величавой Сибири и вихревое веселье традиционных русских праздников.

Я знал и любил этот портрет с молодых лет и никогда не думал, что встречу с одним из персонажей, изображённых на знаменитом полотне Кустодиева.

Внизу, в левом углу портрета – три фигуры. Это – секретарь Шаляпина Исай Григорьевич Дворищин и дочери певца Марфа и Марина. В руках одной из них – маленькая плюшевая обезьянка, которую мне пришлось поддержать в своих руках. Но об этом позднее.

Марина Шаляпина, с которой мы встретились в её скромном домике возле окружной дороги Рима, родилась в 1912 году. Она была средней дочерью во второй семье Фёдора Ивановича Шаляпина. Брак с её матерью Марией Валентиновной Петцольд Шаляпин оформил только в 1927 году в Париже.

Судьба Марины была такой сложной и яркой, что заслуживает отдельного большого романа или многосерийного художественного фильма: дочь великого певца, красавица, ее замужество за директором кинематографического департамента при Министерстве печати и пропаганды Италии Луиджи Фредди, который работал в правительстве Муссолини, съёмки в фильмах на знаменитой кинофабрике «Чинечитта» (создана, кстати, тем же Фредди), присвоенное ей звание офицера морского флота Италии...

О ней писал Бунин, с ней дружили великие художники и композиторы, такие как Коровин и Рахманинов. Её друзьями были выда-

ющийся итальянский кинорежиссёр Витторио де Сика и гениальная итальянская актриса Анна Маньяни.

В 1984 году, когда происходило перезахоронение праха Шаяпина, который привезли с кладбища Батиньоль в Париже на Новодевичье кладбище в Москве, мы оба участвовали в этом событии, но не были ещё знакомы. Мы встретились с ней только в 2003 году в Риме. Тогда же я записал впечатления от этой встречи, поэтому сегодня не захотел менять настоящее время на прошедшее.

Марина Фёдоровна скончалась в 2009 году на 98-м году жизни.

Домик в предместье

...Итальянская осень – это совершенно чудесное время на Апеннинах. Все вечнозелёное – зелено, а каштаны начинают бронзоветь и ронять наземь золотые листья.

Каждый вечер над римскими холмами темнеют силуэты меланхолических пиний. Кажется, что вокруг звучит музыка Респиги – его «Пинии Рима». В воздухе пахнет лавром, лавандой и розмарином.

В предместье Рима живёт дочь Фёдора Ивановича Шаяпина и Марии Валентиновны Петцольд – Марина Фёдоровна Шаяпина-Фредди. Начав работу над новым большим проектом Нижегородского телевидения «Фёдор Шаяпин», я не мог не встретиться с ней – последней оставшейся в живых дочерью великого певца.

Перед поездкой в Италию несколько раз звонил ей в Рим: на том конце провода слышался низкий женский голос, с небольшим акцентом передающий русскую речь.

Дочери Шаяпина – девяносто один год. Когда отец умер, ей было уже двадцать шесть, поэтому её память сохранила и по сегодняшний день очень многое.

...Мощённая плиткой дорожка ведёт вглубь сада, мимо кустов розмарина и лаванды к небольшому домику.

Из-за тяжёлого занавеса в виде шнуров со стекляшками (защита от мух и бабочек) появляется рука с красивыми перстнями на пальцах, которая раздвигает шнуры, и в этом проёме картинно возникает фигура пожилой дамы. На ней длинное до щиколоток платье цвета асфальта, перехваченное в талии узким тонким ремешком. По плечам на грудь спускается ало-бордовый шарф. Стройную фигуру завершает элегантная причёска.

Сразу вспоминаю о том, что в 1931 году Марина Шаяпина победила на конкурсе красоты в Париже и получила титул «Мисс

Россия». Участию её в этом конкурсе способствовали Иван Бунин и Константин Коровин. Потом она рассказывала: «Папа, помню, к этому отнёсся иронично и потом всё пел, когда меня видел: «Вот взошла луна золотая, тише, чу, гитары звон...» Ну, это я была луна – потому что лицо у меня было тогда такое очень русское, девичье. И круглое. Словом, луна. А папа был человек с юмором».

Марина Фёдоровна любезно приглашает меня в свой небольшой домик из двух комнат. В центре гостиной – большой стол. На нём ваза с виноградом, сигареты, зажигалка, пепельница. Она курит с семнадцати лет («этому меня научила бабушка»), поэтому на каждом из журнальных столиков – своя пепельница, своя зажигалка, и не дай бог переставить что-то на комод, кресло или просто на другой стол.

Наш разговор начался с того, чем больше всего запомнился Марине Фёдоровне отец, какая из черт его характера была главной составляющей его личности.

– Честность. Я думаю – честность. Честность по отношению к работе, к жизни, к красоте, даже к мыслям. Я думаю, что это было главное. Поэтому он и из России уехал и сказал: «Тут я не могу жить и обратно не приеду, пока они – там». «Они» – мы знаем кто.

– Вы были с ним с младенческого возраста. Как он общался со своими детьми?

– Он был очень добрый. Никогда на нас не кричал. Если же был недоволен, говорил только: «Ты почему это сделал? Вот это не надо делать...» И нам хотелось провалиться сквозь пол. Он был ласковый, очень ласковый и очень добрый и никогда нас не ругал. Но один его недовольный взгляд – и мы уже больше никогда не делали того, что так его огорчало.

Марина Фёдоровна предлагает кисть винограда и берётся сварить мне кофе. В этой же комнате за стеллажом с книгами устроено нечто вроде кухни. Хозяйка вынимает из шкафчика кофеварку-эспрессо, и через несколько минут в большой комнате к аромату её тонких духов примешивается бодрящий запах обворожительного напитка.

– В этом году, – ставя чашку с кофе на поднос, продолжает разговор моя собеседница, – лето что-то «подгуляло». Была ужасная жара! Но октябрь в Риме – известной красоты месяц, потому что не жарко, зреет виноград и вообще прекрасное солнце, освещение изумительное. Чудный месяц! Ещё тепло: вот мы с вами сидим с открытыми дверьми и я – босиком.

Крестница Максима Горького

Мы продолжаем разговор, и я осторожно спрашиваю об отношениях её отца с Горьким, которые начинались пылкой дружбой, но претерпели и некоторые испытания.

– Я знаю, что папа Горького очень-очень любил до последнего. Потому что был честным. Если он кого-нибудь любил, он знал, почему так любит. Знаете, бывает так: сегодня любит, а завтра не любит да ещё и предаст. Папа таким не был. Вот Горький – да.

Папа его любил, потому что понимал. Он знал трудности жизни Горького, его болезнь, которая его здорово мучила. Туберкулёз – это не шутка. И потому папа ему всё прощал. Но папа так огорчился, когда Горький начал всю эту историю с книгой «Страницы моей жизни». Горький, наверное, из страха сказал, что это он её писал и что папа не имеет права издавать свою книгу.

На самом же деле Горький просто помог отцу по-дружески советом: поставь то, убери это, передвинь это сюда. Обычные советы тому, кто делает книгу.

Отец писал книжку в Форосе. Я помню, как сидела на полу, а папа диктовал текст. Там была какая-то длинная дама в чёрном, похожая на галку. Она стучала на машинке, а отец диктовал. Они работали каждый день. Форос принадлежал нашим родственникам по маминой линии.

Горький приезжал в гости часто: я видела и сидела у него на коленях. Он же был моим крестным отцом. Моим или моей сестры: нас вместе крестили. Моя сестра уже пела «Господи, помилуй!» с батюшкой, потому что ей было уже два года, а мне – несколько месяцев. Но я это помню. Мама мне говорила: «Это невозможно». – «А я тебе скажу, мама, что в той церкви окна не были такие красочные, был белый и довольно сильный свет. И мы там в купели сидели с моей сестрой. Она и я. Там и батюшка был». Мама удивлялась: «Ты права, потому что это было не в церкви, а дома. Окна были открыты. И свет дневной входил. Как это ты помнишь? Тебе ведь было всего восемь месяцев».

Хозяйка вдруг меняется в лице. Уверяет, что сидит целый день голодная и хочет есть. Тут же достаёт чурек, чтобы разогреть его на плите. Уверяет, что чурек очень вкусный, и отрезает мне кусочек попробовать. Другой ест сама, опрокидывая под него стопку водки. Початая бутылка была предвзвешенно вынута из холодильника.

– Конечно, есть времена, в которых я помню не всё. Я, например, хорошо помню объявление Первой мировой войны. Мы были тогда во Франции, мне было два года. Мы уехали в Англию. Я хорошо помню английский отель: красный бархат, колонки из красного дерева, оркестр. Я хорошо помню музыку, которую там играли, и то, что я ела мороженое.

Окружение

– Я знала столько людей, которые были с папой, что даже не могу всех перечислить. Кого я больше из его друзей любила? Конечно, Рахманинова. И самым ярким из них был Рахманинов.. Потом – Коровин. Рахманинов детей очень любил, шутил с нами, дразнил нас и был очень близок к папе. Они были друзьями. Было много людей, которые приходили и уходили, но они не были такими яркими.

Марина Фёдоровна опрокидывает вторую стопку водки, а я оглядываю комнату, в которой живёт дочь Шаляпина. На стеллажах – книги на итальянском языке. Многие из них изданы ещё до Второй мировой войны. Между стеллажами освещённая витрина, в которой стоит фаянсовая статуэтка, изображающая Шаляпина в роли Бориса Годунова. Рядом с ней – бронзовые древние гвозди и склеенная античная греческая тарелка, найденная хозяйкой на берегу моря.

На стене – огромный портрет хозяйки в молодости, а на стильном комодe – её скульптурный портрет из терракоты времён шестидесятилетней давности. Да, красива была тогда, красивой остаётся и в старости. Здесь же – копия знаменитого коровинского портрета Ф.И. Шаляпина.

Подбираюсь к деликатной теме: знал ли Фёдор Иванович, что творилось в тридцатые годы в СССР? Понимал ли ситуацию в стране?

– А как же ему было не понимать? Папа был удивительнейший человек. Как пророк. Он знал, что будет впереди. Видел человека и знал, что это за человек. Его талант был очень многогранным: талант сценический, актёрский, писательский, талант скульптора, художника. Он ничему специально не учился. Это был тип гения, такого, как Леонардо да Винчи. И вы думаете, что он не знал, что творится в России? Знал.

Бывают гениальные люди, которые гениальны в одной сфере, а другие вещи их не интересуют, они их не понимают. Например, Тосканини. Он был гениальным музыкантом, но в других вещах он ничего не понимал, ему даже не интересно было. Вон на комодe – фотография Тосканини. Она надписана мне – «Очень милой». Он меня очень любил, и я его просто боготворила. Он был особенный человек. Какой замечательный музыкант! Это была музыка, а не человек. Всё понимал в музыке. Когда он дирижировал, это был не оркестр – это была музыка.

Мужем Марины Фёдоровны был Луиджи Фредди. В правительстве Муссолини он занимал должность генерального директора кинематографии в Министерстве печати. После Второй мировой войны его посадили в тюрьму.

На том же комодe в рамке можно увидеть письмо Муссолини, адресованное Луиджи Фредди. Оно написано на бланке газеты «Пополо д'Италия», редактором которой был будущий итальянский диктатор. Луиджи Фредди работал журналистом в этой газете.

– Мой муж попросил редакцию отправить его в Голливуд, чтобы посмотреть и изучить новую замечательную кинематографическую индустрию в США. Это было в двадцатых годах. Он пробыл там месяц или два, не знаю. А когда вернулся, сделал отчёт о поездке. В Министерстве культуры уже существовали отделы печати, театра. Захотели сделать и отдел кинематографии, чтобы построить свою киноиндустрию, и искали генерального директора на эту должность. Муссолини сказал тогда: «Я читал его отчёт. Повидимому, он лучше всех знает кинематограф». Так он стал генеральным директором кинематографии.

Марина Фёдоровна вспоминает, как гостила у доктора Йозефа Геббельса и его жены Марты. Что ж тут удивительного? Луиджи Фредди и Йозеф Геббельс в какой-то степени были коллегами.

Моя гостеприимная хозяйка рассказывает о том, что Луиджи Фредди «сделал итальянский кинематограф». Он начал Венецианский кинофестиваль. «В те времена это было не частным делом, а принадлежало государству», – добавляет она.

На вопрос о том, как сложилась её жизнь, отвечает очень кратко:

– Жила и жила. Болела туберкулёзом целых двадцать лет – и вот курю. Я люблю море. Мечтала стать моряком и стала: окончила Высшую морскую школу и плавала на пассажирских лайнерах пять с половиной лет.

«Все знали, что хоронят Шалапина»

– Марина Фёдоровна, помните, как вы узнали о смерти Фёдора Ивановича?

– Меня не было в Париже, когда папа умер. Это было ужасно, потому что я была в Италии, в Неаполе. Сестра прислала мне телеграмму: «Приезжай». В те времена надо было из Неаполя ехать в Рим и ждать. Потому что аэроплан в Париж летал три раза в неделю. Я приехала в Рим. Пришлось ждать ещё один день. Помню, я побежала, купила пармский окорок, потому что знала, что его очень любит папа, и с этим окороком вылетела в Париж. Выхожу из аэроплана. Отдаю в будку чиновнику паспорт, а тот смотрит на меня и спрашивает: «Вы случайно не родственница вот этого господина?» Смотрю на газету, которую протягивает чиновник, а на ней крупными буквами сверху: «Умер Шалапин».

Я не могу передать, что со мной стало. С этим окороком я села на какую-то тумбу: не было сил, чтобы сообразить, что делать дальше. Какой-то пилот-офицер подвёз меня домой.

Когда я поднялась наверх, то увидела, что папа уже лежал, и возле него был большой крест из цветов белой сирени, который послал ему Рахманинов. Было много других цветов, и среди них васильки, которые папа очень любил. Василёк был его любимым цветком. Люди знали это, и этих цветов было много вокруг его ложа, установленного в самой большой комнате нашей квартиры, в столовой.

Похороны были необыкновенные. Сначала гроб повезли в храм, там отслужили молебен. А потом – уже на кладбище Батиньоль. Когда его везли, останавливались все автомобили, автобусы, прохожие. Все знали, что хоронят Шалапина. Его обожали. Обожали французы, англичане его просто боготворили.

– Вы ведь были на перезахоронении праха Фёдора Ивановича на Новодевичьем кладбище... Я тоже был на этой церемонии.

– Была. Вы помните, что гроб чуть не упал? Шёл дождь... Я вам скажу одну вещь. Я столько ещё должна сделать в жизни!.. Это невозможно, что его разлучили с мамой. Всем, кто это сделал, я прощаю, потому что они – мои братья и сёстры. Они были детьми Иолы Игнатъевны (первой жены Шалапина. – С. Ч.). Мою маму они любили, но всё-таки ревновали папу к ней. И после смерти разделили их.

Папа не хотел этого, и мама не хотела. Как ты можешь делать что-нибудь против воли своего отца? Тем более такое важное.

Я хочу устроить как-нибудь, если мне удастся, чтобы и маму туда привезли. Я чувствую, что они не должны быть разделены.

Папа не мог больше недели находиться без мамы. Он начинал говорить: «Где мать? Где мать?»

Иногда я с ним ездила, и мы шли с ним собирать грибы. «Ах, как чудно! Я свободен, матери нет, и она меня не ругает, что я сахар кушаю!» – восклицал он. У него ведь был диабет. Но проходило два дня, и на третий он уже спрашивал: «Где мать? Давай ей звонить». Он хотел всегда быть с ней, и он был счастлив.

Я должна сказать, что его первая жена Йола Игнатьевна тоже была прекрасным человеком. Он её уважал и любил. Но мама была его двойником. Нельзя их разделять. Это – нехорошо.

В конце нашего разговора она предлагает осмотреть своё «жилище». Большая комната, в которой мы сидели, гигиенический «зал» (ванна, душ)... «А вот это моя спальня. Подойдите сюда...» Я подошёл к простой кровати, застеленной белоснежным покрывалом. Возле подушки была плюшевая обезьянка.

«Вы знаете, что это? Помните папин портрет Кустодиева? На нём мы с Марфой держим эту обезьянку в руках. Так вот, когда папа выступал, мама запрещала нам аплодировать на его концертах, считая это дурным тоном. Тогда он подарил нам эту обезьянку. Когда заканчивалось выступление папы, мы заводили её, и она аплодировала. Сейчас она что-то изломалась, и я никак не могу найти времени, чтобы разыскать человека, который её бы починил».

После почти четырёхчасового разговора Марина Фёдоровна предлагает навестить «местный милый ресторанчик». На часах одиннадцать вечера. Мы выходим из дома. Хозяйка запирает дверь. Тут же срывает благоухающую ветку розмарина и дарит мне («Это вам от дочери Шаляпина»). Потом садится за руль (91 год!), и мы катим в местный паб.

Марине Фёдоровне приносят спагетти с креветками, мне – спагетти с пармезаном и кувшин чудесного итальянского вина. Шоколадный мусс – на десерт.

Вокруг шумно. На этом фоне она выглядит венецианской догессой, вспоминает о встречах с королём Италии Умберто. Потом, погружившись в воспоминания о событиях почти семидесятилетней давности, рассказывает:

– После того как папа умер в 1938 году, я была в Италии и пошла в оперу на какую-то генеральную репетицию. После репетиции я пошла по партеру вдоль дорожки к оркестру. Весь оркестр встал, а вместе с ним и все, кто был в зале. Они аплодировали в память о папе, потому что знали – это дочь Шаляпина.

Лирический портрет

Владимир ИЛЬИЧЁВ, *Красные Баки*

Плед

Обожаю этот плед.
Этот плед подарен мамой...
Был я всюду им согрет –
в неизвестности туманной

и в решимости моей –
деревенской, злой, холодной,
наподобие саней
на дороге непогодной.

Из нахмуренной Москвы
унесла меня лошадка
в край небесной синевы,
где дышать так сладко-сладко...

Согревал меня мой плед,
и подруг моих... Немногих.
Вот уже немало лет
сторонюсь я скороногих.

Иногда от новостей,
от каналов, к нам прорытых –
промерзаю до костей,
до пустой строки на выдох.

От избыточной зимы
мой народ и божьим летом
жжет желудки и умы.
Мне везет – спасаюсь пледом.

Из ворсинок соткан сон:
в темно-синем небе звезды.
Сплю и чувствую: спасен,
отогреты, млеют кости...

Обожаю этот плед,
этот плед – подарок мамы
с пожеланием побед.
Мам! А я – не самый-самый,

но умелый малый, да.
Ох, икнулось даже. Люди...
Ничего, мам, ерунда!
Сердца сын твой не застудит.

Селянин прав

Гуляю по лесам. Все в ажуре!
Их выкупила пришлая знать.
Но я – внук партизана, буржуи,
мои права придется признать.

Мага́зин на селе, тоже чей-то –
торгует тем, что лучше не есть.
Ай, хватит огорода для щей-то –
мои труды придется учесть.

Красавицы села – все по моде,
их учат, что свобода – кабак.
А я переучу на природе –
повышибет и спирт, и табак.

Пацанчики живут героином –
столичный зачастил продавец.
Но вот мой Литгерой с карабином.
Барыга переехал в Пипецк.

Как много их таких, толстоджипых,
Ты в пробках и в ошибках, Москва.

А хочешь о моих знать ошибках –
сначала предъяви мне права.

Самый счастливый день

В этот день я впервые проснусь со своей головой –
без похмелья и заданных кем-то глобальных настроек.
Из кадушки умоюсь прохладной водой дождевой.
Промолчит говорящий сундук о земной катастрофе.

Мне не надобен станет и сам этот черный сундук,
кибернетикой счастья займется ответственный нагель.
И я вспомню, в какой я стране и в каком я году, –
но забуду сухие пайки и намокшие флаги.

И соседка – вчера еще девушка легких манер –
улыбнется сквозь рабицу чести бесценной улыбкой,
у нее будет новенький дом, в доме муж-землемер,
в доме трое детей, детский шкаф с барахлом и присыпкой.

А сосед по другой стороне – записной наркоман –
загремит в мастерской молотком, весь в делах и опилках,
у него тоже будет семья, а не только «маман» –
как он звал ее, чувствуя холод в ненайденных жилках.

А соседа напротив, что был паучком из чинуш,
навестят паладины стыда и раскаянья феи,
тот захочет вложиться в сто сорок обиженных душ,
но не в дымку болотистых мест, где кальяны – как реи.

Безнадежная Марья с окраины встанет сама,
исцеленная запахом трав через окна и щели,
ну а стены заделает – много ли надо ума –
стройотряд вдохновенных ребят – Степанка и Емели.

Я пойду по дороге, любуясь родимым селом,
и здороваясь за руку с каждым, без лести, без понта.
Возле речки лежать будет лодка – над мощным веслом,
под набором кистей-облаков и холстом горизонта.

И ко мне побежит, пробудясь, ребятя – из моих
(ох, задаст им позднее жена за несъеденный завтрак!),
и продолжится сила волны в назидательный штрих...
Этот день я услышал вчера, но увижу не завтра.

Все изменится в корне. И корень – стволом прорастет,
пораскинется в небо свободной вседышащей кроной.
Этот день еле слышен вдали, но идет. Он придет.
Я на хвост наступил – к переменам – змеюке зеленой.

Возвращенные имена

Георгий ЯБЛОЧКОВ

Георгий Алексеевич Яблочков – очень популярный русский писатель начала XX века, ныне незаслуженно забытый. Наш земляк, уроженец города Ветлуги, сын предводителя ветлужского дворянства Алексея Ивановича Яблочкова, по основной профессии Г.А. Яблочков был врачом земской больницы. Сведений о его жизни сохранилось немного; известно, в частности, что он был арестован по так называемому сабунаевскому делу, которое было «разрешено Высочайшим Повелением от 22 января 1892 г.», и попал в число получивших от 1 до 10 месяцев тюремного заключения. Это был не единственный арест – в 1906 г. с 9 мая и как минимум до сентября он содержится в одесской тюрьме по «политической» статье...

Его писательский дар отмечал М. Горький в письме Поссе в 1901 году: «Много обещает Яблочков, – помнишь "Смерть Мюллера"? Он сухо, но талантливо и светло – вернее, резко – пишет маленькие рассказы и, думаю, скоро напишет большой». А вот отзыв лично знавшего его Ивана Бунина: «Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич. Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя...»

Рассказы и повести Г. Яблочкова неоднократно переиздавались в предреволюционное время и в первые годы советской власти. Наиболее известен двухтомник его рассказов, изданный в Издательском товариществе писателей в Санкт-Петербурге в 1912 году.

Хорошо известные Яблочкову особенности природы родного края, быт и нравы ветлужан нашли естественное отражение в ряде его произведений. Вместе с тем тематика его повестей и рассказов выходит далеко за рамки бытописательства, а неоспоримый литературный талант и живой своеобразный язык делает его близким и современному читателю.

СТАРИК ПЕТУХОВ

I

Каждую весну, лишь только в воздухе начинало пахнуть теплом, Елена, жена Михаила, которого когда-то усыновил Петухов, видела, что ее надежды рушатся еще один раз.

Все чаще она выскакивала на крыльцо, с яростью взглядывала на старую избенку, которая лепилась по ту сторону двора, и ею овладевал неудержимый гнев.

Она бешено ругалась со своим смиренным мужиком, ни с того ни с сего давала подзатыльники Кольке и Любке, бурей вылетала на двор и оглушала колом корову, которая не вовремя вылезала из хлева, у нее вырывался наконец отчаянный вопль:

– Да чтой-то Господи! Или и это лето без огорода сидеть! – и она затихала и, вся кипя злобой, усаживалась у окошка ждать.

И в первый весенний день, когда солнце дружнее топило лед, происходило то, чего она с таким отчаянием ждала.

В убогой избенке медленно отворялась дверь, и из нее показывалась согнутая спина.

Медленно и осторожно, держась за гнилые перила, старик Петухов слезал с пошатнувшегося крыльца.

Щуря от света глаза, он крестился и, шатаясь, как пьяный, тихонько брел по двору. Подбирая лапки и отряхиваясь, за ним осторожно пробирался его одноглазый и бесхвостый кот. Они медленно подходили к плетню, кот важно усаживался на бревно – и всем своим гневным сердцем Елена чувствовала, что старик глядит на огород с торжеством.

Весеннее солнце сияло, талый снег слепил старые глаза, мелкими колокольчиками с крыш капали капли, на застрехах неистово чирикали воробьи, и всем своим старым упрямым сердцем Петухов, действительно, чувствовал радость и глубокое торжество.

После долгой и страшной борьбы теперь он наверное знал, что победа за ним.

Он жевал губами, уверенно тряс головой и, глядя слезящимися глазами на огород, бормотал:

– Вот!.. Погоди... Феденька придет... И Аннушка придет... станем, брат, мы тебя обряжать...

И, не оглядываясь назад, он так же, как Елена, нетерпеливо ждал.

Неистово хлопала дверь. Не вытерпев, Елена ураганом выносилась на крыльцо и бешено кричала:

– Ну что? Не поколел еще, старый кобель? Не сдох еще, бессмертная сатана?

Он медленно поворачивался и, сделав рукой над глазами козырек, долго и пристально глядел.

Он долго наслаждался, жевал губами, соображал и потом медленно отвечал:

– Нет, сука, жив еще. Поживу еще, дрянь, поживу.

Яростно плюнув, Елена мгновенно исчезала с крыльца, и старик Петухов с удовлетворенным сердцем медленно брел домой.

Здрав кверху обрубок хвоста, одноглазый кот, разделяя торжество, уверенно следовал за ним.

Они снова влезали в свою развалившуюся избу, и, еще возбужденный борьбой, старик Петухов опять повторял:

– Поживу еще, дрянь, поживу...

Он медленно доставал из стола сухой хлеб, кряхтя, разбивал его топором, кряхтя, наливал в чашку воды, медленно крошил и медленно жевал беззубым ртом.

Нетерпеливо мяукая, кот царапал ему колени, выгибал спину в дугу, и старик ласково говорил:

– Что, брат Котко, поесть захотел? Ну, поешь, брат, поешь!– и бросал ему размокшие куски.

II

Так каждую весну старик Петухов торжествовал свою победу над врагом.

Страшная зима прошла и, как грозное чудовище, оставалась позади, – впереди были весна, лето, осень, – солнышко, свет и тепло.

Весна была голодным временем для него – собранный на зиму запас истощался, хлеб выходил, картофель сгнивал, но все-таки он торжествовал.

Наставало тепло, и он твердо знал, что не замерзнет до будущей зимы.

Каждый день он с котом выходил взглянуть на огород. Из крохотного оконца он зорко следил, как прибавлялся день, и лишь только стаивал снег, – пробирался по мокрой земле на крутой берег реки.

Там стояла часовня, из-под которой бил святой ключ; под горой, стуча топорами, перевозчики уже чинили паром, синяя река спешно несла взломанный лед, и за рекой расстилался бурый, но уже молодеющий лес.

Сидя на бревне, старик Петухов радостно щурил глаза, радостно вдыхал вешний воздух, радостно грелся на первом тепле и с умилением шептал:

– Поживем, брат Котко, еще поживем!..

Мужики и бабы проходили мимо него, останавливались, смеялись и говорили:

– Что, жив еще, дедушка Павел?

– Жив, – равнодушно отвечал старик.

– Поживешь, стало быть, еще?

– Поживу.

– Ну, поживи, старичок, поживи.

Весной деревня вспоминала на минуту о нем.

Вспоминали о том, как он принял Михайлу сиротой к себе в дом, как взростил, воспитал его, построил новую избу и женил, как сварливая Елена начала пилить старика, как он, рассердившись, погнал было ее с мужем вон, и то, что случилось потом.

Грея на солнышке лысину и щуря единственный глаз, Иван Григорьев сидел на завалинке среди других стариков и неторопливо вел речь:

– А нехорошо, мол, рассудили тогда с Павлом-то, нехорошо. Напились миром да спяна-то и порешили: Михайле, мол, с женой тягло и дом, а старичку на пропитание избушку и огород. А дом-то ведь его. Сопляком ведь он взял Михайлу-то, как щенка. Нет, неладно, брат, что и говорить, нехорошо...

– Хорошо ли!.. – хором соглашались старики. – Это, брат, верно, что нехорошо!..

– Ну, да и карахтерный же старик!.. Осердился, царь, – не помру, говорит, не отдам огорода, да и все. А Еленке-то без огорода беда!.. Ха-ха-ха!..

И старики хором отвечали: Ха-ха-ха!..

У колодца Марья Фомина, по прозванию Шпага, басом говорила Елене:

– А и впрямь, Елена, и живуч же старик! Ведь сколько ему годов-то, а все не хочет помирать. Грозит: и Еленку, мол, переживу. Да и право, смотри, переживет.

– Сдо-хнет!– сдавленным голосом бормотала Елена и спешно бежала домой.

Весной вся деревня потешалась над ней, и весной в ней кипела нестерпимая ненависть к старику. Если б могла, она изувечила бы его, как изувечила его кота, и не раз уже украдкой она пробиралась за реку на болото, к колдуну и слезно просила его напустить на двуужильного старика смерть.

III

Время шло. Река вздувалась, выходила из берегов. На той стороне островами всплывал позеленевший лес. Наставала Страстная неделя, и Петухов, надев огромную мохнатую шапку, отправлялся говеть.

Похожий на серый замшевший гриб, он плелся в село за пять верст, через поля и овраги, по мокрым тропинкам, по бокам которых весело проступала молодая трава, – и на сердце у него было тяжело.

– Жив еще, дедушка Павел? – встречали его у церкви мужики и бабы из окрестных деревень и начинали хохотать:

– Молодец, старик...

– Ну что, жив Петухов? – говорил за ширмами поп Яков с треском в руке и строго смотрел сверх очков.

Наставал тяжелый час.

Сокрушенно тряся поникнувшей головой, с трудом опускаясь на колени и колотясь лбом о пол, он смиренно каялся во всех своих великих грехах.

Но когда старый поп говорил: – Нехорошо, старик, нехорошо! Надо бы лишить тебя Святых Таинств, да не хочу. Но прости! – в нем сразу подымался прежний непобедимый гнев.

Он долго молчал, тряс головой, жевал губами – и потом отвечал.

– Старый ты человек, – увещевал его поп, – скоро помрешь. Как предстанешь со злобой пред лицом Господним?

Но старик Петухов, дрожа и трясясь, вдруг говорил:

– Бог простит... Воспитал. Взростил. Заместо отца был. Стерве бабе волю дал. Как собаку куском корить стала. Мир подпоили, нищим сделали. Коту глаз вышибла, хвост отрубила. Не отдам ей огорода. Не прощу! Не помру!..

И сидя на лавке в углу церкви, он долго еще тряс головой и все яснее видел, что нет – не простит. Не может простить, если даже и в адские муки пойдет, но все-таки нельзя простить.

На Пасхе он взваливал на плечи мешок и делал свой первый обход. – Сами разорили, ну так и корми!

Грязный и лохматый, как гном, он ходил по деревне из дома в дом, раскрывал дверь и с порога сурово говорил:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! Здравствуй, дедушка Павел! Али за запасом пришел?

– За запасом, – коротко отвечал он, молча брал яйца, пироги, лепешки, хлеб, все, что ему давали, складывал все в мешок и, кряхтя, нес домой.

После Пасхи он сидел под окном, зорко смотрел и нетерпеливо ждал.

Земля обсыхала, бабы уже принимались копать в огородах, – скоро должны были явиться и его дружки.

И они приходили.

Подпевая и приплясывая, показывался безрукий Феденька – перелетная птица, который, собирая милостыньку, целый год кружил по округе, и еще издали кричал:

– Жив еще, дедушка Павел?

– Жив! – бодро отвечал старик и весело глядел из-под лохматых бровей.

– Ну и важно! Поживи, дедушка Павел, поживи! Айда огород рядить, врагам досаждать!

Мелкими шажками приплеталась старушка Аннушка, тоже нищенка, у которой не осталось на свете никого и, шамкая, кричала:

– Жив еще, Павлушка? Жив?

– Жив, старая, жив! – еще веселее отвечал он.

– Ну и слава тебе, Господи! – крестилась Аннушка и от умиления начинала хныкать:

– Вот Господь и весну дал! Будем опять огород обряжать!.,

Это был торжественный день: окончательное посрамление врага.

Целую неделю Павел и Аннушка, кряхтя, копали, равняли и прихлопывали – возились, как два старый крота. Феденька не работал, но тоже помогал. Он балагурил, пел, плясал и потом, когда приходил момент, исчезал и являлся с водкой.

Они выпивали, возбужденно расхаживали по огороду, Феденька с покрасневшим носом вызывающе кричал:

– А стерва-то! Ведь лопнет со злости? А?

Но Елена молчала. Ее чашка весов опускалась до самой земли, и она только бормотала про себя:

– Погоди, кашей, погоди!.. Вот зима придет, – замерзнешь, как лягушка в пруде...

IV

Время шло, и из села приезжал поп Яков с дьячком. Деревня наряжалась, девки пестрели, как луговые цветы, и при радостном блеске утреннего солнца толпа, извиваясь, как пестрая змея, валила по полям.

Вместе с синим кадильным дымком к сияющему небу взлетали жидкие голоса попа и дьячка, и все усердно молились.

Старик Петухов в зимнем зипуне, не седой, а желтый, с вытершейся от старости плешью на голове, спотыкаясь по кочкам,

шел сзади всех, – тоже молился и старческим голосом, из всех сил пел.

Его сердце смягчалось, гнев стихал, он молился со всеми и за всех. Как кадильный дымок, его молитва летела прямо ввысь, вплетаясь в молитву всей толпы, и только иногда вдруг, как черная туча, на миг вставала мысль о грозной зиме, и тогда он со страхом принимался молиться об одном себе.

Наставала трудная пора: работы в полях и сплав плотов. Бабы, девки и старики оставались дома, пахали, сеяли и косили, – мужики с плотами уплывали вниз.

Уплывал и Михайло. Елена одна, сухая, колючая и злая, стиснув зубы, работала в полях, а старик Петухов, вместе с котом, с самого утра сидел на берегу около часовни, зорко смотрел вдаль и ждал.

Ослепительно горя под лучами солнца, плоты караванами выплывали из-за крутой дуги и реяньем флачков, плеском весел, веселыми криками и суетой сразу давали пустынной реке движение, радость и жизнь.

Приложив к глазам руку козырьком, старик Петухов привычным глазом издалека узнавал их с горы – вон спасские, зиновьевские, макарьевские, дмитровские, – потом, спотыкаясь, спускался к реке, весело садился в лодку и плыл.

Кот плыл вместе с ним.

– Здорово, дедушка Павел! – кричали ему мужики, сидя у плотовых избушек, около черных котелков, под которыми трещали желтые огоньки.

– Жив еще? Все помирать не хочешь?

– Получай, дедко, получай! Собирай запас, не отдавай огорода, держись!..

– Не отдам! – весело отвечал старик и, с усилием гребя, подъезжал, влезал на плот, снимал шапку, крестился и нагружал лодку, на носу которой, мурлыкая и щурясь, сидел довольный кот.

Потом, кряхтя, он долго таскал в избушку, и кот, задрвав верху хвост, важно ходил вслед за ним.

Когда созревали хлеба, Петухов нанимался сторожить поля. Вместе с котом они поселялись в шалашах, поставленных у ворот проселочных дорог.

Это было самое лучшее время для него и для кота.

В шалаше день и ночь курился огонь, и лежа в дыму на досках, он досыта грел свои старые кости. Когда кто-нибудь подъезжал, он

выходил, отворял и, шурясь, глядел. Он знал всех, и его знали все – его и его обиду, и ему подавали все.

В это время он копил копейку на черный день.

Барышни из усадьбы приносили ему хлеба и молока, а кот жирел, ловко охотясь на мышей и на птиц.

Черный, как трубочист, Петухов вылезал под вечер из шалаша, садился на бревно, и кот, блаженно мурлыкая, выгибался и терся у его ног.

Он сидел и глядел – на безмятежное, тихое небо, на широкие поля, по которым серебряной зыбью шел легкий ветерок, на зеленые перелески и на белую колокольню, которой крест, как яркий огонек, ослепительно горел вдали.

И в душе его смутно звенел далекий, слабый и ясный звук, в ней делалось тихо, как в соседнем озерке, в котором отражалось бездонное небо и опрокинутый лес.

И как облачка в озерке, в его душе тихо плыли и таяли мысли. Мягкая природа обнимала его, умиляла сердце, смягчала гнев, и если бы Михайло пришел бы теперь, он, может быть, и простил бы.

А в летние тихие ночи, когда сквозь щели шалаша, как забытые родные глаза, тихо мерцали звезды, умиление нарастало до того, что ему думалось, не встать ли, не пойти ли самому, не простить ли и не помереть ли потом вот тут же, сейчас.

Он вспомнил, сколько он жил, сколько терпел, как устал, и ему казалось, стоит ему простить и он сейчас же умрет, спокойно и тихо, как уголек, который, откатившись от костра, угасает сам.

Но время шло. Проходило жнитво. Солнце делало по небу все меньшие круги, поля оголялись, листья пылились и желтели, дул ветер, лил дождь, подходила осень, и впереди, как грозный призрак, вставала страшная зима.

Барин из усадьбы дарил ему на зиму поленницу дров, и он перевозил ее на себе, хлопоча целый день.

Но зима была длинна и холодна, избушка плоха и стара, надо было много тепла, и он собирал дрова везде, где мог.

Он подбирал в лесу все щепки, обрубки, хворост, сучки и, кряхтя, с утра до вечера возил их на себе домой.

Это было самое хлопотливое время.

Он возился около избушки, как старый крот, нагромождая кругом тепло, и неслышными шагами все ближе подходил к нему страх.

Радость вспыхивала на миг, когда приходило время убирать огород.

Снова являлись Феденька и Аннушка, копали картофель, брюкву, морковь, складывали все в избушке и готовили зимний запас.

– Дожили, дедушка Павел!– с торжеством кричал Феденька, приплясывая на дворе.

– Дожили, дожили, брат, – отвечал старик, тряся головой, жевал губами, крестился и испытывал страх.

Для него это было уже не торжество.

Его чашка весов, не останавливаясь, опускалась вниз, и Елена, стоя на крыльце, торжествовала злым торжеством.

Она смотрела, как старик, задыхаясь, обмазывал глиной избушку, стараясь заткнуть все щели в стенах, и зловеще повторяла:

– Погоди, кашей, погоди!..

V

Наставала зима, ударял первый мороз, земля делалась звонкой, сыпался первый снег.

Старик Петухов со страхом крестился:

– Господи, благослови! – и усаживался зимовать в своей избе.

Михайло отправлялся в лес, Елена забывала про огород. Впереди была бесконечная, злая зима, сугробы постепенно заносили избушку, в ней делалось совсем темно, и старик Петухов один-на-один начинал свою страшную борьбу.

Он зяб.

По утрам он с трудом открывал примерзшую за ночь дверь, отдирав смерзшиеся в сених дрова и, наполняя всю избу паром дышанья, затоплял старую печь.

Он блаженно грелся около веселого огня. Но печь дымила, тепло быстро убегало сквозь щели в трубе, к вечеру в избушке делалось холодно, как в леднике, и за ночь по углам проступал иней. Притаившись, он прятался сначала под лавками, в самом низу, потом осторожно полз вверх, окружал серебряными рамами оба окна, и когда топилась печь, с потолка текло. От угара болела голова, от холода ломило ноги, – наставало плохое житье. Одноглазый кот протяжно мяукал, тоскливо глядя на старика, и Петухов говорил:

– Терпи, Котко, терпи...

И потом, пожевав губами, утешал:

– Вот весна придет, опять на реку пойдем.

С самого начала зимы он терпеливо ждал весны.

Сперва, ковыряя лапоть, он стойко сидел на лавке и поглядывал в занесенное снегом окно, через которое лился холодный и тусклый свет.

Но холод все сильнее тянул из-под лавки и от стены, у него стыла спина, леденели ноги, коченели пальцы, и скоро он сдавался и переселялся в свое зимнее жильё.

Истопивши печь, он с самого утра забирался на нее, постепенно подвигаясь все ближе к трубе, слезая только для того, чтобы поест, и все остальное время дремал, грезя о солнце и тепле.

Но время шло. Мороз крепчал, избушка промерзала насквозь, печь не держала тепла, и Петухов дрожал на ней, закутавшись всем своим старым тряпьем и скорчившись у самой трубы.

Холод тупой болью пилил по ногам, тонкими иглами прокалывал нутро и леденил сердце, – но сердце от этого только каменило, старик Петухов стойко терпел.

Много раз Михайло, приезжая из лесу, переходил через двор, отдирая с трудом дверь, топтался, вздыхал и, мучаясь старой виной, говорил:

– Дедушка Павел! А, дедушка Павел!.. Нечем так-то терпеть...

Но старик сверкал глазами из-под лохматых бровей и отвечал:

– Не пойду!

Он помнил, что Елена торжествует теперь, и, коченея от холода, всей своей старой душой цеплялся за мысль не уступить, не отдать огорода, потерпеть до весны.

Но потом его дух слабел.

Точно сговорившись с Еленой, холод бездушно и ровно крепчал, и постепенно в нем примерзало все, даже злобные мысли в старой голове. Он коченел, цепенел и, чувствуя, что сил больше нет, крестился, шепча:

– Господи!.. Помоги!..

Охая, он слезал тогда с печи и, взяв на руки свернувшегося в комок кота, спотыкаясь, брел в усадьбу, которая стояла верстах в трех.

Шатаясь, он входил в кухню, молча снимал шапку, молча крестился и молча усаживался с котом в углу.

– Ай погреться пришел? – говорила кухарка, перенося свой всегда вздутый живот от стола к печи и от печи опять к столу.

– Погреться, – коротко отвечал он и блаженно отходил в тепле.

– А помирать не хочешь?

– Не хочу... – отвечал он и со страхом вспоминал о своей холодной и темной избе.

Но приходило время, он слабел и не мог выходить: до усадьбы было слишком далеко.

Наставала беда: простуженное тело болело, кашель рвал старую грудь, силы пропадали – день или два он не в силах бывал истопить печь...

Серебряный иней, дождавшись поры, быстро выскакивал из всех щелей и углов, резво бежал вверх по стенам и блестящими лапами перекидывался на потолок.

Голодный и иззябший кот надрывающе мяукал у печной трубы, и сам Петухов коченел под кучей тряпья.

Кирпичи жадно тянули из него последнее тепло, он, цепenea, чувствовал, что нет, – не дожидаться ему весны, придется, видно, помирать, и смерть сидела уже совсем близко – в ногах.

– Похоронит ли Михайло-то? – думал он тогда и грезил, впадая в сладкое забытье, о солнце и летних днях. Но вдруг вспоминал, как Елена будет торжествовать, со стоном сползал с печи, отдирав дрова, растоплял из последних сил печь и опять терпел, чтобы не отдать огорода.

Но зима побеждала его.

Подходили святки, стены стреляли, как из ружья. Вечером в окно ярко светила холодная луна, снег пронзительно скрипел за окном, налетали бури и продували избушку насквозь, он опять ослабевал и не мог топить печь.

Никто к нему не заходил, никто о нем не вспоминал, деревня жила, забыв его, и он лежал, в ужасе чувствуя, что помирает, как собака, – один, и, крестясь костенеющей рукой, громко стонал:

– Господи! Спаси!

Иногда по утрам после бури Елена вспоминала о нем и, взглянув на занесенную снегом избенку, посылала проведать старика.

– Дедушка Павел! – кричала Любка, с трудом отдирая дверь. – А, дедушка Павел! Мамка спрашивает, что, ты уж помер аль еще жив?

Он приподымался на печи, пристально смотрел и с трудом говорил:

– Жив еще! Жив!

Но из глаз его текли слезы, которые тонкими полосками застыли на лице.

Холод сламывал его, он не хотел больше жить и напрасно звал смерть.

VI

Только на Рождестве к нему заглядывали его друзья.

Являлся Феденька, который и зимой неутомимо кружил, отворял дверь, вскакивал иззябший, голодный, но веселый, в избу и кричал:

– Жив еще, дедушка Павел?

Приплеталась и старушка Аннушка, которая зимовала у себя в избушке за десять верст, и, шамкая, тоже кричала:

– Жив еще, дедушка Павел?

Она приносила с собой муки, крупы, кусочек масла и сейчас же варила обед.

Они располагались у старика на целую неделю, и понемногу он отходил.

Приходило Рождество. На улице алмазами горел крепкий снег. Над трубами столбами стоял багровый дым, в хорошо натопленной избушке было уютно и тепло. Феденька приходил в восторг.

– Дедушка Павел! – кричал он. – Все люди празднуют! А мы-то что!

Старик Петухов долго копался в сундуке, звенел медяками, и Феденька стремглав исчезал.

Водка туманила головы. Аннушка начинала хныкать и причитать:

– Вот я старая, безродная! Никого-то у меня, старенькой, нетути!..

Феденька пел песни и плясал, но вдруг тоже впадал в минор и кричал:

– Господи!.. Матушка, Царица Небесная!.. И жисть!.. Ходишь, ходишь, бродишь, бродишь, – как собаке кусок. В кирпичный сарай забредешь, да там и заночуешь. Э-эх!..

– Терпи! – внушительно говорил Петухов и жевал губами. – Бог тоже терпел.

Новая рюмка поднимала дух.

Феденька с гиком принимался плясать, Аннушка с слезящимися глазами прихлопывала в ладоши и потом, не выдержав, начинала ходить павой, а старик Петухов сидел, гладил кота и понимал, что нет, ему нельзя помирать...

– Ждет, – говорил он, указывая головой по направлению через двор. – Как мороз, так и ждет – не помер ли, мол. А я не помру. Возьму да еще ее переживу.

Феденька приходил в восторг.

– Живи, дедушка Павел! Переживи стерву!

– И переживу!– хвастался старик.– Я крепкий, я все стерплю. Сиди, дрянь, без огорода. Жди!

Феденька воодушевлялся совсем. Он выскакивал на двор, плясал по снегу, стучал в окно Елене и кричал:

– Елена Михайловна! Государыня барыня! Павел Петрович вам поклон шлет. Спрашивает, когда помирать будете? А они еще долго проживут.

И Елена, с исковерканным от злобы лицом, бормотала:

– Погоди, пес! Не хвались! Вот Крещение придет, замерзнешь еще!..

И один раз старик Петухов действительно чуть-чуть не замерз.

Дым из трубы не шел целых три дня, и избушка была нема.

Были морозы, он заболел, не мог сползти с печки и коченел в холодной избе.

Хорошо, что в усадьбу приехал барин и послал проведать старика. Полумертвый от холода, он, скорчившись, лежал на печи, а на трубе зловеще мяукал одичавший кот.

Но время шло.

Приходила и проходила масленица, наставал Великий пост. Дни прибывали, солнце светило ярче, узоры на окошках держались только по утрам. Ударяли морозы, но это были последние угрозы злой зимы. В воздухе пахло весной, с крыш капали капли, и опаршивевший за зиму кот начинал понемногу линять.

Старик Петухов оживал и начинал с надеждой ждать.

И в первый день, когда солнце сильнее топило снег, он крестился, осторожно слезал с крыльца и, шатаясь, как пьяный, тихонько брел на двор взглянуть на огород.

На крыльцо выносилась Елена и с искаженным лицом кричала:

– Ну, что! Не сдох еще, старый пес? Не поколел еще, бессмертная сатана?

Он медленно оборачивался, делал над глазами козырек, долго наслаждался, жевал губами и потом отвечал:

– Нет, сука, жив. Поживу еще, дрянь, поживу!

СМЕРТЬ МЮЛЛЕРА

Двери отворились, и четыре служителя в белых кафтанах внесли кровать с больным. Вошли толпой врачи, совершенствовавшиеся в клинике знаменитого профессора, и черным роем разместились вдоль стены. За ними поспешно, с видом страшно занятых людей, вбежали ассистенты и уселись за своим столом сбоку, у окна.

Потом появился сам профессор.

Он бесшумно приблизился к кровати, сделал аудитории церемонный поклон старого джентльмена, причем блеснул брильянт на его галстуке, – и, слегка повернув голову к столу ассистентов, выразил на лице ожидание.

Он был знаменит, лечил царей, имел безжизненное лицо старого патриция и говорил тихим, бесстрастным голосом.

Щеголеватый ассистент стремительно вскочил, вынул книжку и резким голосом начал выкликать фамилии.

Вышли три студента и с почтительным поклоном стали рядом с профессором. Служитель, суетясь, снял доски с кровати и откинул одеяло.

Профессор, заложив руки в карманы, спокойно смотрел на больного сверху вниз. Его плечи чуть-чуть поворачивались направо и налево, и это давало ему еще более спокойный вид...

В высокие окна лился ровный, холодный свет. Больной лежал, закинув назад багровое лицо, и шумно дышал. Три студента внимательно смотрели, готовя ответы и ощущая страх.

Прошло несколько секунд. Профессор вынул из кармана большой палец левой руки и чуть заметно указал им в сторону ближайшего студента.

– Что вы видите? – спросил он, едва открывая губы.

Маленький студент с розовым лицом начал описывать то, что он видел.

Он рассказывал дрожащим голосом, что больной – мужчина средних лет, крепкого телосложения, с хорошей мускулатурой; что он находится, по-видимому, в бессознательном состоянии, лежит

на спине и что его лицо синего цвета; что его виски покрыты каплями пота, рот раскрыт и дыхание тяжело и шумно...

– Дальше.

Маленький студент робко приложил руку к лицу больного, провел ею по шее и груди, потом, запнувшись, перешел к ногам, просунул руку под одеяло и говорил дальше, – что кожа больного влажна и холодна на ощупь, что конечности холодны тоже и что на них замечается отек.

– Дальше, – не раскрывая губ, произнес профессор.

Студент взял руку больного и хотел сосчитать пульс.

– Вы забыли... – сказал профессор.

Студент остановился.

Большой палец направился по очереди ко второму и к третьему студенту.

– Выражение лица! – отчетливо произнес третий, широкий, квадратный и рыжий, с ясными, как у ястреба, глазами.

– Да, – сказал профессор и снова начал поворачивать плечи направо и налево. – Вы забыли выражение лица.

Маленький студент смущенно и пристально смотрел больному в лицо.

– Выражение лица бессознательное... – сказал он. – Пациент находится без сознания...

– Еще?..

– Выражение... страдания... – неуверенно прибавил маленький студент.

– Искаженное, – небрежно поправил профессор. – Больной имеет искаженные черты лица. Мы называем это?..

Палец кивнул второму и третьему студентам.

– *Facies Hippocratica!* – снова отчетливо произнес квадратный студент.

– Гиппократово лицо. Да. Искаженные, выражающие страдания черты. *Facies stecomposita*. Пульс?..

– Раз, два, три, четыре... – громко считал маленький студент, держа руку больного и сосредоточенно глядя вверх. – Пульс быстрый и слабый...

– Да, – сказал профессор и на миг прикоснулся к руке больного. – Быстрый и слабый. Диагноз?..

Маленький студент смущенно молчал. Палец направился прямо к квадратному студенту. Он тоже молчал.

– Молчание сосредоточенной мысли... – снисходительно пошутил профессор и изобразил на лице улыбку, которая сейчас

же, как в зеркале, отразилась на лицах ассистентов, врачей и всей аудитории.

– Но я согласен... – продолжал он. – Диагноз, действительно, несколько труден... Может быть, в особенности, в силу неожиданности случая. Поэтому... мы скажем его сами.

И, повышая с усилием голос, он, обращаясь ко всей аудитории, произнес:

– Пациент... находится в агонии... Сегодня мы демонстрируем умирающего человека.

Аудитория дрогнула, и по ней снизу вверх прокатилась волна. Передние ряды нагнулись вперед, средние привстали, задние взобрались на скамейки, и все глаза жадно устремились вниз. Потом настала тишина, среди которой слышалось только шумное дыхание больного, похожее на дыхание человека, который напился пьяным и спит.

За окном, вдали, с гулом промчался поезд и наполнил все ритмическим грохотом вздрагивающих рельсов. Когда он стих, в аудитории слышался опять бесстрастный, как деревянный скрип, голос профессора, который говорил:

– Быть может, нас упрекнут в жестокости. Принято смотреть на смерть как на священный акт. Но, как бы то ни было, врач должен уметь поставить диагноз... А чтобы уметь поставить диагноз, надо видеть... И чтобы дать возможность видеть, надо нарушить покой смерти... Сегодня нам представилась возможность показать этот случай, – и мы сочли нашим долгом воспользоваться им.

– Итак, – продолжал он деловитым тоном, – наша задача – наблюдать процесс умирания нашего пациента. А чтобы выяснить причину смерти, мы, не беспокоя исследованием больного, обратимся прямо к анамнезу...

И он повернул слегка голову к столу, за которым сидели ассистенты.

Щеголеватый ассистент стремительно вскочил, схватил испсанный лист бумаги и, став в ногах кровати, начал читать отчетливым и резким голосом историю болезни.

Там подробно говорилось, что больному сорок лет, что он по профессии носильщик, не женат, что он прежде всегда был здоров, но в течение последних лет начал страдать сердцем, что он был принят месяц тому назад в клинику, что его состояние постепенно ухудшалось и что вчера, в десять часов вечера, началась агония. Профессор слушал, заложив руки за спину и повернув к ассистен-

ту лицо с таким видом, как будто то, что он слышал, было для него совершенно ново и крайне интересно.

Больной, откинув назад лицо, которое сделалось синим, продолжал быстро и шумно дышать. Аудитория напряженно смотрела, и щеголеватый ассистент читал, описывая явление агонии и с удовольствием вибрируя голосом, как секретарь, который читает протокол суда, оканчивающийся осуждением на смерть.

Потом он кончил, сложил лист, стремительно удалился к своему месту и сел.

В аудитории снова раздавался бесстрастный голос. Повернув в сторону голову и делая небрежные жесты рукой, профессор говорил:

– Совершенно типичный случай... Больной – носильщик, он, так сказать, изработал свое сердце... Есть целый ряд профессий, которые ведут к параличу сердца, – атлеты, акробаты, кузнецы... Носильщики стоят во главе. И в особенности та категория их, к которой принадлежит наш больной. Начиная карьеру в восемнадцать лет, к тридцати пяти годам – они толпами являются к нам, в госпиталь, умирать от паралича сердца. – Наш пациент достиг предельного возраста... Дальше его сердца не хватило, и он умирает... Для того, так сказать, чтобы заполнить графу процента смертности, стоящую против его профессии...

Он помолчал, бесстрастный, как льющийся в окно зимний свет, затем, как бы вспомнив нечто, продолжал:

– Собственно говоря, наш больной должен был умереть еще вчера. Но так как мы желали продемонстрировать его, то, чтобы поддержать прекращающуюся деятельность сердца, мы употребили все имеющиеся в нашем распоряжении средства... Пациент получал...

– Впрыскивание камфары и эфира, digitalis и вино! – ответил, вскочив, щеголеватый ассистент.

– Да, – продолжал профессор, с удовольствием кивнув головой. – Впрыскивание камфары, эфира, digitalis и вино... Таким образом, мы в течение целой ночи и утра, так сказать, подливали масло в угасающую лампаду, и, как вы видите, наши старания увенчались успехом... Возбудительные средства дают нам возможность исчерпать силы организма почти до конца.

– Итак, – заключил он, – наш пациент находится в последней стадии агонии. Мы назовем его состояние?..

Палец профессора пошевелился в направлении к студенту с ястребиными глазами.

– Кома! – отчетливо произнес тот.

– Н-ну!.. – сказал профессор, нахмурившись и как бы взвешивая значение слова: – Я не знаю, можем ли мы сказать это...

Он сделал шаг к умирающему, взял его за плечо и крикнул ему над ухом:

– Мюллер! Мюллер!..

Умирающий пошевелился и слабо двинул головой.

– Мюллер! – снова крикнул профессор и сильно встряхнул его за плечо.

Умирающий двинулся, простонал и медленно раскрыл глаза.

– Как дела?..

Умирающий издал протяжный стон, потом его веки опустились и он опять принялся быстро и шумно дышать, точно спеша вернуться к нужному и неотложному делу, от которого его оторвали.

– Он реагирует, – заключил профессор. – Кома – это было бы слишком сильно. Мы предпочли бы сказать... – продолжал он, ища выражение, – мы предпочли бы сказать, что больной находится в полубессознательном состоянии, но реагирует еще на более резкие раздражения внешнего мира. Его внимание, так сказать, всецело поглощено процессом его умирания... И он прав... – прибавил он вдруг, загадочно кивнув головой. – Смерть – важнейший акт в жизни индивида...

Ассистенты и врачи остались в недоумении, надо ли им засмеяться или нет.

– Мы выслушаем сердце больного, – подняв брови, сказал профессор и, не глядя, протянул два пальца назад.

Щеголеватый ассистент вскочил, схватил черную трубку и вложил ее в протянутые пальцы.

Профессор приставил трубку к груди больного и на один миг приложился к ней ухом. Потом он выпрямился и, продолжая, держать трубку, сделал пальцем знак.

Маленький студент нагнулся тоже, но больной сделал короткое движение руками и колыхнулся всем телом. Маленький студент испуганно выпрямился и растерянно взглянул кругом.

Профессор, заложив руки в карманы, смотрел внимательно и с ожиданием. Прошло несколько секунд.

Пальцы умирающего тихонько сжались и разжались. Он медленно вытянул грудь, двинул ногами и сбросил с них одеяло. Щеголеватый ассистент вытянул шею, вскочил, подбежал, накрыл больного и стал держать одеяло.

Профессор отодвинулся на шаг назад и медленно произнес:

– Пациент умирает...

Среди студентов опять шумно прокатилась волна. Они взобрались на скамейки, перевесились друг через друга вперед, и вся аудитория превратилась в одно напряженное, жадно смотрящее лицо.

Профессор повернулся назад и с видом любезного хозяина сделал приглашающий жест.

Сидевшие вдоль стены врачи поднялись, подошли и черным роем остановились сзади него.

– Пациент умирает, – повысив голос, повторил профессор.

Он отодвинулся ещё на шаг, вынул пенснэ, надел его на нос, вложил руки в карманы и, слегка поворачиваясь направо и налево, начал внимательно смотреть.

Была тишина, и в этой тишине слышался только протяжный, непрерывающийся хрип, который наполнял все, стихал, переходил в клокотанье и, переливаясь разными тонами, уходил куда-то вглубь.

– Скопление слизистых выделений в дыхательных путях, – бесстрастно говорил профессор, – производит при прохождении воздуха этот специфический звук, который является характерным признаком агонии. Мы называем его?..

– Stertor, – отчетливо произнес квадратный студент.

Студенты с красными и потными лицами, сбившись на скамьях и держа друг друга за плечи, не отрываясь, смотрели вниз.

В окна лился яркий, ровный свет. Прошло несколько секунд...

За окном вдали опять промчался поезд, и его гул на несколько мгновений покрыл собою все... Он затих, удаляясь; опять была напряженная тишина и в ней – странное, ровное, клокотанье, как будто на невидимой плите монотонно кипел невидимый котел.

В задних рядах кто-то оборвался и с грохотом обрушился вниз. Шеголеватый ассистент с угрозой посмотрел туда.

Опять была тишина и ровный, яркий, холодный свет.

Лицо умирающего начало быстро синеть, темнеть, почернело совсем. Он, как рыба, несколько раз широко раскрыл и закрыл рот, и на черном лице на миг страшно выкатились белки глаз.

Потом он уперся локтями в постель, напрягся, точно желая подняться, но вместо того опустился, ушел в подушки совсем и, вытянувшись во всю длину, сделался спокоен, важен и суров, как бы выражая молчаливое порицание всему, что совершалось кругом.

– Пациент умер... – произнес профессор. Аудитория зашумела, задвигалась и с гулом начала усаживаться на места.

Маленький студент неожиданно пошатнулся, схватился за кровать и опустился на руки соседа, который заботливо повел его к дверям.

Профессор скользнул взглядом по его фигуре, отодвинулся на два шага, заложил руки за спину и бесстрастно смотрел в окно, пока четыре служителя, суется, вкладывали доски в кровать и уносили сурово и важно лежащее тело.

Затем он вынул большие золотые часы, поглядел на них и сказал:

– Предыдущий пациент занял больше времени, чем мы предполагали, но все-таки, я думаю, мы успеем демонстрировать еще один интересный случай.

Служители, тяжело ступая, вносили кровать с другим больным. Ассистенты перешептывались и смеялись за своим столом.

Поэтический конкурс «Я люблю...»

В течение пяти месяцев еженедельно по радио звучали стихи: шёл поэтический конкурс «Я люблю...», организованный «Радио России Нижний Новгород» при поддержке Нижегородского отделения Литфонда России и редакции альманаха «Земляки». Около 500 писем получили организаторы по почте, через Интернет и в аудиозаписи, стихи более 150 авторов прозвучали в эфире. Жюри в составе Дмитрия Бирмана (председатель), Андрея Иудина (редактор альманаха «Земляки») и Олега Рябова (председатель Нижегородского отделения Литфонда) разбирали тексты, вели со слушателями живой разговор о поэзии, определяли финалистов и победителя. Им стал Владимир Безденежных. Ниже мы публикуем стихи финалистов.



Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Бунт

поднимается голова с налитыми кровью глазами
силой тяжкой, недоброй наливаются кулаки,
и идут мужики не с хоругвями и образами,
жечь, калечить и рвать – убивать собрались мужики.

убивать за свое, за посконно-сермяжное право.
распрявилась спина, что горбилась под ляжку и кнут.
начинается кровь. Будет жуткая месть и расправа –
русский бунт. Беспощадный, бессмысленный бунт.

ярко красный петух заклокочет по стенам господским:
жги и жарь на потеху озлэнно-шаловой гольтьбы!
из окошек бросается челядь на вилы и косы.
режут жилы серпы. И крушат, поднимаясь, цепи

над телами. И вниз. И опять поднимаются, снова
книзу бьют под привычным движеньем руки.
и отделит топор, словно зонтик от болиголова,
тело брренное да от холопьеи башки.

не носить головы... головам этой лютой науки –
всех покосит, спалит мужичье без оглядки назад
и потом, опустив от крови заскорузлые руки,
разбредется по хатам, домой дожидаться солдат

Девочка 2. 0

Девочку 2.0 будит ее лучший друг iPhone.
Девочка вспоминает, что практически пуст «стабфонд».
Девочка прогоняет огненным кофе сон –
Сегодня она снова будет принцессой офиса!

Девочка 2.0 всем превратностям кажет fuck.
Девочка рулит и заезжает в Мак –
Нагеттсы, баночка спрайта в стареньком Opel Corsa –
Сегодня она королева рерайта на аутсорсе!

Девочка 2.0 копит – зимой на Таиланд.
Девочка 2.0 ни с кем три месяца не была.
Бывший бойфренд сдулся, ушел к другой:
Проще не жить с волшебницей изумрудного го...

Девочка 2.0 без любви с олигархом не стала бы, впрочем, хотя...
Девочка 2.0 не очень-то любит детей, но в душе и сама – дитя,
Нежная королева, принцесса, волшебница... Девочку клонит в сон.
Lullaby в Apple In-Ear поет лучший друг iPhone...

Всё моё

Не знаю, как пишутся книги. Не знаю и все.
Как текста сливаются части, куски воедино.
Едва ли незнанием этим я буду спасен,
Я все же черкаю в блокноте. Я вижу картины

Из жизни. Они проступают сквозь муть
Сегодняшних дней, как со дна. Мне не выразить в прозе
Их ясную, главную, сладко-щемящую суть,
Так видную через слои наслоений, коррозий

Позднейших: трагических, горьких... Веселых – ну да!
Бывали, бывали деньки над Окою и Волгой!
Плохое забудется, горькое смоем вода.
Хорошее, доброе, нежное вьется надолго.

И вот я черкаю в блокноте, не знаю, к чему.
Зачем так немногим понятные вещи и речи
Хранить, вспоминать, объяснять... и себе самому?
Но вот почеркал и становится будто бы легче.

Пусть кто-то кричит: тут не так, мол, что пишет вранье
Про город, события, случаи, лица, про детство.
До хрипа базлают пускай, только здесь все мое.
Пробито, пропито, прохожено. Некуда деться.

Наталья СТРУЧКОВА, *Кстово*

Музыка

На грани – тоньше волоска –
В спираль накала –
Твоя безумная тоска
Меня сжимала.

И музыка во мне текла,
Как кровь по жилам,
Не ради счастья и тепла
Тебе служила.

Все было ей подчинено,
Но было мало!
Как забродившее вино,
Она вскипала.

Как в тонкой хрупкости стекла –
Ей нет предела!
Она единство создала
Души и тела.

* * *

И солнце в зените,
И сердце стремится в зенит.
Вы мне извините
Встревоженный голос и вид,
И праздничность даты,
И трепет горячей руки –
Мы были когда-то...
Когда-то мы были близки:
Цветущий цикорий
И травы – в них надо упасть,
На счастье и горе
Познать вашу силу и власть,
Июль лучезарный! –
В ночи усмиряющий зной.
Я вам благодарна
За то, что расстались со мной.

* * *

Мы однажды отбились от стаи,
Разделившие зиму вдвоем.
Мы отстали с тобой, мы отстали...
И по черному небу плывем.

Нас забыли уснувшие крыши,
Заслонявшие солнце вчера.
Мы уже ничего не услышим
И не вспомним с тобой до утра.

Только эти зовущие дали,
Только грусти косые дожди...
Оттого, что когда-то отстали,
Мы с тобой и теперь впереди.

* * *

Волки сбиваются в стаи.
Стаями птицы летают.
И, чешуей блистая
В толще морских глубин,
Стаями рыбы ходят.
И человеку вроде
Свойственно по природе...
А человек один.

Николай СИМОНОВ

Из цикла «Азбучная беллетристика»

Город Горький

Гложет грусть, гадаешь горько,
Грезишь грешной головой:
Где-же, где-же город Горький,
Громогласный, горевой?

Гаркнешь: – Горький! Грохнет громом,
Губы горечью горчит...
Город, где галчиный гомон,
Где грассируют грачи.

Где Гордеевкой горланил,
Где гитарою гремел...
Город граций, город граней,
Где горилкой горло грел.

Грузовик грохочет горкой,
Гавань гулкая гудит –
Голосистый город Горький,
Громяхая, говорит!

Город Горький, город горный,
Грозной глыбится горой...
Град губернский, громкий, гордый,
Грандиозный град-герой!

Град громадный, град гранитный,
Град гуманных горожан,
Град гигантских габаритов,
Главный город горьковчан!

Нижний нежный

*Нежный Нижний! –
Волгам нужный, Каме и Оке...
Велимир Хлебников*

«Нижний – нежный, Нижний – нужный» –
«Начземшара» нам напел...
Но не нужен нам недужный,
Некрасивостью наружной,
Нарочитый надоел.

Нам не нужен неприглядный,
Некультурный, надувной...
Нужен нам незаурядный,
Нижний Новгород нарядный,
Необъятный, неоглядный,
Необычный, недурной!

Ненаглядный наш, невздорный,
Над низиной наклонись!
Нижний Новгород нагорный,
Несравненный, непокорный,
Новостройками навис.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

Человек дождя

Ждущих раненых туч не бывает,
Но, возлюбленный осени, я
Среди прочих других называю
Лишь себя человеком дождя.

Научился я в дни увяданья
(Все ж не зря был рожден в октябре),
Тонко чувствовать ливня дыханье,
Не глазами, всем телом смотреть.

Лужи мне не напомним болото,
Неба синего не оттенят.
Если я не доделаю что-то,
Дождь закончит потом за меня.

Много в наших делах беспокойства,
Мало светлых, возвышенных чувств.
У воды есть целебное свойство,
У небес есть замена плечу.

Одиноко, на сердце тревога,
Места в церкви себе не найдешь,
Выхожу исповедаться Богу
Под воскресный молитвенный дождь.

Вновь стою на могиле поэта,
Ветви кленов, как струны звенят.
Если я и не плачу при этом,
Дождь рыдает потом за меня.

Слово, где его прежняя сила,
До мурашек потрясая нас.
Говорили когда-то красиво,
Не по делу плюются сейчас.

Я хочу в песни ливня услышать,
Что доносят до нас небеса,
Попытаться мелодию крыши
Откровеньями записать.

Даже если я слаб и простужен,
Не умею себе изменять.
Если я не сказал все, что нужно,
Дождь расскажет потом за меня.

Наталия ЯРОВА

* * *

Сиянье дня –
Расплавленное олово,
Так щедро солнце
Землю освещает.
Весенний хмель
Нам счастьем кружит головы
И к таинству свободы
Причащает.

Весь небосвод
До блеска дождик вымоет,
Так хорошо,
Так радостно на свете!
Как знак любви,
Дарю тебе стихи мои,
Прозрачные
И легкие, как ветер.

* * *

Утро туманом одето,
Свежестью дышит земля,
Вспомнив ушедшее лето,
Плачут листвой тополя.

Галки, от ветра хмелея,
Громче кричат на пруду.
Длинной шуршащей аллеей
Я через осень бреду.

Сердце, сбивая дыханье,
Бьется взволнованно: жди,
Словно сегодня свиданье
Будет у нас впереди.

Медленно падают листья
С пёстрых кленовых рубях.

Осень вином золотистым
Нежно горчит на губах...

* * *

Я от себя всё дальше ухожу,
От той себя, какой была когда-то
В далёком детстве, в юности крылатой...
Я бесконечно прошлым дорожу.

Ту девушку, ту молодую мать,
Качавшую любимого сынишку,
Ту, что ему потом читала книжки,
За пеленой тумана не видеть.

Нас всех уносит времени река,
Порой в душе печально и тревожно,
Но бал ещё не кончен, значит, можно
Дышать, любить, смотреть на облака...

Василий АГАФОНОВ, *Шатки*

* * *

Лишь закончился розовый дождь,
Босоногая, светлою нивою,
Ты по узкой тропинке идёшь,
Ни с какою красой несравнимая.

Тебе птицы поют с высоты,
К тебе ветер на цыпочках ластится,
Для тебя оживают цветы
На сиреневом ситцевом платице.

* * *

Сегодня ты негромкая, неслышная,
Идёшь со мной, в руке лежит рука.
Сегодня ты необычайно рыжая,
Задумчивая, грустная слегка.

Мы по селу под ивами и вербами
Шагаем осторожно, как по льду.
И думают прохожие, наверное,
Что я под ручку с осенью иду.

* * *

Белой скобкой месяц светится
Чуть повыше бузины.
А в ковше Большой Медведицы
Столько счастья и весны.

Разговор хороший, песенный,
И в руке лежит рука.
То ли грустно, то ли весело –
Не понять ещё пока.

Звёзды тихо-тихо звякают,
Твоим серьгам так сродни.
А в пруду лягушки квакают,
Знать, влюбились и они.

Это было, да растаяло
Тучкой в небе голубом.
Время строгое расставило
Наши годы чередом.

И теперь с прошедшим встретиться
Никогда мне не дано.
Из ковша Большой Медведицы
Всё уж вылилось давно.

* * *

Давно идут года не те,
Что так жестоко пролетели.
Не я тебе кольцо надел,
И ты не мне кольцо надела.

Но вдруг в круговороте дней
Опять сомкнулись наши руки.

И были будто бы во сне
Все времена большой разлуки.

Ладонь к ладони прилегла,
Взаимной мягкостью лаская,
И в каждой – нежного тепла
Таилось море, что без края.

В ночи не увидеть лица,
Мы свои руки протянули,
Но обручальных два кольца
Друг друга, звякнув, оттолкнули.

Круг чтения

Ольга МАРКИЧЕВА

ТОГА ДЛЯ БОСЯКА

**М. Горький и А. Дюма-отец: от мушкетеров –
к люмпенам**

Известно, что А.М. Горький рано познакомился с творчеством Дюма-отца. Произведения выдающегося французского романиста были в числе первых книг, попавших в руки подростка Алёши Пешкова. О ярком впечатлении, которое произвели на него романы Дюма, М. Горький не раз упоминает в биографических произведениях.

Например, в «Биографии» 1893 г. (автору – 25 лет): «И ух, как рано бы я потерял веру в хорошее и чистое человека, если б не надеялся, что за этим миром есть мир Атосов, Портосов, Д'Артаньянов и иже с ними!

Мой начальник, низенький во всех отношениях человек – приказчик С.Ш. – сначала очень внимательно и гуманно относился ко мне, даже записался по моей просьбе и совету членом в библиотеку и вместе со мной читал романы Салиаса, Мордовцева, де Трайля – и восхищался моим пониманием толка в книгах, но, когда однажды я заметил ему, что обворовывать хозяйку – слабую, пьяную старуху, – которая так любит его, нехорошо, он, должно быть, испугался, что я передам ей о его деяниях, и изменил отношения на более официальные и уместные между приказчиком, с одной стороны, и мальчиком, с другой. В сущности, я заметил это не потому, что был убеждён в преступности воровства, а потому, что такие деяния не имели ничего общего с благородными поступками господ Атоса, Портоса, Арамиса, короля Генриха IV и иными героями романов, к подражанию которым, по обоюдному нашему соглашению, и должна целиком сводиться всякая человеческая жизнь».

Около 1897 года (писателю около 30 лет) или несколько позднее М. Горький написал автобиографию, напечатанную в извлечениях в 1899 году в статье Д. Городецкого «Два портрета» (журнал «Семья», 1899, номер 36, 5 сентября): «На пароходе, когда был поварёнком, на образование моё сильно влиял повар Смурый, который заставлял меня читать жития святых, Эккартгаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книжки франко-масонов. До повара – терпеть не мог книг, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно»

В повести «В людях» (1915–1916, автору 47–48 лет) мы читаем: «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом "Искра", Успенским, Дюма...

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да – если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и "Хенрика"».

«Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ, – я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне – весело. Я чувствую себя

участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость».

В 1919 году, в возрасте 51 года, Горький пригласил А.И. Куприна к сотрудничеству в организованном им издательстве «Всемирная литература» и среди прочих заданий предложил Куприну написать предисловие к готовившемуся в числе первых, к сожалению, не состоявшемуся изданию полного собрания сочинений А. Дюма-отца. Статья получилась достаточно объёмной, ок. 5 печатных листов.

Много позднее, в рассказе («О том, как я научился писать», 1928 г., Горькому 60 лет):

«В ту пору я уже читал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Литтона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера; о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных».

В письме А.И. Груздеву от 28 дек. того же 1928 г. с просьбой прислать новое издание (Academia) «Трёх мушкетеров», писатель говорит: «Люблю папашу Дюма. Конечно – стыжусь, но – люблю!» (Переписка А.М. Горького с А.И. Груздевым. М., 1966, стр. 164).

Это увлечение творчеством Дюма было подмечено и некоторыми современниками. Так, Виктор Шкловский в двух статьях, посвящённых творчеству Горького, пишет: «...Из-под учительских задач, через громадный песенный лиризм тянется он к единственно нужному – к мастерству и нарядности.

Горький любит Дюма и радуется миру, в котором живут королева Марго и люди, тычущие друг друга шпагами. Он любит красивые вещи и свою неосознанную поступь» (Шкловский. Ст. «Горький – как он есть», 1924).

«...Горький сейчас увлекается Дюма...» (Шкловский. Ст. «Горький. Алексей Толстой», 1924).

Ю. Н. Тынянов в статье «Сокращение штатов», тот же 1924 год, говорит: «Героическая попытка Горького сшить тогу босяка тоже не удалась», и в скобках добавляет: («прекрасно В. Шкловский сравнил Горького с Дюма»). «Тога была сделана слишком аккуратно, с большими дырами – и быстро расползлась». В данном случае Тынянов намеренно говорит только о герое Горького 1890-х годов, значительно отличающемся от позднейшего его героя.

Таким образом, мы видим, что увлечение творчеством Дюма сохранялось на протяжении всей жизни и не было секретом для современников, а два из них, литературоведы Тынянов и Шкловский, усматривали признаки этого увлечения в его произведениях. Сам Горький в статье «О том, как я научился писать» рассказывает: «Изображенного мною в "бывших людях" содержания ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю, и потерпевшему – трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлен был я беззлобной насмешливостью одесского босняка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе "Челкаш". С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, – улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу: "Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!" Он мне напомнил "благородных" героев Дюма» («О том, как я учился писать», 1928 г.).

Сравним теперь характеры героев исторических романов Дюма и героев ранних рассказов А.М. Горького.

Полагаем, что характеры героев Дюма долго описывать не стоит. Общеизвестно, что положительные герои Дюма всегда действуют в интересах человеческой, житейской справедливости, вступаются за того, кто в данный момент обижен, повинуются чувству долга, верны в дружбе и любви, благодарности, наделены рыцарским благородством. Герои его деятельны, энергичны, предприимчивы, ловки, никогда не теряются в самых затруднительных обстоятельствах, сильны духом и телом, храбры, мудры. Этими качествами наделены многие мужские фигуры произведений Дюма.

Так, мушкетёры помогают Анне Австрийской в противостоянии кардиналу Ришелье. С точки зрения государственного деятеля, их поступки (возвращение алмазных подвесков, помощь врагу – герцогу Бекингеу) – преступление и измена. С обывательской точки зрения – герои Дюма покрывают изменившую мужу женщину и её любовника. Но автор «Трёх мушкетёров», а следом за ним читатели видят в их отважных поступках мотивы сострадания, желание защитить слабого, предупредить того, кому угрожает опасность.

В ранних рассказах М. Горького мы видим людей, которые, подобно героям Дюма, высоко ценят человеческое достоинство, протестуют против унижения, лжи и несправедливости.

В «босяцких рассказах» «Челкаш», «Мальва», «Коновалов» и др. Горький включает романтические идеи и приемы в реальную обстановку. Он противопоставляет людей свободных и привязанных к земле: Сокол – Уж («Песня о Соколе») и Челкаш – Гаврила. В рассказе «Челкаш» романтизирован вор и пьяница Челкаш, а крестьянин Гаврила наделен жадностью, трусостью и подлостью. В. Ходасевич писал о романтических типах Горького: «...у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой».

Во многих своих рассказах Горький романтизировал босяков. Впоследствии он говорил, что босяки были для него «необыкновенными людьми». «Я видел, что хотя они живут хуже "обыкновенных людей", но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег».

Гришка Челкаш – наиболее запоминающийся тип босяка. Изгой общества, оторвавшийся от земли крестьянин, портовый вор, – он на поверку оказывается нравственно выше, благороднее и человечнее в общем-то неплохого деревенского парня Гаврилы.

Благородные поступки босяков из ранних рассказов Горького мотивированы простыми человеческими чувствами, присущими и нормальным людям (не люмпенам). Коновалов выручает из публичного дома Капитолину из чувства сострадания к девушке. Челкаш отдает все украденные деньги Гавриле, невзирая на то, что тот хотел его убить. Босяк Сережка с рыболовецкого промысла тайно влюблен в Мальву, любовницу выходца из деревни Василия Легостева, но из босяцкого благородства не мешает ему.

Но что-то очень похожее проделывал и Александр Дюма со своими героями. Так, он романтизирует мушкетёров – солдат, головорезов, азартных игроков, пьяниц, ловеласов, не стеснявшихся жить за счёт своих богатых любовниц, убивавших и на дуэли, и

на поле битвы и не гнушавшихся взять себе кошелёк или сапоги убитого врага, если они подходили по размеру.

Горький же разглядел подлинно благородные черты у людей из «низов общества». Он романтизирует люмпенов, бродяг, изгоев общества, по сути, находит в их характерах те же черты, что и Дюма-отец в своих персонажах. Как М. Горький «сшил тогу для босяка», так и Дюма когда-то «сшил тогу» для своих мушкетёров, крестьянина Анжа Питу, моряка Эдмона Дантеса.

Мы можем сделать вывод, что во многом герои ранних рассказов Горького созданы под влиянием Дюма и переняли многие их черты: готовность противостоять неблагоприятным обстоятельствам, рыцарское благородство, великодушие и чувство справедливости.

Русский смех

Николай СИМОНОВ

ЦВЕТНЫЕ БАЛЛАДЫ

Баллада о голубом и розовом цветах

Сегодня помнится такое,
Как восхищались мы до слёз,
Смотря на небо голубое
И на кусты красивых роз.

Всегда был культ у человека
Цветов прекрасных, ведь не зря
Была ещё у древних греков
Розовоперстая заря.

В доперестроечной России
И повсеместно, и всегда
Мечты все были голубые
И голубые города.

И вот один дурак, по пьянке,
Придумал домисел такой,
Что розовые – лесбиянки,
А гомосек – он голубой.

Да, нынче времена другие.
Бормочут даже сосунки,
Мол, не наденем голубые
И розовые ползунки.

Стесняемся в стихах и прозе
Цветов названья говорить...

И даже розовые розы
Боимся женщинам дарить.

Рыдает небо в час рассвета,
В печали розовый закат,
Что опозорил оба цвета.
Какой-то извращённый гад.

В обиде голубые ели
И голубой песец не рад:
«Мы в секс-меньшинства не хотели,
А нас зовут на гей-парад».

И гневно всех людей ругая,
И говоря сама с собой,
Тайга бушует голубая,
И кит буянит голубой,

На море гребни волн вздымает...
Они правы, брат, им видней...
Природа-мать не отвечает
За извращения людей.

Пусть будут голубыми реки
И небеса над головой
Без сексуальной подоплеки,
Без подоплеки половой.

Пусть на земле и в небе веки
Сияет эта красота!
За что же, люди-человеки,
Мы опорочили цвета?!

Французская баллада о голубом парламенте

У Франции большая слава
Под стать её былым годам...
Бесстрашных рыцарей держава,
Страна прекрасных нежных дам,

Страна весёлых мушкетёров
Вдруг как-то сделалась иной.
Страна поэтов и бретёров,
Ты стала голубой страной.

Мы любим коньячок французский,
Духи, наряды от кутюр,
Но я вам, запросто, по-русски,
Сложил балладу без купюр.

В Париже, мощными задами
Закрыв всю Францию собой,
Под голубыми потолками,
Сидит парламент голубой.

Один мессир, прозваньем Воланд,
В Москве чудил немало дней, –
В Париже появился Оланд,
И стало там ещё чудней.

Видать, для зеков из барачков,
Для их любви между собой,
Закон об однополых браках
Парламент принял голубой.

На новизну вы прёте смело
С тупой упорностью свиньи.
На всё плевать, вам нету дела
До вечных ценностей семьи.

Хочу сказать я парижанам
Закон бесплоден, господа!
От мамы Пьера с папой Жаном
Детей не будет никогда.

Вы у народа не спросили,
Не встали за страну на бой,
Французы пали, но Россия
Страной не будет голубой!

Да, этим людям, мной воспетым,
Я мягко всё-таки стелю...
Зачем же я писал об этом? –
Да извращенцев не люблю!

Александр БЫВШЕВ, *Кромы, Орловская область*

Рассказ астронома

*На внешней стороне Луны
Любовники обнажены.*

*Играют звёздным пояском,
Как будто фиговым листком.
И ни одной детали лишней.
И дети явятся потом.*

Евгений Попов

Гляжу на космос в телескоп
И лицезрею там такое,
Что от стыда потеет лоб
И не найду себе покоя.

На красном Марсе свальный грех.
В телах сплетённых все полянки –
В любовный плен хватают всех
Воинственные марсианки.

Вот Девы с Вегой неглиже
Спешат к Арктуру на свиданье.
От секса этого уже
С ума сошло всё мирозданье.

Бросает поминутно в жар.
Век бы не видеть звёзд паденье.
Но протираю окуляр
И продолжаю наблюденье.

Рак распоясался вконец
И задирает хвост комете.

В Цереру целится Стрелец.
(И это смотрят наши дети!)

Лунянки все (кровь с молоком!)
Готовят к бурной ночи ложе.
Ну хоть бы фиговым листком
От нас прикрыли срам свой. Боже!..

И снова всё встаёт во мне.
Я за себя уж не ручаюсь...
А каково моей жене,
Когда с работы возвращаюсь?!

* * *

*Оглянусь на зеркало украдкой.
Кровь стучит в седеющий висок.
Жизнь моя была совсем не сладкой,
Отчего же сахар так высок?*

Александр Городницкий

Вглядываюсь в зеркало всё утро.
(Диабетчик здесь меня поймёт.)
Жизнь моя – не сахарная пудра,
Не халва, не мюсли и не мёд.

И повисла в воздухе загадка.
От раздумий аж набух висок:
Если с детства было мне не сладко,
Отчего же сахар так высок?

Может, оттого что Мармеладов
Из любимой книги давних лет
Для меня был вместо шоколада,
Горьким заменителем конфет?

Или потому, что я когда-то
Сахаровым заболел всерьёз?
И не нужно стало винограда.
Что со мной случилось? Вот вопрос.

А теперь – как новая неделя –
Должен на приём идти к врачу.
Нет, друзья, хорошенькое дело –
Отдавать за так свою мочу!

Сахар у меня уже под двадцать.
Это ж просто золотое дно!
На себе не дам я наживаться.
Всё, готовлю флягу! Решено!

* * *

*С далёких дней
Прижилось на Руси
На каждого поэта – по Дантесу.
Владимир Фирсов*

Молю я Бога: «Господи, спаси!»
Бываю каждый день подвержен стрессу.
С далёких лет прижилось на Руси:
На каждого поэта – по Дантесу.

И, мысли о покое прочь гоня,
Всегда держу я ушки на макушке,
Поскольку есть опаска у меня:
А вдруг я у него уже на мушке?

Я знаю, что не дремлет мой «барон»
И пуля свою жертву ждёт, поверьте.
И близок час, когда невольно он
Меня отправит к Пушкину в бессмертье.

Но годы мчат, развязки нет как нет.
И безмятежно воды катит речка.
Никто не направляет пистолет
Мне в лоб иль в грудь – видать, опять осечка.

Знакомый критик, отхлебнув коньяк,
Сказал с улыбкой: «Вова, перебежься.
Поэтов нынче стало как собак.
Дантесов здесь на всех не напасёшься!»

Анатолий БАРЧАН, Харьков

* * *

Я от вопросов в интервью тащусь,
Хоть с шоу-бизнесом и связан...
Ты спросишь: «Как я к сексу отношусь?»
Да... ЖИЗНЬЮ я ему обязан!!!

* * *

Я жареного не люблю цыпленка,
Схожу с ума от ресторанных цен...
Мне с хреном предложили поросенка,
Но я их попросил... отрезать хрен!

* * *

Я в армии ошибку осознал:
Не интеллектом все определяется...
А прыгнув с парашютом, сам узнал,
Адреналин... откуда выделяется!

* * *

Вчера в обед перед театром
Подвыпивший какой-то гад
Назвал СЕРЕГУ... педиатром...
Он сам, козел... гомеопат!

Любовь МАКСИМОВА

Снегурочка

(Старая сказка – да новые раскраски)

Как это у бабки получилось?!!
Ей – со счёта сбились – сколько лет!
А у ней Снегурка народилась.
Ясно всем, что ни при чём тут дед.

Нет, не стал дед поднимать скандала.
Бабу-то свою зачем корить?
Ведь его старуха доказала:
Возраст – не помеха, чтоб родить.

Но на печке дед вздыхал и крикал,
Маялся от дум и от обид:
«Дед Мороз – ведь тоже дед. Однако
Бабка от него смогла родить».

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Такой-сякой

Некто, встав не с той ноги,
Вдруг сказал мне: «Не моги!»
Ну, а я, такой-сякой,
Говорю ему: «На кой?»

Прогресс

Чем больше дров, тем реже лес,
Укрыты в трубы лжи потоки.
Чем дальше движется прогресс,
Тем прогрессивнее пороки.

Талант

Уж такой он, этот парень:
Не спесив, не дерзок, тих.
Он талантливо бездарен
И пленительно ленив.

Видели?

Природа с красотой ладит,
Рисуя мир не впопыхах.
Вы видели лису в помаде?
А зайца с пирсингом в ушах?

Умри

Есть в жизни пары: свет и тьма,
Ненастье – радость, счастье – муки.
Вопрос: а глупость без ума
Неужто не умрет от скуки?

Жизнь

Что сказать про нашу жизнь:
Вьюги, встречный ветер,
Поле сорняков во ржи,
Радости букетик.

Не рассуждай!

Вновь о поэзии высокой
Мы рассуждаем, а она,
Как будто диск Луны далекой,
Лишь частью малою видна.

Книжная полка

КОРОТКО О НОВИНКАХ

Валерий Шамшурин. Обнажённые корни. – Н. Новгород: Кириллица, 2012.

Это – книга. От начала книгопечатания до наших дней и навсегда книгой считался не текст, а искусно созданный артефакт, включающий в себя, кроме смысла, правильно подобранные формат, шрифт, поля, переплёт, иллюстрации. И поэтому вполне естественно в копирайтах издания наряду с автором текстов (а в рекомендациях патриарх нижегородской поэзии давно уже не нуждается) значится автор оформления Павел Рыбаков. В этом издании поэт и художник оказались равноправными соавторами, и хочется их поздравить.

Олег Рябов. Четыре с лишним года. Военный дневник. – М.: Астрель, 2012.

Реальные воспоминания участника Великой Отечественной, завершившего свой фронтной путь в Вене, не случайно дополнены новеллами, где автор как бы проходит по военным дорогам отца уже в наше время. Это – продолжение разговора сына с отцом, недоконченного разговора... Захар Прилепин назвал «Военный дневник» учебником правильного, спокойного отношения к жизни даже в самые жуткие и страшные времена. А Сергей Шаргунов особо отметил отсутствие в книге ложной патетики и правдивость, «внушающую колоссальное доверие». Не случайно «Четыре с лишним года» вошли в шорт-лист литературной премии «Ясная поляна» 2013 года.

Николай Симонов. Великий Чудотворец. – Н. Новгород: Бикар, 2012.

Мне, как и многим моим землякам, автор известен как самый главный шутник в нижегородской поэзии. И вот – книга, состоящая из поэмы о святителе Николае Мирликийском и цикла стихов, из которых программным я бы назвал «Покаяние». Горькие раздумья о нашей жизни, светлая надежда и никакого смеха.

Андрей Иудин. Инсайт. – Дюссельдорф: Za-za Verlag, 2013.

Это уже второе издание романа нашего земляка. О прекрасном художественном языке, о закрученном сюжете и странных талантах его героев уже написано. Замечательно в этой книге то, что издана она в Германии на русском языке, а это не часто приходится встречать.

Алик Якубович. Лодка с голубыми глазами. – Н. Новгород: ДЕКОМ, 2012.

Это уже четвёртая книга автора, созданная в специфическом стиле, который он создал или выбрал для себя, своего виденья мира. Профессиональный фотограф-художник, он замечает такие детали, мимо которых мы зачастую проходим мимо, но для самовыражения ему не хватает камеры, и чувства, переполняющие его, он вынужден договаривать. После прочтения и просмотра всего сборника мне впервые показалось, что тексты автора в смысловом значении превалируют над видеорядом, который по-прежнему замечателен.

А. В. Коровашко. Заговоры и заклинания в русской литературе XIX–XX веков. – М.: Изд. Кулагиной – Intrada, 2009.

Любая национальная культура стоит на глубочайших фольклорных традициях, и художественная литература как один из элементов культуры не может без фольклора обойтись. Автор, профессор ННГУ, находит и рассматривает заговорно-заклинательные мотивы не только в текстах таких писателей, как В. И. Даль или А. М. Ремизов, которые специально занимались этими вопросами, но и у наших современников: Тимура Кибирова, Алексея Иванова, Дмитрия Быкова или Татьяны Толстой.

Николай Толстой. Заволжские очерки. – Н. Новгород: Книги, 2013.

Николай Морохин и Дмитрий Павлов продолжают свою огромную подвижническую работу по воскрешению из небытия чудесных краеведческих материалов, которые интересны всем любителям родной земли. Книги Николая Толстого, жителя и знатока Поветлужья, не переиздавались более ста пятидесяти лет, и, собранные под одной обложкой, снабженные научным комментарием, они достойно пополняют библиотеки нижегородских краеведов.

Владимир Седов. Зелёное пальто. – Н. Новгород: ДЕКОМ, 2012.

Владимира Седова нижегородский читатель знает очень хорошо и по его многочисленным книгам рассказов, и по его деятель-

ности в качестве издателя журнала «Нижний Новгород». В своей новой книге он опубликовал большую повесть о детстве – пусть не своём, как он пишет в предисловии, пусть о нашем. Текст, полный сочных зарисовок из детства, отвязного, ни к чему не обязывающего честного юмора, хотелось бы сравнить с санаевским «Похороните меня за плинтусом», но не смогу: чем-то эта книга мне показалась роднее и искреннее.

Проезжая через Нижний (серия «Нижегородские были», сост. Н. Морохин и Д. Павлов). – Н. Новгород: Книги, 2012.

Этот сборник является естественным продолжением, а точнее, вторым томом книги «Путешественники», вышедшей в издательстве «Книги» в 2009 году. В него вошли почти пятьдесят авторов, которые в XIX веке посетили Нижегородский край и оставили об этом событии воспоминания. Это Сергей Витте и Константин Коровин, Льюис Кэрролл и Петр Кропоткин... Насколько различны по мировоззрению и социальному положению эти люди, настолько пёстрыми и неоднозначными кажутся их впечатления от глухой российской провинции, которой был фактически наш город в XIX веке.

Нина Прибутковская. Агентство расставаний. – Н. Новгород: ПринтЕС, 2012.

Если как тележурналиста Нину Прибутковскую знают у нас многие, то о том, что она автор десятка пьес, которые игрались почти на всех основных театральных площадках города, надо напомнить. Надо ещё напомнить и о том, что сборники пьес печатаются последние годы нечасто. И хочется сказать, что читать пьесы – дело совсем не скучное, а даже очень полезное.

Альбина Мясникова. Князь Грузинский и его столица – село Лысково. – Н. Новгород: Книги, 2013.

Полноцветное, богато иллюстрированное издание скорее можно назвать альбомом. Книга посвящена исследованию легендарной семьи потомков грузинского царя Арчила Вахтанговича, которому Пётр I пожаловал село Лысково. Последний из них, Г. А. Грузинский, жил в Лыскове более 60 лет и был фактическим хозяином Макарьевской ярмарки. Легенды и были, связанные с этой семьёй, подробно разобраны автором. Альбина Николаевна любит своё родное село, скрупулёзно проверила все факты, которые приводит, и готова отстаивать их.

Валерий Косарев. У пояса Богородицы (серия «Нижегородские были»). – Н. Новгород: Книги, 2013.

Русское купечество – это не только первогильдийные фигуры, ставшие именами нарицательными и по которым совершенно неверно оцениваются быт и нравы этого замечательного сословия. Владельцы лавок, магазинов, пароходов, а то и фабрик смотрят на нас со старинных фотографий, и про их необычную и интересную жизнь рассказывает известный журналист. Чистый русский язык позволяет прочесть книжку от корки до корки без запинки.

В.А. Кучкин. Волго-Окское междуречье и Нижний Новгород в средние века. – Н. Новгород: Кварц, 2011.

Очень редкий случай в современном издательском деле, когда один из ведущих современных учёных, специалист по русской истории, печатает свою программную монографию не в центральном, а в провинциальном издательстве. Работы, собранные в этом объёмном томе, посвящены в основном истории Нижегородского края XII – XV веков и будут интересны любому любителю нижегородского краеведения, так как очень часто развенчивают привычные мифы.

Владимир Замышевский. Полярное сияние. – Кстово: Кстовская типография, 2012.

Непритязательные зарисовки и рассказы старейшего нижегородского писателя, ушедшего от нас в этом году, могут заинтересовать любого читателя, который хочет правды. Стихи, честные строки о войне, природе, сталинской коллективизации, и всё это без надуманного пафоса. Вдумайтесь, как просто: «Больше трёх дней здесь не держат. Значит – завтра расстреляют».

Евгений Галкин. Игра несчастливая родит задор (картёжник Пушкин). – Н. Новгород: Кириллица, 2012.

Каждому аспекту частной или общественной жизни великого поэта посвящены монографии «Пушкин в театральных креслах», «Пушкин и мужики», «Дуэль и смерть Пушкина» и так далее. И вот Евгений Галкин, известный нижегородский пушкинист, обнаружил очевидную лакуну. Картёжная игра – обязательный элемент дворянской культуры начала XIX века, Юрий Лотман посвятил этому вопросу целое исследование. Но в применении к жизни нашего великого поэта это смог сделать наш Евгений Галкин.

Прощальное слово

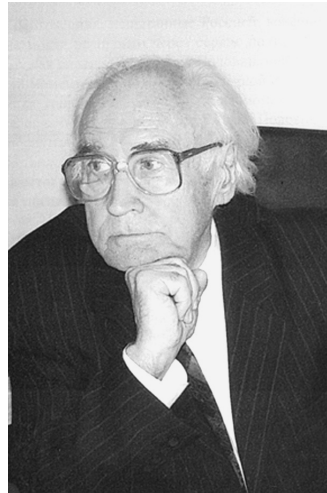
Владимир Васильевич ПОЛОВИНКИН

1926–2013

ЧЕЛОВЕК РОДНИКОВОЙ ЧИСТОТЫ

1 июля 2013 года на 88-м году ушел из жизни замечательный человек, бывший руководитель областной писательской организации СП России, известный русский поэт и прозаик Владимир Васильевич Половинкин.

Книги писателя не устаревают, пользуются неизменным успехом у читателей, на его стихи нижегородские композиторы писали и пишут песни и кантаты, его строками объяснялись и станут объясняться долго юноши и девушки в любви. Творчество В.В. Половинкина немислимо без высокой духовности, искренности, подлинности чувств, зрелости мудрости. Оно живет, как осязаемая, бессмертная душа, – красивый славянский богатырь.



Сам Владимир Васильевич был истинный лидер – справедливый, самоотверженный и заботливый организатор. Ему, как и Н.Г. Бирюкову, И.И. Бережному (они тоже когда-то возглавляли писательскую организацию) всегда и во всем верили нижегородские писатели, видели в нем родственную душу, человека с честью и достоинством, готового постоять «за други своя».

Так же к нему относились и работники академии водного транспорта, где он, доцент, преподавал еще долгое время, будучи руководителем писателей. Именно водники помогли издать двухтомник избранных произведений В. В. Половинкина «От истоков до

устья», который уже стал любимой книгой на каждом речном судне, почетным членом экипажей которых он является.

За свое творчество и общественную деятельность В. В. Половинкин был удостоен звания «Заслуженный работник культуры» и трижды награжден премией Нижнего Новгорода. Писатель был выдвинут на присуждение звания «Почетный гражданин Нижегородской области».

Человек необычайного трудолюбия и скромности, В.В. Половинкин не гонялся за славой и наградами – они его находили. Выход книги поэта был всегда событием для нижегородцев.

Сегодня как завещание золотом горят строки на граните у Вечного огня, написанные В.В. Половинкиным. Безымянные, как летопись, светят они поколениям живущим.

Товарищи, помните жизнь отстоявших,
Они сберегли нам и солнце, и радость.
За честь, за свободу, за Родину павших
Навеки считайте идущими рядом.

Поэт писал их и о себе. Мы помним!

В.В. Половинкин не успел повоевать, хотя и не однажды просил-ся на фронт, но руководство считало, что Родине будут нужны инженеры-водники, кораблестроители, А Володе Половинкину хотелось отомстить врагу за отца, Василия Матвеевича, убитого на Синявинских ленинградских высотах (отца репрессировали, но реабилитировали перед войной), но от сына требовалась отличная учеба.

Скорее всего, В.В. Половинкина призвали бы в подводный флот. В мобилизационном предписании было указано: «капитан-лейтенант». Друзья-писатели, помятуя, наверное, стихи любимого Владимиром тогда еще запрещенного Н. Гумилева, называли Половинкина Капитаном. А может, потому, что он всегда, как бы ни было тяжело, жизнерадостно улыбался в соответствии со словами из песни «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля».

Первая книга поэта-кораблестроителя называется «Светлые берега». Он сам был светлым, открытым, эрудированным человеком. Его любили, к нему тянулись студенты академии водного транспорта и члены литобъединения «Феникс», которое В.В. Половинкин вел до самой смерти. Уже больной, приезжал на такси на занятия, разбирали беспомощные строки, отучал от банальной графомании, прививал литературный вкус. Своим учителем его считают

многие писатели, даже Юрий Андрианов с гордостью говорил, что его когда-то отыскал в Доме пионеров Владимир Васильевич.

Сам Половинкин также с уважением вспоминал и своих поэтических учителей: Нила Бирюкова, Бориса Пильника и Михаила Шестерикова. Учителя, отдавая себя своим ученикам, жертвуя полным развитием своего таланта и выходом новых книг, воплотились заново в учениках. Их помнят, хотя они и не выразили себя полностью. Впрочем, есть поэты одного стихотворения, одной книги, имена которых доносятся нам через века. Для этого надо быть личностью, а этого у В. В. Половинкина не отнять.

О скандале вокруг Союза писателей РФ в 90-х знают многие. Московские писатели до сих пор вспоминают с улыбкой, как два поэта-нижегородца Половинкин и Сухов гнали с крыльца крутых, дюжих посланцев новых самозванных городских властей, пытавшихся закрыть Союз писателей России. Федор Сухов тыкал своим посохом как шпажкой, а Половинкин с улыбкой и под локоток спускал их со ступенек.

В 90-е годы в Нижнем Новгороде, столице экономических реформ, у В.В. Половинкина не сумели отобрать престижное здание Дома писателей на ул. Минина, но зато откололи от писательской организации, созданной еще по инициативе самого А.М. Горького, трех человек. А какие были обещания раскольникам – членам нового союза... Всем писателям жить и работать стало хуже после разъединения.

Писательская организация выдержала испытания, хотя лишилась всех дотаций и зарплат, и, главное, закрыли Волго-Вятское издательство. Впрочем, еще пуще стали выходить малым тиражом книжечки на свои деньги, журналы и альманахи. «Надо все сохранить до лучших времен, – говорил В. В. Половинкин. – Без писателей России нельзя!»

Владимиру Васильевичу Половинкину предлагали стать советником высокого лица, предлагали различные блага для одного, и не раз. Но он отвергал такую «избранность». Зачем? Как председатель писательской организации и как старший товарищ он заботился прежде всего о других, о тех, кто идет за ним. И, конечно, о своем честном имени.

«Человек родниковой чистоты» – так говорят о Половинкине после смерти. Он сохранял эту чистоту всю свою жизнь – от истоков до устья!

*Александр ФИГАРЕВ,
писатель России*

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск пятнадцатый

Редактор-издатель *Олег Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Корректор *Лев Зелексон*

На обложке использована работа *Анатолия Мазанова* «Волхвы»

Подписано к печати 06.09.2013. Бумага 60x84¹/₁₆.
Гарнитура «Times New RomanС». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 23,72. Уч.-изд. л. 18,06. Тираж 1000 экз.

Издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2. Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород, ул. Белинского, 61